

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

№ 7

январь – март 2018

Санкт-Петербург
2018

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

© Чернышев В. И., 2018
© Редакционный Совет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Маргарита Токажевская. Январские стихи	3
Мария Амфилохиева. Февральские стихи	11
В. И. Чернышев. Стихи, найденные под столом	20
В. А. Овсянников. Плачевные узоры	24

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Мария Амфилохиева. Ужель та самая?	34
Владимир Меньшиков. Политэк	63

III. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика)

Мария Амфилохиева. В мире наоборотном	87
Александр Медведев. Русский авангард: Сложность простого	94
Владимир Меньшиков. Критика (В.Чернышев, А.Медведев, Р.Круглов)	97
Л. Л. Бубнова. Новый, новый, новый!	107
В. И. Чернышев. Зимние заметки о зимних же впечатлениях	112

IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. Философия, поэзия, проза

Варлам Шаламов. Ягоды	121
-----------------------	-----

V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

В. А. Овсянников. Два поэта	126
Н. И. Калягин. Чтения о русской поэзии. Чтение 13-е. Н. А. Некрасов	146
А. В. Осипов. Мое беспечное незнание	153
Герман Ионин. Октябрь. Сто лет	160
Г. Г. Муриков. Загадка Крыма	174
В. И. Чернышев. Землепроходец	187

VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ (человека и слова)

Надежда Полякова. Библийские образы и библийские сюжеты в русской поэзии. Под редакцией Галины Дюмонд	193
В. В. Виноградов. Клеврет (история в судьбах слов)	201

VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, публикации, переписка)

Разборки среди писателей:

Светлана Хромичева. <i>Выстрел из авторучки.</i>	206
Светлана Хромичева. <i>Невозможность гармонии (З. Прилепина)</i>	212

Разборки среди критиков:

Юлия Медведева. Рецензия	221
С. Толдова. Погружение мысли	222
Елена Иванова. Глубина высот	227
Александр Медведев. Из дневника 2016	229
Роман Круглов. Устройство батискафа	232
В. И. Чернышев. Попытка философствования...	235
Юрий Медведев. Будни	239
Юрий Медведев. Перипетии	250
Олег Киреев. Хорошо / Плохо	269
Анкета о журнале и Отклики на Анкету	274
Приветственный адрес Г. Г. Мурикову	275
Ольга Мальцева. Из истории Блокады Ленинграда	276
В. Чернышев. Вопросы без ответов	277
Заметки постороннего наблюдателя.	

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Маргарита Токажевская

ЯНВАРСКИЕ СТИХИ



Редакторы-учредители журнала
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева

Идти на ощупь. Голос Леля, неслышно слышимый внутри, доведёт до света, который пока не включили в конце туннеля.

Вдруг перетирается самый толстый канат. Это потому, что все тонкие ниточки, из которых он состоит, перетёрлись.

Последние письма к тебе. Бросаю на ветер обрывки листов – пусть улетают. «С шахтёром надо быть шахтёром», – вспомнились письма Ван Гога к брату Тео и удивление от того, как много он писал этих писем, как нуждался в том, чтобы его прочёл родной человек, единственный самый родной.

Ещё недавно, но очень давно,
В очереди к телефонному автомату
Каждый по-своему относился к мату
Шахматному, и в кино
Ещё не пахло популярным кормом,
Не было ни намёка на порно.
Ещё недавно крест охранял окно.

Очень давно, но совсем недавно
Скифы неслись на своих лошадках,
Смеялись их дети в кибитках шатких,
И, несмотря на недостаточность данных,
В легендах народа и чувствах упорных –
Скифы мы, – утверждалось бесспорно,
А, тем более, в наших тайнах.

Ещё недавно, но очень давно
Жил старик на окраине леса,
Сторож травы, дождевого плеска,
Любивший солнце – когда темно
И вдруг оно освещает небо –
И так понимаешь, что тьма нелепа!
Так будет недавно, так будет давно!

Обижает тот, кто обижен,
Мы с тобой – два раненых зверя,
Не бойся меня, подойди ближе,
Вгляжусь в твоё одиночество и поверю,
Что не ты обижаешь меня, не я обижаю, –
Это наша боль пыталась справиться с нами,
Только она всё приемлет и всё прощает
Заранее...

Жгучие льды для строительства изб
Лисьих – в них точно поселятся зайцы,
Они уж если за что-то взялись,
Смогут лишними оказаться.

Ах, если бы лёд ещё и блестел,
Но нет, темнота не подарит блеска
Ни одному из прозрачных тел...
Небесно-снежная осыпается фреска...

Есть такие улицы, особенно летом,
По выходным, когда все на дачах,
Улицы, которыми владею, как солнечным светом.
Я глазею на окна, виды выдавшие,

И они глядят в меня огромно,
Не боясь испугать или испугаться,
На каждой крыше птичья корона,
Встречный клерк поправляет галстук,

А, может, не клерк, а сторож проявленный
Подаёт знак: « Разрешаю владенье
Этими дворцами и этими развалинами,
Ну, разумеется, под моим наблюденьем –
Рассеянным, беззащитным, нуждающимся в защите...
Защити меня от моего бесстрашья
На этих улицах, завтрашних и вчерашних...
И кроме света ничего не ищи ты...»

Пробудись ото сна, от мечтаний,
завтра снег послезавтра растает,
ты вовек не расстанешься с тайной,
и она от тебя не устанет,
но измучает вечным желаньем
позабить, что она существует
нежеланным в тебе проживаньем...
Тайна вечно в тебе торжествует –
торжество торжеством попирая –
всё ей мало скандалов и сплетен...
Но, тебя у свобод отбирая,
дарит плод, что тебе лишь запрещен.
Ты не сдёрнешь с надломленной ветки
это чудо, подарок Вселенным...
Снег ложится на тёплые веки
и снежинки стекают по венам
в запределья иных измерений,
в засекреченный звёздный скрипторий,
где, забытая слухом и зреньем,
книга зимних земных предысторий..

Оставляющий след, иногда заходящий погреться
в угловатую улочку самого дальнего детства,
над бессонной судьбою своей наклонён, как над книгой,
оставайся в лесу, где пропахла трава земляникой.
Это всё многозначно, стотрепетно, многоочито...
Оставляющий след, в первый раз и повторно молчит он
о своих направленьях по ходу следов оставленья,
о своём одиноком родстве с фиолетовой тенью
на любых площадях и на стенах любого колора...
Оставляющий след, как бы колкость твоя ни колола,
я иду по следам, я сливаюсь с твоими следами
и смотрю, чтобы вовремя птицы со взгляда слетали
на вершины следов, как на ветки стодавных узор...
Оставляющий след, то ли добр, то ли огненно зол он...
Я иду по следам, не могу со следами проститься,
словно я заплутала в степи одинокой волчицей...

Янтарный отблеск волшебства
на сумеречных стёклах,
нас было двое – взгляда два
и две ладони тёплых.

И, по земным законам, две
души, а по небесным
одна душа – копилкой бед,
одной разлуки бездна.

Нам было то дано навек,
что не даёт покоя –
тот самый первый человек,
в котором было двое...

Тяжёлый подбородок из невыносимого сновидения,
где разнообразие антикварных предметов
вмешивается в отдых утомлённого гения,
владельца отнюдь не квадратных метров.
Его метрическая анархия –
смесь кругов, уводящих в пещеры,
внутри которых входит монахиня,
как в сумрак вечерний
вплавается солнце, чтоб утонуть,
спрятаться в темноте, отоспаться...
Гению в этом сне не уснуть,
горят говорящие пальцы,
пишут красными точками по темноте,
чёрными по пустоте абсолюта,
что из того, что слова не те,
которые понимают люди...

Непарадный Петербург

Прогулки, гулкие дворы.
Прохожих мало, как в деревне.
Не страшно, душу отвори
Для милосердия и даренья.

В тебя глядится та стена,
Где штукатурка облупилась,
Как будто корочкой вина
Отходит... Сердце ослепилось
На миг от яркости окна –
В нём краски смешаны стеклянно,
И чья-то тень едва видна...

Здесь, словно просыпаться рано,
Уютно отойдёт душа
От суеты столичной смуты,
Чтобы бессмертьем подышать
Остановившейся минуты...

Осознаёшь, что время – страж,
всё только кажется прошедшим
с его судьбой стократных краж...
не всё равно ли, Фет ли, Шеншин
тебя вписали в тиражи
невышедших романов или
воссозданные миражи
тебя с бессмертьями мирили...

Верность

Ты прорастаешь из корней,
Как непокорное растение,
Тебе невидное видней,
Ты можешь притвориться тенью,
Ты бьёшь меня, как бьют раба,
Жалеешь, как жалеют дети,
Ты зарастаешь, как тропа,
Ты – в темноте – мечта о свете,
И, если я тебя гоню,
Скрываешься и ждёшь упрямо,
Тебя в бездушии виню,
Как стёкла обвиняют раму,
Разбиться вдребезги боясь
На мелкие осколки взглядов...
Но, прорастая в этот раз,
Не режь меня корнями, ладно...

Мария Амфилохиева



ЯНВАРСКИЕ СТИХИ

ТЯСИНА

Иногда вам приносят подарок
Удивительно тонкой работы,
Вы любуетесь чудной вещицей,
Восхищаетесь, благодарите,
Хотя вам-то прекрасно известно –
Неуместен был этот подарок,
Но отказ ваш нанес бы обиду,
И смиряетесь вы, принимая.
А потом вам предложат работу
Неплохую, с приличным окладом
Или даже престижную должность.
– Вы согласны?
С минуту подумав,
Вы потом согласитесь, конечно,
Только сразу же сердце почувствует:
Нет, не тем вы должны заниматься,
Чтобы радость была от работы.

Наконец, человек вам знакомый
И, пожалуй что, вам симпатичный
Вам предложит и сердце, и руку,
От волнения невольно краснея,
И вы скажете: "Да, я согласна",
Поцелуем скрепив соглашение,
Потому что не хочется спорить,
Да и сердце сегодня свободно.

А потом замечаете вскоре,
Как случайны вы в собственном доме
В окруженье вещей, вам не нужных
С положительным скучным мужчиной,
Ваши дети – как будто не ваши,
На работе лишь тянете ляжку,
Прикрывая усталость улыбкой...
А ведь все у вас в полном порядке!

ПЕРПЕНДИКУЛЯР

Живу я в мире перпендикулярном.
Есть линия: диван и телевизор,
Она и коротка, и всем понятна.
Но в профиль я экран цветной не вижу,
И вся семья видна мне как-то боком.
Моя прямая – кресло и окно,
И за окном качает ветер тополь.
На ручке кресла телефон, чьи кнопки
Меня за стены комнаты выносят,
Той, где царят диван и телевизор,
Туда, где голоса, деревья, ветер...
Наверно, есть еще и вертикаль!

ВИДЕНИЕ

(у картин Рериха)

И камень холоден, и пламенен огонь –
Их, кажется, слить вместе невозможно,
Но цокает копытом чуткий конь,
Ступая по уступам осторожно.

Седок молчит, укрыт плащом в ночи,
К груди надежно ношу прижимает.
Здесь таинство. Здесь подвиг. Помолчи.
Здесь даже посвященный умолкает.
В руках – огонь, иль камень со звезды,
Иль сердце, тверже кремния, пылает,
И пыль веков заносит все следы,
И долгий путь надежда окрыляет.

ОБЩИЕ МЕСТА

1.

Венец природы – это человек.
Он избрал "черемуху", "лимонку",
Гриб атомный и вечно сеет страхи
В детенышах своих, что от рожденья
Уже обречены всю жизнь сражаться
За хлеб, любовь и за места под солнцем .
Он понял так законы мироздания,
Начертанные Богом иль Природой,
Венец творенья, слабый человек.

2.

Чудак кузнечик – уши на ногах.
А он стрекочет, погружаясь в волны
Травы, цветов и солнечного света,
И, оттолкнувшись сильно и упруго,
Взлетает к небу, и опять стрекочет
От радости – ногами чуют радость
Земли – и воспевать ее, ликуя.
Чудак ли тот, чьи уши на ногах?

3.

Извечный символ мудрости – змея.
Когда на хвост с угрозой поднимаясь,
Раздув свой капюшон, как парус пестрый,
Ярится кобра, пред ее глазами
Одни враги. И вот она метнулась
И смертоносный яд свой как защиту
Пускает в ход в ужасном ослепленье.
Ужели символ мудрости – змея?

4.

Мы говорим: поденки краток век.
Но с первыми рассветными лучами
Она из тесной кожи выползает
И, наскоро обсохнув в тростнике,
Пускается в неистовый полет свой
Между землей, водой, высоким небом,
Чтобы сгореть с вечернею зарею.
А говорим: поденки краток век...

5.

Дивимся мы на муравьев и пчел,
Которые живут единым миром,
Где каждый беззаветно помогает
Всему сообществу подобных,
И каждый так прекрасно бесподобен,
Свое предназначенье выполняя,
Что понимаешь: были б люди мудры,
Учились бы у муравьев и пчел.

СТАЛКЕР

Я сталкер, а зона – Земля,
Покрытая серым налетом.
Под пеплом не дышат поля,
Сливаясь с гниющим болотом.

Здесь жили: рождались, росли,
Мужали, играли в амуры.
Теперь на прибрежной мели
Ржавеют куски арматуры.

Былое мерцает на дне,
Затронуто вялым теченьем,
Но, сталкеру, видится мне
За этим истомным мученьем,

Влеченьем, молчаньем немым –
Причастие к сумраку истин.
Мы вновь проберемся сквозь дым
К предчувствию радости близкой.

Идемте! И медлить нельзя:
Земля остается за нами,
На воды выводит стезя,
И небо блестит под ногами.

ИСКУПЛЕНИЕ

Не сгорай, с кругов своих орбит
Не срывайся, милая Земля,
Где у мхом поросших древних плит
Юные пробилась тополя,
Где в шитье жемчужном ранних рос
Паутины кружево повисло,
Где прозрачных трепетных стрекоз
Над рекою кружат коромысла...

Я держу в ладонях, как птенца,
Шарик, молоком морей облитый,
Избежит он страшного конца,
Слез моих потоками омытый.
Мне расплатой – выгорев, уснуть.
Но провидит чуткая дремота
Новый для Земли счастливый путь –
Вирази поющего полета.

* * *

"Век мой, зверь мой..."

О. Мандельштам

Ветер гоняет лохмотья афиши,
Плещет с экранов рекламная чушь...
Век, умирая, уходит неслышно
Раненым зверем в таежную глушь.

Звали его и жестоким, и диким,
Веком чудовищным, веком чудес.
В самом конце оглушительно тихо:
Лишь одиночества мука да лес.

Зверь затаился в предчувствии странном.
Зрение меркнет, но слух обострен:
Грузно крадется за смертным туманом
Тот, чьим пришествием он побежден.

КОЛЕСО СТОЛЕТЬЯ

Столетие под гору – колесом!
Мелькают переломанные спицы,
Кибиткою на склоне зыбкий дом,
Не видно в колесе на крыше птицы.

Промчится кто-то, оси оседлав,
Приветствия доносятся с вокзала,
Но крут и переменчив века нрав –
И многих колесо колесовало.

Сцепляются зубчатые в часах,
И с башен бой доносится набатно,
Кружится в сердце красной белкой страх,
Не реки – времена бы на попятный .

Как гальке, рикошетом по воде
Раскрученной, нам всем судьба ложиться
На дно. Неотвратимой быть беде...
Но до поры еще – жужжать, кружиться,

В круги мишеней втулки верных пуль
Вгонять ещё иль гнев сменять на милость...
Фортуна повернула ветхий руль –
И новое столетье покатилося.

МИФОЛОГИЯ

Я пигмей у корней
Индразилия – великого древа,
Что за тучи стремит
Расплескать многолистье ветвей.
Не взгляну в вышину –
Застилает листва перспективу,
И прильну я к стволу
В первобытном смятенье страстей.

Только вдруг кисти рук
Заскользят до озябшей вершины,
Я тянусь и расту,
Удивляясь, что так высока.
Жизнь пока – не века,
Но древесные соки по жилам
Поднимаются вверх,
Чтоб взлететь, обогнав облака.

"...Вновь Исакий..."

А. Ахматова

Поднимаемся по ступеням,
Бесконечным, винтообразным,
То ползем, сбивая колени,
То бежим через две-три разом.

Вверх посмотришь – нависли своды,
Вниз – такой же глухой спиралью
За годами проходят годы,
Камни стачивая печалью.

И слепой подъем бесконечен,
Что увидишь сквозь щель бойницы?
Солнца луч мелькнет, быстротечен,
Так что, может быть, только снится.

Но идешь и идешь – все выше,
Чтобы, вырвавшись вдруг под купол,
Даль увидеть, и птиц услышать,
И заплакать ребенком глупым.

НЕ СЛУЧАЙНО

Мне сегодня средь яркого лета,
Многошумного дня городского
Вдруг привиделась тайны примета
И прислышалось главное слово.

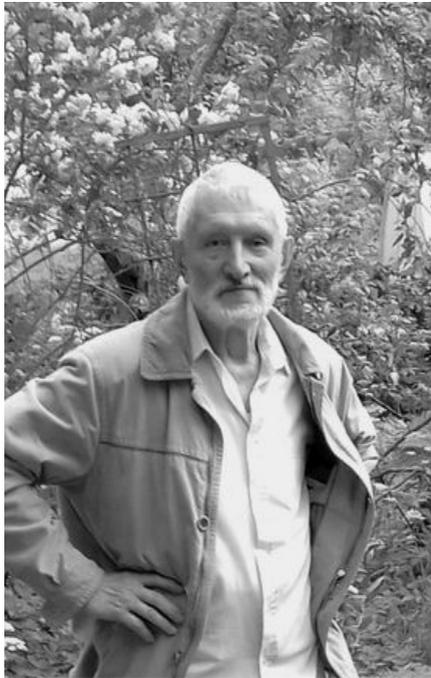
Как случается это – известно:
Вдруг споткнешься, и в странном тумане
До пылинки знакомое место
И неясным, и зыбким вдруг станет.

Но зато разговор светлых пятен,
Полушепот теней и столетий
Станет четко и странно понятен,
И не можешь уже не заметить,

Как кружится в пуху тополином
Вечной жизни разгадка и тайна,
Говорящая: в мире старинном,
В нашем мире ничто не случайно.

В. И. Чернышев

СТИХИ, НАЙДЕННЫЕ
ПОД СТОЛОМ



СТИХИ, НАЙДЕННЫЕ ПОД СТОЛОМ

* * *

Дохнул осенний хлад.
Душа моя больна.
Все жду – пойдет на лад –
Но в том она вольна.
В саду стоит вода,
В канаву ей не стечь.
Налью уж! Не беда...
К тому веду и речь.
И все же мир хорош,
Хотя надежды нет,
Что лучше заживешь
На склоне зим и лет,
Что вдруг вернется вновь
И удаль и печаль,
Безумная любовь,
Несчастливая – а жаль...

* * *

В тени формального метода,
Постелили скатерть, бутылку,
Открыв, пустили по кругу...
Живем в такой спешке, некогда,
Руку пожать друг другу!
И рифму поддев на вилку,
Я слышу: Еще по стопке?
В душе все сгорит как в топке,
А если не выпьем, то кто же
Нам трезвым сочувствовать сможет?
... И метод усвоив сходу,
Вином объявляем воду...
27 декабря,

* * *

Спал, томясь душою, и плоть болела.
Сердце замирало, но отзывалось снова.
Что ж сему причина – пустое *дело*?
Нет, к несчастью, хуже – дурное *слово*.

* * *

Плохо не все, говорю поутру.
Сон вдруг приснился, и спал понемногу,
Утром не надо собираться в дорогу,
Вымокнуть, сохнуть, стоять на ветру...
Что же тогда после завтрака буду
Делать? Какое занятие найду?
Пол подмету, перемою посуду,
Дух износился – поправлю полуду...
Где-то кому-то на помощь приду.

15 января

* * *

Я б рассмеялся между слез
На эту жизнь в слезах и в поте,
Когда б и сам я нота к ноте
Не волочил созвучий воз.

Куда, зачем, какой приказ
Меня подверг сей тяжкой каре?
Поляки, половцы, татаре...
Кто этот властвующий?

Азь!

* * *

Мои стихи подобны чертежу,
В них нет живого совершенства.
Я думаю недурно, а скажу –
И чувствую в них радость без блаженства.
И, кажется, все то, что надо, есть:
Порядок слов, размеренность движений.
Но не запугалась в них искренность сомнений,
И с истиной не смеет спорить честь.

* * *

Если ты не ответишь на просьбу о встрече,
Я не стану молиться незримым богам,
Я подачек не жду, а платить больше нечем,
Даже писем писать ни друзьям, ни врагам.
Если случай ко мне не придёт, как бывало,
Я не буду винить злополучный сюжет.
В мире верности нет, да и памяти мало,
Два три слова – сотру на подкладке манжет.
Позабуду все то, что когда-то открылось
Так, как книга, случайной главою побед.
Может, я не любил, может, ты не влюбилась,
Но не будем искать в это прошлое след.

* * *

Жизнь еще не закончилась, если и музы позвали,
Все, что было всегда, то и будет не раз впереди.
Сон под звон комаров белой ночью на сеновале,
Взгляд сияющих глаз, а потом вдруг шопотом: *отойди!*
Нет, отвергнут не всеми, и стих мой не всеми заброшен,
И измены не все испытал я, увы, до конца.
За забором стоит луг зеленый не тронут, не скошен
И в дожде и в слезах кто-то машет платочком с крыльца.
Грянет выстрел, ну что ж, я давно его жду в лае гончей.
Кто-то скажет, жалея: Судьбе так угодно, пора!
Но я верю себе, без сомнения, спор мой не кончен,
Даже смерть – не предел на пути оправданья добра.
Я заносчив и горд, очень часто доверчив до крови,
Как солдаты в бою, ожидаю чудес и награды.
Человеческий сын, не отвергну ни капли любви,
И к чудесному Древу пойду с новой Евою в Сад.

Воспоминание

Буря на солнце, в душе моей пятна.
Жизнь вытекает, увы, безвозвратно,
Ветер взметает дорожную пыль.
Я – твой каприз, лишь игра светогени,
Зайчик, упавший тебе на колени,
Капля дождя, отрицание, гиль.
Есть лишь ничто в пустоте и в печали.
Пальцы сжимают два кончика шали,
Звук отлетает от стука окна,
Все, что случилось, ушло безвозвратно,
Белого света случайные пятна,
Два мимолетных порывистых сна.
Даже, быть может, и сон твой мне снился,
Мимо летел, задержался, пленился,
Снова один я. Лишь ты не одна.
15 июня неизвестного года

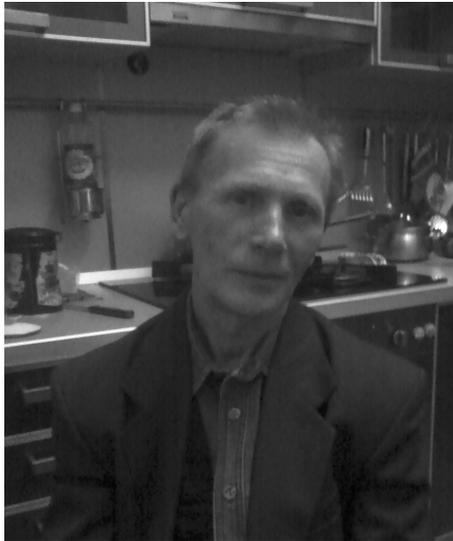
* * *

Последний день больного февраля.
Больны мы все, и я все так же болен,
Европа, США, Российская земля,
И мой народ забит и обездолен.
Смогу ли я поправиться в больном
Унылом царстве, где здоров лишь спящий?
Я просыпаюсь. Спит в уныньи дом.
Мне хуже всех: *я встал*. Я – настоящий.
Ну, пусть поспят. Я новости смотрю...
Не бьется сердце... нет, опять забилось...
Мой ангел в небе вывесил зарю,
Чтоб я забыл все то, что мне приснилось.
Еще не знаю, как вернуть покой,
Но без него мне не поправить мира.
Коснулся струн дрожащею рукой,
Открыл тетрадь – от слез в ней слишком сыро...

Восстань, пророк! Молчание небес
Пусть не страшит! *Мне человек дороже,*
Чем спящий Бог и говорливый бес.
Уж час восьмой. Я жив. Друзья, вы – тоже!

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Вячеслав Овсянников



ПЛАЧЕВНЫЕ УЗОРЫ

Вячеслав Александрович Овсянников родился в 1947 в Белоруссии. Отец – офицер танковых войск, участник войны 1941-1945, мать – медсестра, блокадница. После окончания средней школы поступил в Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала С. О. Макарова (1965-1971). Работал в Балтийском морском пароходстве судовым электро-механиком. Служил в органах МВД (1978-1998). Член Союза писателей России с 1999. Лауреат трех литературных премий.

СОЧИНЕНИЯ: Небольшие книги прозы выходили с 1993 года. Затем вышли: Собрание сочинений. Одна ночь. СПб., 2008; Собрание сочинений. Человекопад. Нальчик, 2008; Прогулки в лесу. О Викторе Сосноре. СПб., 2009; "Прогулки с Соснорой" СПб., 2013 г. и "Тот день" СПб., 2015 г.

Начало было так далеко»

Борис Пастернак

Утром бегу на поезд, стою на платформе, прислонясь спиной к перилам; толпа нас смешала; бесчувственность, мелькание столбов, тростник, оловянный блеск озера. Тяжелый год, побег с морей, веревка на шее, пыльный чердак, балка, плачущая мать на коленях передо мной: «Сынок, что ж ты со мной делаешь?» Поиски работы, и вот устроился на этот завод. Каждый день по вечерам стою на голове десять минут. Стойка йога. Богослужение в Никольском соборе, трепет свечек, пенье, старушки, сморщенные, сгорбленные. Бежали на лыжах 5 км., в поле около завода, нормы ГТО. Светло. Зима кончилась. Птичий щебет и свист, снега уже почти нет, лужи. Физически чувствую, как набухают сучья в почках, как в березах начинает бродить сок. На заводе праздновали 8 марта; в отделе столы, технический спирт в колбочках. Новые знакомства, Юра Новиков. У него выбиты все зубы, вставлены железные. В армии, венгерские дела. Малый Оперный на площади Искусств, «Русалка» Даргомыжского, рыжие, белокожие, пляшут, шабаш на Лысой горе. Просыпаюсь, открываю форточку: свежесть мартовской ночи, пенье ручьев на дороге, музыка воды. Еду в Ригу, будь, что будет. Водила по всем своим друзьям, везде угощение, выпивка, она всегда пьяная, спался чулок, материлась. Май, сухой асфальт, чистые улицы, там, в Риге уже всю зеленели деревья. Рига снится, наши путешествия по всему городу (уходили рано и возвращались поздно ночью, потихоньку пробирались в ее комнату, чтобы ее мать нас не видела и не ругалась), по гостям весь день, какие-то дворы, закоулки, застолья, ночью ее большая, темная комната, громадная кровать, на которой мы с ней спали. Плотные, пыльные, всегда задвинутые шторы. Июнь, продолжаю физические упражнения; утром бег, в парке, по горе. Разгоряченный, пью из родника на склоне, пригоршню, ключевая водичка, ломит зубы. Цветут клены, гул пчел, воздух густой, как мед. Надо мной Гора, мне надо подняться на вершину, там, с высоты я увижу мир, весь мир. Цветут вишни и яблони. Белопенные сады. Опять бегал в парке, по горам. Поставил себе цель: взобраться на эту Гору, быть на вершине. Упорство сокрушит все преграды. Черепаха, которой надо так долго-долго ползти к цели, на вершину этой Горы.

Допустил две ошибки на работе: 1. Не упаковал лампы для отправки. 2. Плохо отломил лист оргстекла для Зиновьева (начальник отдела). Невнимательность, небрежность, нетерпеливость. Семь раз отмерь, один – отрежь. Июль. Приехала в пятницу, купались в озере. Замужняя, муж в командировке. Ей скучно, ищет развлечений. Крупная, белокожая, откровенно рассказывает о себе вплоть до интимностей. Замерзла после

купания, дрожит, трясется всем телом. Сидели на скамейке на платформе, обнял, чтобы согреть, прижал к себе, стал целовать, губы у нее холодные, мягкие, безвольные. Молчит, плачет, слезы текут по щекам, текут и текут. Утешал ее, долго так сидели, и я все обнимал ее, прижав к себе. Она словно оцепенела. Электрички подходили и уходили, и мы много их пропустили. Началась гроза, гром, молнии, ливень хлестал. Пережидали внутри вокзала. И опять она плакала, а я все утешал ее. Дождь стих, и она все-таки уехала. После работы встретились на автобусной остановке. В магазин, купил бутылку водки. Привела к себе домой, боялась, чтобы соседи не увидели. Муж в командировке на месяц. Сначала она одна поднялась по лестнице к своей квартире на третий этаж (я ждал, прячась за кустами перед ее домом). Убедился, что никого нет, поднялся и я; она, приоткрыв дверь, глядела в щелку. Выпили. Рассказала всю свою жизнь, показывала фотографии, в том числе, где она совсем голая в какой-то комнате. Уже поздно, за окном темно. От выпивки ее сильно развело, лежали на ее широкой семейной кровати, и я ее тщетно уговаривал. Нет, нет, на ночь она меня не оставит, зря надеюсь, просто ей скучно и не хотелось быть одной. Вытолкала за дверь. Поезда уже не ходят, шел по шпалам; заря загоралась, рельсы – розовые змеи. Добрался до дома и свалился спать, как убитый. Еду в командировку на Западную Украину, душный вагон. Приехал рано утром, захоластный городок, сушь, пыль, тополя. Нашел их заводик, хохлячки, говорливые, белозубые. Передал ящик со стеклышками, которые им привез. Юра Киркилевич, еврейский юноша, высокий, прыщатый, в пиджачке, руководит литкружком на заводе, уже печатает где-то свои рассказы, да как будто и целую книгу написал. Говорят: талант. Стихи у него туманные и непонятные. Но есть ритм. Всё – ритм, весь мир, все колеблется, все началось с бегущих волн. Сентябрь. Едем в колхоз на неделю, весь отдел. Устроились, живем в палатках, ночи теплые, днем солнце, жарко. Огромные поля, огромное небо, река Луга. Работу кончаем поздно, в восемь, купаемся в реке. Каждый вечер сидим у костра, водка, танцы. Гулянье до рассвета. Странная, озорная, смеялась, вырывалась из рук. День опять жаркий. Ходим за трактором по взрытой борозде, собираем картошку в ящики. Картошка крупная, сухая, борозды бесконечные, до горизонта. Опушка леса, береза уже осенняя, с желтыми прядями и с нее слетают желтые кружочки. Сижу на камне, приятная усталость в теле. Ждем, когда привезут обед.

Вчера в десятом часу утра пришел Володя. Не виделись три года. Сильно изменился, заматерел, плотнотелый, мощный, лицо широкое, твердый подбородок, взгляд тяжелый, звериный. Волк Ларсен. В лёгкой форме, фуражка, лейтенант. Принес бутылку шампанского под мышкой. Рассказывал про свои подвиги, пьянки, драки, сколько челюстей сломал. Все те же джеклондонские истории. Поздно вечером в темноте пошел его провожать. Он вступил в тамбур вагона, поезд резко тронулся, он стукнулся головой о стенку и охнул. Выражение лица у него было такое простое, по-детски изумленное, жалобное, что у меня сжалось в груди, я побежал по платформе,

схватил его за руку, говоря: «Володя! Володя!..». И поезд ушел. В воскресенье позвонил В. Поехали в Пушкин, гуляли в парке. Чудесный осенний день, солнечно, прохладно, шорох листьев под ногами. Багрец и золото, очей очарованье. Разговор не клеился, затяжные паузы, молчанье. Скрытность. Зима, снег, метель. Много промахов. Жить монахом? Голова светлая, и прояснился темный ум. Карусель, море снится, шторм, качка. Просыпаюсь в ужасе, я здесь, на твердой земле, на своей кровати, а не на корабельной койке, подо мной надежная твердь, а не морская хлябь. Новый год встречал в Таллине, в номере гостиницы, один, бутылка рислинга. Органная музыка в соборе. Январь, ДК им. Цюрюпы, хожу сюда с прошлого года. Поэт С., ему тридцать семь, стройный, тонкий, изящный, в свитере, черные, волнистые волосы до плеч. Читал свои стихи, стоя за столом, держа перед собой лист в трясущейся руке; прочитав, выпустил лист из пальцев, и он бумажной птицей слетел на пол. Задавали вопросы, поэт, закурив, отвечал. Снилось свое лицо, какое-то неизвестное еще, невиданное. Работаю на новом месте, в архиве. Близко моим гуманитарным склонностям. Платят гроши. Сегодня отправили на субботник в Новодевичий монастырь, там филиал архива, переключивали коробки и папки. Вековая пыль. Разговоры о монашеской схиме, весело, смеялись. Рыжая, веснушки, 18 лет. На остановке трамвая, ветер, рыжие, длинные жгуты волос крутило, швыряло. Окрыленность. Молодая, ярко-зеленая листва тополей над нами. В трамвае по Московскому проспекту до Обводного. Стихотворение Парни: что женщина не признается первой в любви мужчине. К чему это она? Июнь. На воинских сборах в Кронштадте. Сажу на койке в казарме и думаю: что же дальше? Душный класс, схема подводной лодки, начинка торпед, скука. Кончается четвертая неделя моей каторги. Вечером гуляю один по набережной, смотрю с тоской на залив. Ни с кем тут не сдружился. Говорят, человек – существо социальное. Поэтому одинокий человек несчастен. Не знаю. Что касается меня, то все как раз наоборот: я чувствую себя счастливым только в одиночестве. И так было всегда, сколько себя помню, с первого проблеска сознания, кажется, с самого младенчества. Во всяком случае, в четырехлетнем возрасте очень хорошо помню это острое ощущение счастья – что я один, в саду перед нашим домом, никого нет, и мамы нет, и я в полной уверенности, что никто не нарушит моего блаженного одиночества, и я могу играть в свои игры, во что хочу и как хочу. Так было и в школе, я всегда всех сторонился, чуждался, меня и прозвали: рак-отшельник. Мы, трое морских офицеров, идем по нагретому солнцем, дощатому пирсу. Парадная форма по случаю праздника Военно-морского флота, белоснежные кителя, бронза пуговиц, погон, кокард. Вот мы уже на пароме, стоим у борта, удаляются серые бревна свай с пляшущими на них бликами. Женщина на пирсе машет рукой кому-то из нас. Кому? Ясно, не мне. В мутно-желтой воде плывет тень парома, борт, наши фигуры. Мои попутчики разговаривают, но я занят другим: я смотрю вдаль, в этот морской простор, туда, в безграничность, в безбрежность, там исчезают все преграды, все препоны. И дальше за горизонтом – только море, море и море... Но вот наш короткий рейс кончается. Блеск воды, город

Ломоносов, причал. Моих попугчиков встречают жены. Меня никто не встречает. Схожу по трапу последним. Кронштадт. Хожу один на набережную. Серые облака, тоскливо. Запах жасмина приторно-сладкий. Про меня говорят: скромный. Я никогда ничего не прошу, ничего не требую. Что само мне в руки попадет, то и беру. Это называется: что бог даст. Два типа людей: активные и пассивные. Я не активный, я – пассивный. В субботу и среду стоял вахту. Кончились эти офицерские курсы. Прощай Кронштадт и твоя скука.

Дождь весь день, приехали из Петергофа Лена, Олег, Ольга; пили вино. Мне было грустно. Где та Гора, на которую я взберусь первый в мире? Пошел в лес за грибами. Поле, облака, стога, луга, размокшая после вчерашнего дождя дорога, лужи. Август. Зачем-то один поехал на Вуоксу. Бывают у меня безумные порывы. Ночевал в лесу, на берегу, ночь теплая, под утро свежо, замерз. Сосны, восход, огромно-огненный, пылающий шар никогда не виданного солнца. Вот для чего я здесь! Приезжал Виктор, мой дядя со стороны матери, высокий, красивый, кудрявый. Спросил: «Что, все стишки пишешь? Хочешь, как Евтушенко, прославиться?». Купаюсь, мостки, лодка с поблекшим голубым бортом. Вечером в полях, луна над стогами, розовая. Чувствую в себе столько силы, что хочется бежать вприпрыжку. И я бегу и вдруг выскакиваю к повороту тропинки, где осины и земля в золотых монетах. В парке после дождя пахнет палой листвой. Солнце, выглянув, вдруг зажигает эти листья на земле, как груды драгоценных камней. Сквозь голую чащу на склоне – изумруд озимого поля.

Уже год в архиве, младший архивист, сидячая, скучная работа весь день, составляю описи. Нищенские деньги, добираться на двух электричках, станция Фарфоровская, через пути – краснокирпичное здание. На обед в столовую на ул. Седова, грязь, невозможно ходить по тротуару. На платформе, ждет поезда. Сапоги на высоком каблучке, пальто с серыми полосками, вязаная белая шапочка, лицо в веснушках. Подняла глаза от книги, которую читала, держа в руке, и смотрела на меня длинно и блестяще-темно. И я тоже смотрел на нее. Иду к зданию Сената. Нева струисто-оловянная, светлая. Воздух свеж, сердце бьется бодро. Читаю, Великий инквизитор, Соня Мармеладова, сны, гибкое, девичье; ночами – морозец, луна, звезды, сухо. Утром изморозь. Спешу на вокзал. Сиреневато-серебристые доски мостка. Листья каштанов на земле буро-бургистые, как морские звезды. Ходили к писателю Ласкину. У него коллекция картин, непризнанные художники, около пятидесяти холстов. Устюгов, «Флейтист». Мне двадцать девять! До сих пор не могу понять, как же это получилось, что делал, о чем думал? Заторможенность, инфантильность, – половина жизни! В этом возрасте уже мир завоевывали. А тут – затяжной сон. Опомнился, оглянулся, посмотрел вокруг и – страшно!

Морозы, бесснежно. В комнате тепло. Сажу у печки, прислонясь спиной к ее горячему, круглому боку. На окнах шторы в сиреневых цветах. В кино с ней, полный зрительный зал, в темноте, весь сеанс, наши руки, сплетенные,

горячие, неистовые; пальцы сжимались, извивались. Потом к ней, живет одна, недавно умерла бабушка, больше у нее никого нет. На диване, поцелуи, безумье. Сказала, что у меня сладкие губы. Это оттого, что я ел яблоко, которым она меня угостила. Сны-кошмары, карусель эта, музыка, ритмы, символы, бог, дьявол, червь, человечество, корка льда, под ней – провал, мрак, крутится воронкой... Что дальше?.. Быть на гребне. Клянусь всей своей черной чернильной кровью! Встречаемся. Говорит: «Очень уж ты серьезный, надо проще». Я знаю, что мне надо. Выбираю нищету и безлюбие. Пишу поэму в четырех частях, тетраптих, называется «Океан». Боль одного – боль всех. Океан – это весь мир как одно существо, где всем больно, одна большая Боль. Встречи. Пора бы развязать этот узел. Чего я хочу? Из рамок и рамиш. Вырваться, выброситься. Струны перетянуты, вот-вот порвутся. Напряжение этого года, черный вихрь, еще не кончено. Ночь. Луна восходит над соснами, ее жуткое око, гипноз. Не убежать, какая-то мрачная связь между нами; люблю быть один, и она одна, смотрит на меня с высоты своим ледяным взглядом, маска мертвеца, отравляет мою кровь. Но я не отвожу взгляда и пересиливаю ее взгляд. Она не выдерживает и прячется за тучу. Оттепель, слякоть, пар дыхания растворяется бесследно в этом черном космосе. Муть прорывается и там страшный, закрученный клубок звезд, галактик, миров, вселенных, и как будто этот вихрь меня отрывает от земли и уносит вверх, всасывает в себя. Но нет! Я крепко стою на своих ногах, полон сил и надежд, мощен и несокрушим. Вперед, вперед!

Закрутилось, бурно, три вечера, в парадной ее дома, у батареи, прячусь от холода и людей. Взгляд изнутри, вывернуть себя и посмотреть с изнанки, с противоположного берега, после смерти. Последнее слиянье, Бетховен, девятая, обнимитесь, миллионы. Сны: нет дверей, полеты в черных, ночных сферах, иглы гигантских ежей, потом – срыв, паденье в пропасть, но удержался за что-то и опять взлет... Единство сердец, колец, это кольца Сатурна, Хронос, Пожиратель; стая белокрылых людей, голых в свинцовом небе гористой планеты, я подумал, что так должны лететь души; они пели, скорбный хор, рекем, а горы вокруг росли острыми вершинами, горы и пропасти... Повестка в военкомат, двухмесячные сборы, на север, за Мурманск. Прибыли, город Полярный, мрачный городишко в сопках; голые камни, база подводных лодок. Уже шестнадцатый день тут. Погода гадкая, холод, дождь. Черные скалы, черная вода в бухте. Я старший лейтенант, командир БЧ-3, носовой торпедный отсек. Мое дело: командовать торпедной стрельбой из торпедных аппаратов. Ходили в море на три дня, воинские учения, я отличился, все мои торпеды попали в цель. Командир лодки объявил благодарность. Напишет в военкомат, чтобы мне присвоили очередное звание. Обещал в дорогу литр спирта. Нас тут четверо переподготовщиков из Ленинграда, есть из Москвы и из других городов. Сегодня забрался в сопки, там ветер, камни, ивинок, кое-где клочками зеленеет ранняя травка. Постоял над обрывом, тот берег – отвесные, мрачные скалы. Над бухтой вьются чайки, их тоскливые крики. Живем на плавбазе, в кубрике шесть человек, койка к койке, безделье, весь день забивают «козла», с утра до поздней ночи, стук

косяшек домино у меня в ушах, непрерывный кошмар. Три часа ночи, они все стучат. Я с книгой, дневник Стендаля (нашел в матросской библиотеке), но читать при таком грохоте и реве невозможно. Днем ухожу гулять в сопки, к бухте. Но ночью деться некуда. Кошмар продолжается. Табачный чад, домино, рев пьяных глоток, красные, искривленные азартом рожи. Вонючее железо этого, с низким потолком, узкого, как гроб, кубрика. Крысы, духота, пошлые анекдоты, споры о политике, яростные, бешеные, машут кулаками. Палуба в окурках, в пепле, в бумагах, клочках газет. Спирт из грязных стаканов. Нет сил терпеть эту пытку. Шинель, шапка, ухожу на лодку у пирса, забираюсь в свой носовой отсек, там тихо, тепло; лежать на торпеде, прикрывшись ватником... Как долго не было солнца! И вот оно, огромное, с утра – во весь иллюминатор! Беспредельная жизнь, быстро летучая, терзает меня. Скорее! Успеть что-то сделать, пока еще есть время и солнце, мое время. Я весь в будущем. В настоящем – я не у себя. Итак, эти воинские сборы окончены. Завтра улетаем. Прощай, Север, Полярный, этот проклятый богом городишко. Из Мурманска самолетом, кроме меня, еще четверо ленинградцев: Володя Реншин, Володя Петров, Исков, Марахонов. Командир лодки, как обещал, всем нам дал в дорогу по литру спирта. Больше отсюда везти нечего. Перечитал всю матросскую библиотеку.

В кинотеатре «Зеркало» Тарковского. Зрители уже через десять минут после начала сеанса вставали целыми рядами и уходили, возмущенные и оскорбленные, что им показывают такую чушь. Некоторые выкрикивали злобные ругательства. Вскоре во всем огромном зале мы осталась почти одни, как в пустыне. Михаил Ромм, «И все-таки я верю». Зал переполнен, духота, как в бане, липнем к сиденьям, проблемы века. Август, утром трава в бисере капелек, как в алмазной пыли. Выходя из библиотеки, вижу новенькие «Жигули», за рулем – она. Сделала вид, что меня не замечает. Бледное, как фарфор, застывшее лицо с опущенными глазами. Я небритый, лохматый, в зеленой, вылезшей из брюк рубахе, с вечной кипой книг в руках. Были в цирке, потом шли пешком по Свердловской набережной, считали львов, обрывали листья, ели крыжовник из кулька, который я нес в руке. Вода, солнце, губы, щеки, ладони. Утром гулял в парке, великанша простерлась с вершины холма до подножия – моя тень. Чисто, хрустально, начало осени. Вдали, за озером, поля и смутно – Красное Село. Тишина, листок не шелохнется. День словно застыл в голубом блеске. Женюсь, назначен день свадьбы. За ночными, мутными стеклами – дождь, дождь, дождь, бесшумный, черный. Говорил о понимании, но меня не поняли. Хочется всепонимания. А зачем? Ходишь, ходишь по кругам своим, шелест снов, шорох антивещества, античеловечества. Зреет что-то новое, грозное, а я все еще не разберусь. Прорыть туннели, свернуть горы. Трижды отрехшийся апостол Петр распят головой вниз, не считал себя достойным быть распятым, как Христос. Снилось, читаю письма Юлия Цезаря. Но эти письма существуют только в моем воображении. Читаю, читаю, читаю, в Публичке, в метро, в электричке, дома, на работе. Скоро мне 30. И я женат. Зима, снежная, месяц в дымке. Леонид Андреев, «Иуда Искариот». Живу и пишу.

Будильник на столе, стучит, отсчитывая секунды. Время – снежная лавина, начавшая свой путь с вершины года, обвал дней. Рождество, портвейн. Вышел на улицу, снег мягкий, в небе движутся дымные льдины – небесный ледоход, открываются полыньи-окна, в них звезды, луна в пятнах, в оспе, конопатая. Как мало еще я видел, как мало жил! Леонид Андреев о войне, «Красный смех», а на войне он никогда не был. Пока я только губка – впитываю все, что вокруг, в мире, смыслы, звуки, шумы, боли. А работа моя еще не началась. Жена уже спит, не буду тревожить. В комнате пахнет елкой. Пришла поэтесса Раиса Вдовина, читала свои стихи. Задавали вопросы, Вдовина отвечала. Спросили: развивается ли искусство? Она ответила уклончиво: изменяется. Острые спирали, вьюн, тянется вверх, к солнцу, к свету, в космос. «О нашей мысли водомет... но длань незримо-роковая свергает в брызгах с высоты...». Искусство – это куст Ван Гога. Это много разных растений, Флора, одни увядают, умирают, другие появляются на смену с новой жизненной силой. Неизменна только эта жизненная сила. Ночь, не спится, с улицы какой-то ритмический гул, шипящие шаги. Найти мужество молчать, промолчать всю жизнь; пусть говорят за границей меня, говорят, говорят, заговаривают, заклинают этот хаос. Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны, кто?.. Февраль, мне тридцать, вышел, ночь, пар дыхания исчезает в черном космосе; вот и вся твоя вечность.

Слово – это не мысль. А что? Джин из бутылки? Откупориваем уста, а оттуда – о ужас! С грохотом и молнией – волшебный дух! Слово! «Зачем ты меня вызвал?» – спрашивает громовым голосом. Занятие далеко не невинное, уйти в это колесо. Весь я – переплетение чего-то мне неизвестного и непонятого, какая-то угрюмая смесь, ничего я в себе не понимаю, да и ни в ком не понимаю, да и никогда не пойму. Опять повестка из военкомата, воинские сборы на север. Поезд тащился к Мурманску 36 часов. Потом катер – в Североморск. Поместили в казарме, тусклая лампочка, тучи табачного дыма, снаружи холод. дождь. Часто думаю о самоубийстве. Малодушие, гнусно. Жену оставил беременной, пока я здесь – родит. Пишу в темноте. Беспросветность. Но что-то во мне еще есть, не могу я так вот и кончить. Казарма, за окном ночь, снег, грязь. Читаю дневники Блока. «Записки из подполья» Достоевского. Интересно у меня получается: только я о чем-нибудь подумаю, а оно уже есть в книгах. Называется: открывать Америку. Бальзак пишет: «Я должен начать шедевром или свернуть себе шею!» Пришло письмо от жены. Каждый день, от подъема до отбоя, с 6.30 до 23.00 – грохот домино, карты, пьянка, дым, гам, орет радиоприемник, песни, вопли. Проходной двор. Детья некуда, читать трудно, не сосредоточиться. Не высыпаюсь. Круги ада. Командир лодки остановил на лестнице и стал кричать, что я не хожу на подъем флага и вообще ничего не делаю. Лежу в лазарете, на койке на чистой простыне. В палате я один, смотрю в окно: сопка, у подножия в снегу качаются сухие травинки. До конца сборов еще почти месяц. Телеграмма из Ленинграда: родился сын. Теперь я отец. Купил три бутылки водки, пили в казарме из жестяных кружек, обмыли новорожденного.

Вернулся со сборов. Жена в больнице, родильный дом на Лермонтовском проспекте, хожу к ней каждый день, ношу передачи. Стою под окном, ее палата на первом этаже, разговариваем через двойное стекло, я ее не слышу, и она пишет мне в тетрадке. Смотрю на ее крупную голову, бледное лицо, полные руки с темными волосинками. Все те же сны: упорный муравей, лезу, срываюсь, падаю, встаю, опять лезу. И во что бы то не стало залезу на эту Гору. Дождь, облака, солнце, тепло, позвонила, соскучилась. Не поехать ли в Крым? На платформе жду электричку. Самолет взлетел с аэродрома, рядом, за полем, серебристое, крылатое тело. На противоположной платформе девушка вертит в руке цветной зонтик. Мужчина в темном щеголеватом костюме, грудь колесом, ходит туда-сюда, как маятник. Опять дождь, женщины в босоножках, странно и смертно. Если я умру от старости, то, может быть, в 70 лет, значит, осталось чуть больше половины. В Крыму холодно. Из Симферополя в Алушту на автобусе, среди гор. Туман, пирамидальные тополя. На катере вдоль побережья. В поселке на берегу нашли беленькую хатку-мазанку, завешанную виноградными лозами. Комната 5 рублей в сутки. В горы на автобусе, шофер гнал с бешеной скоростью, казалось, вот-вот свалимся в пропасть. Приехали, водопад Джур-джур, жидкие, седые волосы льются со скалы, холодом от них веет. По склонам буковый и грабовый лес, буки – коряво-узловатые, чудища-драконы. Предложил обойти водопад сверху. По крутому склону узенькая, чуть заметная тропка, ноги скользят на камнях. Последний день, катятся с шумом тяжелые кувшины-волны. Бурые водоросли на берегу пахнут йодом.

Переполненный вагон, дурманный запах багульника с болота в раскрытую форточку. Приехал поздно ночью, темно, уже спят, стучал в окно, занавеска раздвинулась, лицо. Пошли ночью купаться в озере. Вода теплая-теплая, черная, торфяная, страшная, лилии и луна.

Снег выпал. На Дворцовой площади маршируют солдатики в шинелях, готовятся к параду. Один на своей вершине, на вершине себя. Ищи-свищи его, этот ледяной, горный ветер вершин; что-то во мне брезжит, какая-то заноза, жизнью я не дорожу. А чем дорожу? Своим сознанием? Говорят, еще есть подсознание. Не знаю, что это за зверь, я его никогда не видел. Декабрь, еще один, новенькие обручальные кольца, переплавленные из золота наших прежних супружеств. В рюмочной за стойкой по 150 грамм водки – обмыли колечки. Бутерброды с килькой. Вышли – снег, густой-густой, мокрые хлопья, Мойка в снегу, лиловый Исаакий. Оттепель, вечером поехали на Елагин остров. В темноте, скучное серое здание с обшарпанными колоннами, лужи, лед на ступенях, мраморные львы играют в мяч, сырой снег. В Никольский собор, обручение, как решили; потом на Балтийский вокзал, загород, катались на санках с горы. Вечером, в темноте, прогуляться, нашли нашу ель. Зимняя молния. Расстелил пальто на снегу. Вижу живые картинки внутри слов, какие-то цветные узоры, очарованную даль. «Гут посетили меня рифмы, и я думал стихами». «У Пушкина не чувствуется стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер; чувствуется, что иначе нельзя сказать... У Пушкина чаще

всего скрыты, утаены наиболее эффектные формальные ухищрения». «Весь образ, возникающий в творческом калейдоскопе, зависит от неуловимых случайностей, результатом которых бывает удача или неудача». «Наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления». Пушкин, Лев Толстой, Фет, Баратынский. Плачевные узоры.

Молочная столовая на Обводном канале. Теснота, чад, серая вермишель с котлетой. Вошли два старика, один – точильщик ножей, в кожаном фартуке поверх халата, положил на стол три остро отточенных тесака, как римские мечи. Усадил своего товарища, сам в раздаточную. Принес тарелку супа и плов, поставил перед ним. Тот стал есть. В левой руке грязная сетка с каким-то хламом, коробки, газета, со свалки. Ветхое пальто, торчат хлопья ваты. Лицо худое, небритое, под скулой яма. Точильщик интеллигентного вида, в очках, стоит, ожидая, когда тот насытится. Покровительствует этому бродяге, привел накормить. У Коли в его келье на улице Воинова. Чай, бутерброды с шпротным паштетом. Опять он мне читал свою прозу. Опять я смотрел на Неву из его окна. Вечер. Коля пошел меня провожать. У метро расстались. Поблагодарил меня, что я не забыл его. Я смущенно пробормотал: «Ну что ты, Коля!». Обнял, похлопал по плечу, сказал с запинкой: «Ты мой самый лучший друг». Коля скованный, голову поворачивает вместе со всем телом, действие психотропных лекарств. Его регулярные, два раза в год, попадания в психиатрическую больницу – этот дамоклов меч над ним. Долго ли он продержится тут в архиве дворником? Засиделся в Публичке в зале литературы и искусства, зеленые грибы ламп на столах. Март, день холодный, солнечный. На Невском искал подарок, наконец выбрал чашку с блюдцем в магазине «Фарфор». Гравер на блюдце сделал поздравительную надпись, вырезал жужжащим колесиком, а я ждал около его будочки с окошком. Обратно через Аничков мост, свежо, ярко, Фонтанка, катерок. Театральный киоск, повезло, два билета в Кировский на «Жизель», в этот же день, горящие билеты.

Встречи. Поэт С., у него седые волосы до плеч, густые и волнистые, красиво обрамляют лицо. Напоминает известный автопортрет Леонардо да Винчи. С ночного дежурства, сырое утро. Около дома старушка спросила: «Вы знаете, что умер Брежнев?» Приехали в Пулково в два часа ночи, народу тьма, зал гудит, спят на скамьях, подложив под щеку мешки и чемоданы. Мойщик тащит через весь зал свою воющую машину с черным кабелем. Нигде не найти вина, выпить на прощание. Сидели в обнимку на трубах отопления. Ну вот, час разлученья, час тяжелый. Прощаемся. Исчезла в толпе, там, внизу, в дверях, ведущих на аэродром. Я смотрел с тоской и страхом. Что если самолет разобьется? Автобус подкатил к самолету, пассажиры взбирались по трапу. Где она, в вишневом костюмчике, кудрявая?.. Большая серебристая рыба медленно поплыла по взлетной полосе, мигал красный фонарь в хвосте, движение ускорилось. Исчезла во тьме, только мигал далеко огонек. Незаметно, сглыбдя посторонних глаз, перекрестил самолет, где-то уже летящий в высях.

Мария Амфилохиева



УЖЕЛЬ ТЯ САМАЯ?

(повесть в неотправленных письмах подруге)

ПИСЬМО I

Здравствуй! Что нужно для спасения из круга, который я невольно или вольно создала сама? Помыкавшись среди близких мне людей в момент, когда нуждаешься – даже не в помощи – в возможности излиться, вдруг понимаешь: нагружать своими проблемами жестоко.

Дневник? Никогда в жизни я не выдерживала дольше трех дней. Писать самой себе? Возможно, я не считала себя достойным собеседником...

Удалось писать письма. Давно, с детства. Но редким людям. Возможно, только двоим. Были проблески с иными адресатами, но только проблески. Единичные и, как правило, безответные. Сейчас мне стало некому писать. И я была бы рада вернуться в то время... Нет, я была бы рада тебя перенести в это время... Нет, я буду рада невозможным образом соединить оба времени, наложив тебя тогдашнюю, может быть, отчасти созданную моим воображением, на ту странную пустоту, которую ощущаю, видя тебя сейчас. Пустоту озлобленную, даже агрессивную. Как странно...

Когда человек уходит с земного плана – это для меня более понятно и даже менее трагично, чем то, что случилось с тобой. Я простила уже со многими, но ощущаю их присутствие, и верю... Нет, не в реальную встречу в будущем, хотя во всяких кармических теориях вижу много привлекательного, – а в продолжение нашего общения – более или менее отчетливого, но несомненного. Связи не рвутся, они лишь растягиваются в пространственно-временных координатах, изменяя форму, но не сущность.

Потеря тебя безвозвратнее. Именно так. Сохраняю, как последнюю надежду, сравнительную степень. Всегда есть эта последняя надежда – на чудеса, которых не бывает. Но твоя телесная форма сохранилась. Быть может, и сущность сможет вернуться?

Во всяком случае, попытка снова писать тебе письма выдает меня с головой, делая явными и мою надежду, и мое одиночество.

Как неточны эти слова! Состояние мое называть одиночеством – кощунственно по отношению ко многим истинно одиноким. И надеждой ли вызвана моя отчаянная попытка пробить словом (мыслью, чувством) брешь в стене твоего отчуждения, которое давно уже перестало зависеть от тебя и от меня?

Наша переписка началась одновременно с дружбой. (Позже одна история любви у меня начнется одновременно с перепиской. Это уже похоже на некую закономерность). Но я отвлекаюсь...

Приближались летние каникулы, и мы, одноклассницы, тринадцатилетние девчонки, должны были расстаться на целую вечность длинную в три месяца. Переломить обстоятельства (дачи, путевки, родительские планы и негласные традиции летнего времени) мы по детской наивности даже не помышляли. Именно ты придумала, как перекинуть мостик над этой бездной, и подарила мне обыкновенную тонкую тетрадку – для заметок о летних впечатлениях. Ты пообещала тоже вести записи и предложила осенью обменяться тетрадями.

Вот с этой двухкопеечной тетрадки все и началось. Потом были другие тетради, записки (даже зашифрованные), были и письма, много писем. Два чемодана твоих, написанных в течение 15 лет, я сожгла, уезжая из Забайкалья. Позже, в Петербурге, делая ремонт в квартире, ты вернула мои забайкальские мне, и я повторила аутодафе. Повторила с внутренним трепетом, понимая, что это акт разумный, но жутковатый. Было в сожжении что-то символическое. После, если мы и писали иногда друг другу, то получалось совсем другое общение.

Взаимопроникновение наше перешло из писем в разговоры, которые были еще несколько лет необходимы мне. Думаю, что и тебе тоже. Но потом все стало растрескиваться, расшатываться, рассыпаться, пока в один непрекрасный день не рухнуло. И я могу только догадываться о причинах, судить о степени своей вины...

Впрочем, может, не стоило тебе сейчас обо всем этом напоминать? Не знаю. Прости.

ПИСЬМО 2

Снова пишу тебе, возвращаясь тем самым к прошлому и чувствуя от этого какую-то запретную сладость. Странное ощущение, если задуматься...

С раннего отрочества, с тех самых тоненьких тетрадок, мы много рассуждали о любви, об отношении к жизни, к людям. Понятно, что эти бессмертные темы, которые переживут и нас, будут возникать и в моих теперешних письмах.

«Поговорим о странностях любви»... Любовь. Это слово гипнотизировало меня с детства. Точнее, не погружало в транс, а заставляло вздрагивать. Счастливы дети, которые легко и радостно лепечут это слово, даря его маме, кукле, уличной собачонке, цветку на окне, солнцу над головой... Для меня это слово несло в себе тайну, я словно догадывалась о его весомости, тяжести – и остерегалась произносить. Таким же трепетным было и мое отношение к слову «сердце», ко всему, что я провидела за ним. Откуда, кем было вложено в меня это ощущение, которое нельзя назвать знанием, а лишь его предчувствием? В детстве я не смогла бы никому объяснить его, но позже, переминая золотоносные пески многих философских систем, я с жарким удивлением, с головокружением от узнавания находила те самые крупницы...

Невольно начинаешь верить, что изначально мы знаем все, но это непроявленное знание дремлет в нас как некий скрытый потенциал. Лишь слова, найденные через многие годы, дают ему определенность и живую «кинетическую» энергию. Пробуждают, но и невольно искажают – ибо чужое слово всегда неточное, не свое, несвойственное – и хочется заняться переводом...

Беззвучный крик твоей тетки и любимой героини – пушкинской Татьяны – «ужели слово найдено?!» не ей принадлежит, а поэту. И слово было по

отношению к герою неточным. Определенность сужает понимание и ведет к разрыву. Хорошо еще, если золотых крупниц проявленного знания находишь много. Тогда понимание обогащается, находка обретает многогранность.

Книга, оказавшая на меня сильнейшее влияние в детстве, – это «Суок». Именно так и никак иначе называлась для меня сказочная повесть Юрия Олеши «Три толстяка». Какие толстяки, какие социальные проблемы, какая революция? – все это пролетало мимо. Единственной реальностью была кукла-девочка или девочка-кукла, проявляющаяся то в одной, то в другой своей ипостаси. А еще был мальчик «Наследниктутти» – мальчик без сердца, которое было заменено чем-то железным. И были раны на груди Суок, лежащей в клетке с тиграми. Звери или стражники пытались вырвать ее живое сердце. Как важно было сохранить его биение, без которого сказка оборвалась бы сразу в непроглядность отчаяния. И была в этой книге любовь Суок, странно распределяющаяся на братскую – к Тутти, дочернюю – к доктору Гаспару и совсем невнятно выраженную, но явственную для меня – к гимнасту Тибулу. (Вероятно, это моя влюбленность в него передавалась сказочной героине).

Бог весть, какими странными фантазиями обрастал сюжет сказки в моем воображении! Я не спала ночами, лежала, с головой укрывшись одеялом и бесконечно задерживая дыхание. Удары сердца становились слышнее, и мне казалось, что это спасает ее, Суок...

Забавно, но одним из последствий этой странной ворожбы стали отлично разработанные легкие и умение управлять дыханием, пригодившееся позже при занятиях спортом – бегом на длинные дистанции и плаванием. О плавании еще скажу потом. Это разговор особый.

Еще одно последствие – почти условный рефлекс. Переживая за любимых людей, в особенные моменты экстаического возбуждения «забываю» дышать. Впрочем, не совсем, инстинкт все-таки срабатывает. И все это сродни какому-то ритуалу, найденному подсознательно и связанному с передачей энергии другому человеку.

Мое увлечение Рерихами, Агни Йогой во многом вызвано тем, что понятие сердца в этом учении – одно из центральных. Срабатывал тот самый эффект узнавания: все это уже было мне известно в моем детском опыте, который – в свою очередь – мог быть отблеском знания более подробно разработанного, приобщение к которому у меня несомненно уже было. Когда? Где? А откуда мне знать? Да и нужны ли эти догадки по поводу веков и географических координат? Не в них дело: это всего лишь условные формы, которые могут взаимозаменяться и изменяться, не меняя сущности, даже почти не касаясь ее.

Кстати, еще одна известная всем детская книга – «Волшебник Изумрудного города» – тоже давала мне кусочек знания «из истории сердца». Самый поразительный герой – Железный Дровосек. Полностью уверена была в том, что ржавеет и замирает он не оттого, что железный (срунда какая!), а

потому что лишен сердца. Вернее, оно, конечно, есть у него, такого доброго, готового всегда поддержать и спасти, но оно... развоплощенное, непроявленное. Конечно, тогда я слов таких не знала, да и сейчас не уверена в их точности, но я чувствовала: чтобы удержать в себе образ доброго сердца, герою приходится тратить много внутренних сил, энергии. Потому-то он и замирает без движения и без дыхания. Бездыханному голос сердца слышнее, даже когда оно виртуально, как у Дровосека.

И как ненавидела я Великого и Ужасного обманщика Гудвина за подлог! Почему-то микстуру для Трусливого Льва воспринимала как должное – ведь тому не хватало только веры в себя. Булавки и иголки, доставшиеся Страшиле, были забавной шуткой – и только. Но заменить сердце шелковой подушечкой! Какое кощунство! Я Гудвина возненавидела, а Железный Дровосек принял фальшивку, тихо улыбаясь со знакомой иллюстрации. Он все понимал так же, как я, но был тактичнее, добрее, сердечнее – и ненависть проходила мимо его настоящего сердца.

Что случилось с тобой? С твоим сердцем, так долго стучавшим в такт с моим? Когда я вижу тебя (редко, издали) – дыхание перехватывает, но это уже никого не спасает.

Неужели все лишь оттого, что я избрала путь, отличающийся от твоего? Но я была уверена, что дороги наши не расходятся, а идут параллельно. Ты, как казалось, продолжала путь по вершинам, а я вдруг заметила, что на этой высоте уже не растут стихи, – и осталась в полосе альпийских лугов. Мне казалось, что мы обе движемся по наклоненной орбите большого круга и не слишком отдаляемся ни от истины, ни друг от друга. Я ошиблась? Знаю, ты мне не ответишь на этот вопрос. А если бы ответила, то не согласимся. Ты всегда была бескомпромисснее меня, честнее, отчетливее. Моя область – полутона. Даже если какой-то луч разгорается ярко, его составляют смешанные волны разного характера. Ты предпочитала локальный цвет и резкость освещения. Но я любила тебя и люблю, потому что не верю в подмену сердца кусочком шелка. И если вижу сейчас только этот злосчастный кусок, то знаю: ты просто обездвигилась, заржавев от непосильного напряжения, а образ твоего сердца сохраняется где-то в воздухе, который я все же иногда успеваю вдохнуть...

Заканчиваю письмо. Будут ли другие – не знаю. Но это уже состоялось, улеглось в слова, проявилось в реальности. Возможно, это нужно кому-нибудь, кроме меня...

ПИСЬМО 3

Иногда кажется, что идея писать тебе письма спасительна не только для меня, что этот посыл прорвет оболочку твоего отчуждения... отчуждения даже не между нами – это частность, – а между тобой и любящим тебя миром, к которому ты стала неожиданно относиться подозрительно и враждебно.

Какая страшная весна в этом году!

Разрываюсь – ибо множество людей нуждаются в поддержке, а меня позорно не хватает на всех. И мои судорожные глотательные движения в поисках подпитки (ни воздуха, ни энергии не хватает, только удары сердца грохочут) ясно указывают на эту нехватку, становящуюся всеобъемлющей.

«Страшный» и «страстный» – слова одного корня, слова кровного родства. Страсть как разновидность многоликой любви страшит, но она же заставляет переступать через все страхи. Страх за близких по духу людей обретает страстный оттенок, смешивается с любовью – и не различить уже, и нужно ли отличать... Об этом, отчасти, у Пастернака: «Тебя вели нарезом по сердцу моему». Острейшая боль, без которой уже не жить, и образ, врезавшийся насовсем, ставший не просто неотъемлемой частью – сутью, ибо что может значить пустой лист металла без нанесенного гравером рисунка?

Я говорю сейчас и о тебе, твоём образе тоже, но и не только о тебе.

Человек, ворвавшийся в мою жизнь недавно, врезан в мое сердце не навечно даже – извечно. Мы оттуда, из тех пра-праглубин, где с тобою я еще не встречалась. Ты, мне кажется, пришла позже, хотя знала не меньше. Но мы с ним – исконные, от первовеществ и от первого Слова. Когда я думаю о нем, приходят в движение еще не остывшие слои плазмы в земных недрах и всколыхиваются глубинные воды Марианской впадины. И при чем тут любовь? Ее придумали гораздо позже. Даже воспетая античными греками первостихия – Эрос – не наша еще воплощения в слове. Она тоже младше нас.

Увидев его, я впервые осознала, из каких бездн пришла сама. Запорошенная тысячелетиями память пробудилась и высветила – короткими вспышками – несколько картин. Амнезия – потеря памяти – случается, когда кому-то плохо, когда в душе залегла боль столь сильная, что о ней приходится забыть, чтобы выжить. Мне было плохо без него – до потери памяти. Теперь она вернулась – вместе с пониманием, через какие времена и пламена нам доводилось проходить. Он появился в моем сознании – обугленный, обожженный ими, но выстоявший. Меня обожгло меньше – я всегда умела нагнуться, переждать, а он шел напролом.

Глаза слипаются. Надо оставить это письмо, такое короткое, но трудное для меня, ведь я тщетно пытаюсь в нем выразить непередаваемое, неясное до конца даже мне самой. Но ты всегда понимала подобные вещи. Возможно, мы все это придумываем сами, но какой мир придумали – в таком и живем, так есть ли разница...

ПИСЬМО 4

ВЕЧЕР

Сегодня один из нелюбимых мною дней, когда изнутри гложет неясная тревога, причину которой не отыскать в сиюминутном течении своей жизни. Внешне все обычно – можно даже работать, готовить еду, разговаривать с людьми и домашними животными... Но стоит на минуту оторваться от этих занятий – тоска засасывает в какую-то бездонную воронку. Не помогают

самые сильнодействующие средства – любимые стихи и стихи любимых. И беспокоят краткие бессмысленные звонки, осмысление которых взрывается вечностью. Некоторые я делаю сама – это понятно, но почему в такие часы начинают звонить мне?

Извини, я играю словами. Но это тоже своеобразный громоотвод...

В такие дни досадую на себя. Если дана эта странная чуткость, то почему не хватает понимания происходящего? Впечатление, что нужно расслышать невнятный зов, но слух ослаб, или нужно что-то увидеть (провидеть, предвидеть?), а перед глазами только серая пелена тумана. И страшно оттого, что не смогу сделать того, что должна сделать.

Иногда такое чувство мучает, если не пишутся стихи. Дар дан, долг обязывает – и ничего не получается. Кстати, бывает, неделями ни строчки – и нормально. Просто пауза. А иногда только вчера написано несколько стихотворений, а уже сегодня этот страх, эта неудовлетворенность... Импотенция творческого начала... Но я отвлеклась, ведь это только частный случай.

В такие дни, как сегодня – и я уверена в этом – происходит нечто, зависящее от меня, хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства. Почему неизвестны? Не доверяют свыше что ли? А ведь, кажется, знай я, в чем дело, лучше бы сконцентрировалась...

Наверное, я сумасшедшая, но мне представляется какой-то единый фонд эмоциональной (или духовной?) – не будем сейчас путаться в терминах) энергии, откуда покрываются утечки, возникающие от всяческих недобрых обстоятельств. Неизвестно, в чем приходится участвовать именно сегодня. Мало ли на Земле катаклизмов...А может, и не только о земном речь. И, может, причину надо искать не в сегодняшнем дне. Вполне вероятно, что расплата приходит за прошедшие времена или за будущие. В конце концов одновременность, параллельность времен – идея старая, а благодаря Борхесу («Сад ветвистых дорожек»), я ее воспринимаю вполне даже наглядно.

Я вовсе не открываю никаких Америк. Недаром религия (и, кажется, не только Православие) учит молиться за всех – на всякий случай. Кому помощь нужна – до того дойдет.

И все-таки хотелось бы знать точнее. Или это гордыня и праздное любопытство? Или просто трусость? Ведь неприятно бродить в темноте на ощупь. И все-таки... Но моменты прозрений редки. Лишь брезжит надежда, что когда-нибудь...

А может, мое альтер-эго на другой веточке-дорожке знает все, поскольку энергетическая история Вселенной в том мире входит в программу начальной школы, а зрячими все оказываются от рождения...

УТРО

Роняя эту тетрадь в полусне, я просила ответа, просила хоть небольшой вспышки прозрения. Чудо, но сон случился. Такой странный! Я в разочаровании и в восторге разом, ибо ответ преподнесен был с изрядной долей юмора. Всегда верила, что если есть Формы Высшего Разума, то они должны уметь смеяться и иронизировать. Мы с тобой любили пересказывать

друг другу сны, и я снова сделаю это. Не хочется пользоваться именами собственными, но давно пора как-то назвать героев.

Тот, о ком я уже писала тебе в прошлом письме, тот, кто увел меня в лабиринты прапамяти, пусть называется Звездочетом. А тому, кто сопутствует мне многие годы, поддерживая и сдерживая, пожалуй, подойдет имя Хранитель. Да будет так!

Сразу предупреждаю, что сон, начинающийся почти эротически, закончится дозой здорового юмора на добротной философской закваске. Это смех богов-олимпийцев, они веселые ребята.

Итак, тесная комната, похожая на мою. Звездочет и я сидим за секретером. Ситуация вполне студенческая: книги, конспекты, глобус для занятий астрономией... Книги некоторые помню даже с названиями. «Религия в истории народов мира» (но все же не хрестоматийный Токарев), «Золотая ветвь» Фрэзера, огромная древняя Библия, какие-то еще старинные книги и свитки. В реальности на моем столе столько всего не уместится! Открытые конспекты. Спор о чем-то прочитанном...

Моя влюбленность и неуверенность в том, что есть что-то ответное. В какой-то миг по короткому взгляду понимаю – есть. После этого притяжение становится невыносимым, и я делаю единственное, что могу сделать в этот миг – прерываю его рассказ о чем-то ученом, прошу извинения за слабость и утыкаюсь лбом в его плечо. Пугается: «Что случилось?» И немой вопрос – в объединившемся вдруг, общем сознании – а что может произойти дальше, если мы осмелимся еще приблизиться друг к другу?

На момент становится жутко, но потом напряжение разряжается улыбкой. Он произносит то, что собиралась сказать и я: «Что будет? Будут два голых человека. Ну и что?» И мы облегченно смеемся, совсем переставая бояться. «Инцидент исчерпан» и рождается удивительное ощущение, что все правильно, мы легки, свободны, и вообще при желании можем оказаться мгновенно в любой точке пространства, да и времени, наверное, тоже...

Звездочет говорит мне: «Кажется, я теперь узнал тебя и все понял». Я тоже чувствую, будто что-то поняла, хотя ощущения смутные. И тут черты Звездочета начинают незаметно заменяться чертами Хранителя...

Вдруг мы (с кем я? кто я? – это уже неважно) оказываемся у ограды Таврического сада. Крупно видится купол больничной церкви, почему-то сейчас напоминающей мечеть. Смеемся чуть обескураженно, но с облегчением. Все хорошо. Кажется, нам предстоит расстаться – ненадолго в масштабах вечности. Но мы еще встретимся, и не раз. И звенит, звенит и в нас, и вокруг, в лучах взошедшего солнца, в ветках сада удивительный хрустальный смех...

По-моему, толкование будет излишним. А утро вечера мудрее – в данном случае это правда.

ПИСЬМО 5

Прошло долгое время – и я снова пишу тебе. Я в деревне, лето в разгаре. Многие дела и заботы увели меня от писем, но иногда мне все-таки кажется, будто они – наш последний шанс, единственный шанс. Прежние отношения не вернуть – в этом я даю себе отчет, но я не хочу и, наверное, не должна отпускать тебя совсем. Мы много говорили с тобой о том, что в мире нет ничего случайного. И человеческие отношения, подобные нашим, случайными быть не могут. Они завязываются в неведомых глубинах времен и уводят в бесконечность будущего. Я верю в это продолжение, иначе все теряет смысл, поэтому и пишу эти письма. Они обращены не к тебе сегодняшней, отталкивающей меня, а к тебе иной, обновленной – просветленной и понимающей.

Трудно разобраться, почему наше общение оказалось оборванным так грубо и нелепо. Если не бывает случайностей, то и в этом должен быть смысл. Возможно, все, что мы должны были открыть друг другу, оказалось открытым. Может быть – и это гораздо печальнее – одна из нас сбилась с пути, и ее следовало бросить, разорвав связь, чтобы не отягощать другую. В этом случае на роль отступницы (оступившейся?) больше подхожу я. Сейчас даже попытаюсь объяснить, как это произошло. При попытке объясниться и оправдаться часто ищут виновных. В моем случае я могу обвинять только музу...

Был в моей жизни период, когда (вечная ситуация, описанная Данте) «земную жизнь пройдя до половины я заблудилась в сумрачном лесу». Наломав премного дров в жизни и пытаюсь мысленно сопрягать для самооправдания свои метания с высокими идеями, я оказалась в тупике. Думаю, именно этот внутренний надлом и проявил себя в серьезной болезни, приведшей меня в больницу, причем надолго.

Ты в это время уже твердо выбрала свой путь: увлечение Агни Йогой стало для тебя чем-то большим, чем просто интерес. Меня эта философия тоже увлекала долго, но не в такой степени. И остановили меня стихи. В какой-то период времени у меня писалось только нечто «идейно-духовное», и мне нравилось то, что получалось. И вдруг, перечитав последнюю тетрадь, я поняла: все это скучно и мертво. Одни абстрактные рассуждения, а если и появляются образы, то лишь условно-традиционные. Это понимание обрушилось на меня, как удар грома. Я замерла... а потом отреклась от восхождения на высокие скалы духовной поэзии, от разреженного воздуха вершин, оставшись на уровне альпийских лугов, где журчат ручьи и пестреют живые рифмы и краски.

Интересно, почему сейчас написалось об этом столь витиевато? К чему пафос?

Впрочем, не скоро дело делается. Процесс был длительным. Он странным образом включил в себя и мое крещение во Владимирском соборе, и мое знакомство с той, кого я буду называть в этих письмах Провинциалкой.

(В этом нет обиды или пренебрежения – она сама называла себя так, даже в стихах, подчеркивая свою негородскую сущность).

О крещении скажу коротко. Я вовсе не склонна намекать на то, как относится официальная церковь к Блаватской и Рерихам. И мое удостоверение о крещении заполнено твоей рукой. (Смешно – удостоверения выдавать к Таинству...) Идея общности идей всех религий была нам близка и остается мне близкой. Здесь не было прямого противопоставления. Но в то время этот шаг казался мне очень важным, хотя сейчас я в этом сомневаюсь. Но ведь случайностей не бывает... Я избрала путь – и болезнь отступила, я шла этим путем более десятка лет. Нет, никакой «воцерковленности» не было. И само слово-то это мне не нравится... Но был отрезок пути с явной ориентацией на Православие. Сейчас чувствую, что снова подхожу к какой-то грани и пока не вижу отчетливо, что будет дальше, причем не обязательно это означает поворот. Но надеюсь, что дорога уже проступает в тумане на ощупь, и что на этом пути я буду не одинока... Хотя нет, не стоит надеяться, ведь эти пути всегда индивидуальны.

Но сейчас я рискну вспомнить предыдущий поворот, с таким трудом пройденный мной.

Приехав на время в Петербург, я поняла, что больна. Это непривычное состояние сопровождалось выматывающим страхом. Страхом даже не боли, хотя она мучила изрядно, и не смерти, о которой я невольно тогда задумывалась, а своей беспомощности, неспособности контролировать ситуацию. Вот в таком состоянии я решила, что должна принять крещение.

В постперестроечные годы так поступали многие. Обряд из-за массовости этого явления упрощен был донельзя. Не требовалось ни исповеди, ни какой-либо еще подготовки, да и сама церемония мало напоминала Таинство. Все это для меня было большим облегчением, потому что к внешней стороне любой обрядовости я относилась и отношусь с изрядной долей иронии.

Во время Действа, в котором принимало участие полтора десятка желающих, шустрый двухлетний ребенок старался открутить краник у купели и едва не преуспел в этом. Всех отвлекали и развлекали его шалости. Тоже не случайно? Получив незаполненную открытку – свидетельство (священник сказал, что мы сами можем его заполнить), я поехала к тебе и попросила, чтобы ты своим красивым почерком написала все, что нужно. Ты не отказалась, но моя просьба вызвала у тебя некоторое удивление.

Может, я ошибаюсь. Позже ты сама говорила, что нам, русским, лучше всего идти путем Христа, он для нас самый верный. Кстати, несколько лет спустя этот путь выберет Провинциалка...А я сказала тогда тебе, что нельзя все время бороться в одиночку, нужно быть вместе и идти, взявшись за руки, и что я хочу идти со всеми... Наверное, это был единственный момент, когда мне показался понятным принцип соборности, столь важный для Православия. Недолго длилось это ощущение – и вновь я оказалась одиноким странником, искателем путей в бездорожье.

ПИСЬМО 6

Эта история – о моем выходе из одиночества. Я рассказывала ее неоднократно и даже описывала дважды. Первый раз подробно – в моих письмах, посылаемых тебе из Читинской больницы. Второй раз – коротко в виде статьи для одного петербургского альманаха, в котором по странному стечению обстоятельств появилась заметка из дальнего Забайкалья, написанная Провинциалкой.

Мы лежали с ней в соседних палатах, глубоко уйдя в скорлупу болезни. Нас свели другие больные, узнавшие, что обе мы пишем стихи. Стихи, кстати, в нашем общении потом оставались где-то на втором и на третьем плане, а главным был диалог обо всем на свете. Наверное, в моей жизни не было больше такого густословного и пламенного (трудно подобрать другое слово) общения, которое мы прерывали иногда усилием воли, сознавая, что больше уже не выдержишь – сгоришь. По этой же причине отбросили первоначальное желание попроситься в одну палату.

Я уверена, что именно этот порыв друг к другу и – вместе – куда-то выше нас обеих тогда спас. Мы разбили скорлупу, освободились от кокона изолированности, который нас почти задушил уже. С этого началось выздоровление.

Наши судьбы, профессии, интересы, даже диагнозы, не совпадая полностью, были подобными друг другу. Ее выписали из больницы дня на три раньше, чем меня.

С перепиской получалось не очень. Напряжение личного общения в письмах передавалось только слабым отблеском. Писали насыщенно, но нечасто. И я уже не помню, как случилось, что в письмах я свела Провинциалку с тобой. С чего началось ваше общение – не помню, но оно было очень оживленным. Она какое-то время даже больше писала тебе, чем мне. Я люблю сводить близких по духу людей – это как передача эстафетной палочки в команде.

Именно Провинциалке я смогла после трехлетнего перерыва в нашей с ней переписке сообщить, что случилось с тобой. Другие бы не поняли ничего, а тут почти не надо было объяснять. Получив ответ на свое отчаянное письмо, я узнала, что она избрала путь Православия, при этом об учении Рерихов она отозвалась очень резко. Меня удивил не выбор, а безапелляционность. Ничего не имею против того, что человек избирает себе определенную позицию и защищает ее. Возможно, это правильно. Но мне пока (пока?) ближе брюсовское «мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». А учения, пытающиеся сопрягать основы различных религий, по-прежнему кажутся наиболее симпатичными. Ни один народ не глупее другого, каждый по-своему догадывался о мироустройстве и об общих законах, пронизывающих все – от космических процессов до частных человеческих жизней. И тем более увлекает то, что древнейшие мифы говорят об одном и том же.

Христианство пришло позднее, поэтому представляется мне все-таки вторичным.

Идея Христа – идея великая, и не стоит упрощать ее, проводя параллели с древнейшими сельскохозяйственными культурами, хотя она привита, как побег культурной яблони к стволу дичка, именно к ним. И все-таки у креста, на котором распят Иисус, мне не хватает корней. У метафоры привкус кощунства? Да простится мне сие!

И вообще я много выдумываю – о мироустройстве, и о людях тоже...

Интересное слово «выдумывать». Чем-то созвучно с «выдувать». Из отдельных фраз, а особенно поэтических строк я выдуваю (или выдумываю) миры. Мое стихотворение «Ремесло стеклодува» как раз об этом.

*Суть стеклодува – отчаянный выдох,
Что воплощает в реальность виденья...*

Стоит задуматься и о том, что такое дума. Дума не есть мысль. Эти понятия почти противопоставленные. Мысль – от простого разума, от рационального. Дума гораздо глубже. В думу можно погрузиться, за мыслью – только следовать. Мысль – прямая между двумя точками, дума – необъятный океан, стихия. Погружаясь в думу, имеешь дело не только со своим ограниченным мышлением, происходит некое Подключение. Поэтому «выдумывать» – это творить, по большому счету, интуитивно, беря в соавторы нечто Высшее (опять неэтично выразилась), проникаясь знанием, которое нельзя считать только своим.

Может быть, когда выдумываешь что-то о человеке, как раз и получается исходная истина, первоначальный проект, не искаженный жизнью? Творчество подобно любви. Во всяком случае, нельзя не любить то, о чем пишешь.

Замысел изначально всегда хорош, но часто потом, при воплощении, все становится хуже, отклоняясь от заданного. А жаль. И наш изначально верный путь заложен в нас. Но мы забываем его, забываем бытом, заболеваем – и отклоняемся. Поэтому стоит остановиться, задуматься, погрузиться в думу – и придумать этот путь заново. Вдруг угадаем?

Наверное, и Христианство (великая выдумка о любви!) придумано именно так, в стремлении вспомнить изначальное, потому оно и говорит о тех же истинах и путях, но другими словами.

Для серьезных рассуждений на эти темы мне не хватает конкретных знаний. Я неисправимый дилетант и изобретатель велосипедов. Но почему-то мне всегда больше нравилось изобретать велосипеды, а не изучать их устройство по учебникам. Может, это тоже путь?

Итак, изложу хотя бы поверхностно.

Христос – это любовь. Это краеугольный камень учения. Древние говорили об Эросе как об одной из первичных сил, без которой мир просто не состоялся бы. Сила притяжения, соединения, созидания – первооснова.

При чем тут распятие?

Я уже обмолвилась, что у креста мне не хватает корней. Но проросший корнями в землю крест – это уже дерево. Идея мирового древа – оси мира – тоже встречается во многих религиях. Мир не стоит без любви, ничего не стоит без нее. Мировая ось и любовь должны быть в единстве. Итак, соединение Христа и Креста (и слова созвучны) заложено изначально. Гвозди

здесь не при чем. Их придумали позже. Когда Христос говорил о царстве добра и истины, он проповедовал именно соединение любви и мироздания. Эта первичная идея была выдумана Творцом. Но человечество сбилось с пути – и потребовался Христос как напоминание о первоначальном замысле. Искажённое напоминание, загрязнённое страданиями людскими. Распятие – не ужас, не преступление человеческое, а то, что должно быть, возвращение любви на то место, где ей пребывать следует. А сочинили вокруг этого кровавую и почти детективную историю в стиле соответствующей эпохи.

Муки Христовы? Но это взгляд со стороны человеческой. И гвозди выдумал человек, не в силах иначе объяснить, чем закрепить любовь на мировой оси. Детски жестокая рациональная глупость. На самом деле Христос-любовь на этом кресте-древо должен висеть легко и естественно, как яблоко на родной яблоне. (И возникает сразу ассоциация с райским древом познания, с которого яблоко людям рвать нельзя было... Вот и пришлось Христу на мировое древо возвращаться таким трудным путем, а потом все те же Еву и Адама из ада выводить... Интересный вариант сюжета, далеко заводящий. Лучше оставить его до поры- до времени, не додумывая.)

Главный подвох таких домыслов и раздумий в том, что все мы – люди. И если даже «в нас в каждом есть бог», то это начало надо еще обнаружить и развить. Задумываясь о Высшем, забываешь о человечески-жизнейском. А когда тебе просто больно физически – начинаешь молить, чтобы миновала тебя чаша сия... И у каждого ли хватит духа добавить, что все должно состояться-таки по Замыслу, а не по этим жалобам?

Всякая книга, даже Библия, людьми написана. Поэтому зерна от плевел отделять и отделять приходится... Но не слишком ли много я на себя беру, размышляя так? В «Ревизоре» городничий упрекает судью в том, что он как начнет о сотворении мира рассуждать – волосы на голове шевелятся. Тот оправдывается, что своим умом дошел... Может, правда, иногда лучше ума не иметь вовсе, а вольнодумствовать, прочитав пять-шесть книг, конечно, смешно... Над собой смеюсь...

И что-то очень далеко унесло меня от первоначальной темы...

P.S.

Вот и ответ на мои бредни. Читаю у Борхеса: «Крест, на котором распят Иисус Христос сделан из ствола древа познания добра и зла». Цитирую не совсем точно, но – увы мне, велосипедных дел мастеру!

ПИСЬМО 7

Почему-то здесь, в деревне, сны более отчетливы и сюжетны, чем в Петербурге. Я это заметила еще в первый приезд. Тогда было нечто необыкновенное: на четыре ночи три отчетливых осмысленных сна и один фрагмент, тоже заставивший задуматься. В первом доме – у озера – сны лучше, чем в том, где мы живем сейчас, который стал нашим. Но и здесь хоть один или два раза за приезд непременно снится что-то необыкновенное.

Магия места? Или просто режим жизни в деревне так прост, что сознание во сне берет реванш у действительности? Сны первого приезда почти все вошли в мои рассказы, особенно в «Грипп». Почему ты так болезненно отреагировала на этот рассказ, приняв историю с островом на свой счет? Мы едва не поссорились. Это была едва ли не первая тень, пробежавшая между нами. Я объясняла, что если уж на то пошло, рассказ связан не с тобой, а с Хранителем, и то лишь слегка...

Хранителя я тоже придумываю, но в меньшей степени, чем Звездочета. Здесь все понятнее – на волне любимого Окуджавы. «И муравей создал себе богиню по образу и духу своему»... И я не могла не откликнуться – а дальше пошло уже соавторство и сотворчество. Романтическая история с легкой примесью почти детского авантюризма. В казаки-разбойники, наверное, не доиграли.

Звездочета придумываю я. Он, мне кажется, не хочет придумывать в действительности ничего лишнего. Убеждаю себя, что так лучше, но тревожусь, когда он говорит об одиночестве.

Одиночество – нормальное состояние, если умеешь с ним жить. Все мы одиноки – никуда от этого не денешься. Одиноки, когда выясняем вопрос о собственной жизни и смерти. Одиноки, когда общаемся со многими, но не с теми. Еще острее бывает одиночество в узком кругу так называемых «близких»...

Самое мудрое, что я слышала об одиночестве – строки Ахмадулиной, ставшие популярными благодаря фильму «С легким паром». Да, его «характер крут», но когда привыкаешь, когда одиночество становится уютно-обжитым, когда «позабудешь тех, кто умерли или доселе живы», тогда оно благотворно. Именно тогда можно творить с ним вместе что-нибудь вроде «Поэмы без героя», потому что «прекрасные черты» друзей, уже не совсем реальные, а из звезд и ночной темноты пересозданные, становятся яснее.

Мне кажется, что Звездочет, при всем его стремлении к такому одиночеству, получает чаще иное. Более тревожное и менее продуктивное (фу, какое слово!). Опять, впрочем, придумываю, опять много на себя беру. Можно ли придумывать за других?

Мы с тобой долго были нужны друг другу. И, как мне кажется, не нуждались в придумывании, а старались принимать друг друга, как есть. (Когда знакомы с семи лет, выдумки не требуются). И что? К чему все пришло? Я тебе не только не нужна, но ты видишь во мне врага. А ты для меня... Даже трудно сказать. Наверное, ты нужна мне по-прежнему, иначе я не писала бы эти письма. И не размышляла бы так много об одиночестве. Но теперь я вынуждена тебя придумывать, заменять реальность, в которой наша связь разрушена, своей выдумкой.

...Нет, нас разлучила не реальность, а как раз иллюзия, твоя выдумка, которая была следствием твоей болезни. Так что теперь я пытаюсь побороть своей выдумкой твою.

Твою ли? Ты меня любила, несмотря на споры и ссоры. Почему же прилетела химера, разлучившая нас? Откуда она появилась? И к кому я

обращаюсь в этих письмах? К тебе, какой ты была раньше? К тебе, какой я придумываю тебя сейчас? Впрочем, какой я вижу тебя? Я ведь не вдаюсь в подробности, желая лишь понимания, то есть просто говорю о себе, говорю и говорю... Наверное, в этом главная моя ошибка. А иногда кажется, что ты настоящая, понимающая меня, где-то существуешь и мои старания помогут тебе вернуться.

А иногда с ужасом думаю, что во всем случившемся есть немалая доля моей вины. В последние месяцы и даже годы ты раздраженно реагировала на некоторые мои откровенности. У меня даже мелькала мысль, что наши проникновенные отношения могут сойти на нет. Вот они и оборвались. Оборвала их ты, но не лежала ли в корне разрыва моя мысль о разрыве? Или это было предвидение?

Меня всегда волновал вопрос о том, что первично. То ли человек иногда может предчувствовать будущее, то ли он сам это будущее создает, запуская в пространство мысль, которую потом наивно считает своей способностью предугадывать... Не исключаю, что эта постановка вопроса неверна. Скорее всего, линейность времени иллюзорна. Любой факт просто существует, остальное зависит от ракурса, от точки зрения. (Снова Борхес, «Сад ветвящихся дорожек»). А если принять за основу эту систему координат, тогда неважно, что ты сейчас не хочешь видеть меня. Наше совместное бытие гораздо обширнее этой единично-временной ситуации.

При таком раскладе одиночества нет и быть не может в принципе. Вернее, оно, возможно, если человек очень хочет этого одиночества, желает его искренне и неотступно. Но я не верю. Скорее, вся эта концепция – попытка от него спастись

А еще человек может желать одиночества от страха. От страха потерять тех, кто станет по-настоящему близок (без кавычек). Такой страх понятен, если потери уже были. А были они почти у всех.

Я еще не дошла до рассуждений о том, что тот, кто истинно верит в Бога, совсем одиноким быть не может. Но это и так понятно – стоит ли повторять лишний раз...

ПИСЬМО 8

Почему-то сегодня тянет на сложные темы. Мы с тобой никогда не боялись сложностей – ни в разговорах, ни в жизни. Одним из самых трудных был разговор о твоей болезни еще тогда, в детстве.

Мы познакомились – помнишь? – в первом классе. Не сразу мы заметили друг друга, но потом оказалось, что моя бабушка и твоя мама почему-то сдружились, и иногда даже совершались прогулки около школы вчетвером. С самого начала нашего знакомства ты буквально очаровала меня своими подарками.

Помню, подмораживало и на асфальте за школой блестели кристаллики льда – удивительно тонкие узоры, сказочная мозаика. Мы любовались,

отыскивали самые красивые. Когда один узор особенно понравился нам, ты вдруг сказала: «Я дарю его тебе!» В первый миг я не поняла, потом застыла, пораженная, а в следующее мгновение искала что-нибудь достойное стать ответным даром. Игра увлекла. Чего только мы не надарили друг другу в этот вечер: и пролетающие облака, и отражения заката в окнах соседнего дома, и дуновения ветра...

Эта прогулка, позже полузабытая, а затем вспомнившаяся со всей отчетливостью, стала камертоном наших отношений, хотя до 6-го класса они были непостоянными, настоящая дружба началась лет с тринадцати.

Но я отвлеклась. В тот же день, когда мы дарили друг другу маленькие чудеса этого мира, дома со мной вдруг серьезно поговорили о тебе. Инициатива, думаю, принадлежала бабушке (никто кроме нее просто не мог владеть информацией), а роль собеседницы досталась тете. Разговор получился долгий и деликатный, но за тактичностью проглядывала грубая суть. Мне сообщили, что ты больной человек и лучше близко с тобой не дружить. От этих слов было больно, тем более после радости, вспыхнувшей в нас на прогулке. Запомнилось мне и то, что в какой-то момент вошел мой отец и встал на сторону нашей дружбы. Советовал мне не отступать. Я не очень понимала, в чем дело...

Уже через пять-шесть лет, когда наша дружба действительно сложилась, я все же задала тебе этот нетактичный вопрос, ведь мы с тобой договорились, со всем максимализмом подростков, что между нами не должно быть тайн. Истина оказалась простой. В детстве ты играла в песочнице, упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Потом бывали еще обмороки, связанные с сильными приступами головной боли, со временем прекратившиеся. Вообще порог болевого восприятия у тебя был низкий, ты могла потерять сознание, если брали кровь из пальца. Моя бабушка боялась, что когда-нибудь ты упадешь при мне, а я испугаюсь и растеряюсь.

...Не буду сейчас оценивать ее искреннее желание оградить меня от лишних, по ее мнению, переживаний.

...А ведь это все-таки произошло. Ты потеряла сознание на моих глазах, только совсем в другом смысле. И я действительно растерялась, потому что **не вижу средств, как привести тебя в чувство, вернуть тебе то сознание, в котором я занимала совсем иное место, чем теперь...**

Возможно, то, что случилось, все-таки последствие травмы, полученной в детстве. Во всяком случае, не без этого. «Ничто не причина, причина в совпадении множества причин», – говорил горячо любимый тобой Лев Толстой... Мы часто спорили о нем. Интересно, ты все еще любишь этого писателя или твое отношение к нему изменилось? За величие таланта, который признавала и я, ты простила ему все. А я не могла. Меня всегда раздражали многие личные качества Льва Николаевича: его деспотизм, проявлявшийся не только в ссорах с его домашними, но и в манере общаться с читателями. И в женщинах, на мой взгляд, он ничего не понимал. Хотя кое-что здесь я могла ему простить за образ княжны Марьи. Но ведь его любимой героиней была Наташа, которую я, как ни странно, начала понимать только в

последние годы... Смешные девчонки, как серьезно мы воспринимали все, происходящее в любимых книгах!

Но я снова отвлеклась.

Тогда меня ужасно заинтересовала твоя способность терять сознание. Со мной такого никогда не случалось. Кстати, до сих пор. Было три-четыре ситуации, когда я была близка к этому, но сознание не исчезало совсем, только плыло. Я даже однажды, во время небольшой операции, попросила общий наркоз взамен местного. Из любопытства. Этот единственный случай «ухода» меня разочаровал – все произошло быстро и неинтересно. Занимательнее оказалось «возвращение».

Когда я начала понимать, что нахожусь уже «здесь», то услышала свой голос, громко и отчетливо читающий стихи Арсения Тарковского. Осознавая неуместность этого действия, тут же обнаружила, что остановиться или хотя бы «уменьшить громкость» не могу. Это длилось несколько минут – я успела прочесть три-четыре стихотворения. Потом медсестра смеялась, говорила, что была уверена, будто работает радио, а меня ободряла, утверждая, что бывают и более нелепые случаи при выходе из наркоза. Так что мне повезло – получилось даже красиво... А очнувшись я где-то посередине моего любимого «Жизнь, жизнь». Пожалуй, трудно найти что-то более уместное, чем, возвращаясь из небытия, заявить во весь голос: «На свете смерти нет!»

Кажется, самом деле верю в это, несмотря ни на что.

Отец умер буквально у меня на руках. Все решалось неправдоподобно быстро – в несколько дней. Мама, измученная своей отчаянной верой в то, что его уход еще не решен, заснула в соседней комнате – отец уже сутки не приходил в сознание. А я осталась около него с неясной мыслью о том, что теперь надо воспользоваться моментом, когда ее воля не препятствует, и отпустить его... Никакого страха не было, было сознание необходимости происходящего. Далее происходили странные вещи. Не буду никого убеждать в их реальности. Даже себя. Я ведь тоже не спала всю ночь и почти не ложилась две предыдущие. Но то, что я видела, не было сном, потому что одновременно просматривалась обстановка комнаты – так в кино или на фотографиях иногда совмещаются два различных изображения, накладываясь друг на друга.

Описать в точности эти видения я пыталась через несколько дней после похорон. Записала... И не могла потом найти тетрадь. Наверное, не надо, нельзя было восстанавливать все подробности. Сейчас в памяти осталось немного.

Кажется, мы с отцом проходили через какие-то препятствия, которые одновременно были стихиями. Смутно помнятся темные пласты земли, туманные водные глубины, завихрения огня... После какой-то невидимой, но отчетливо ощущаемой черты он пошел дальше, а я осталась и мгновенно перенеслась в обычную реальность. «Второй план» просто истаял и исчез. Я поняла, что отец умер, и встала со стула, чтобы пойти сообщить остальным, а навстречу мне бежала мама, проснувшаяся именно в этот момент.

Кстати, был в моей жизни еще один случай, когда я видела «второй план» поверх комнаты, в которой находилась. Вероятно, мне было лет пять. Я болела, как обычно, с высокой несбиваемой температурой и кошмарами. Кошмары мне в детстве часто снились не только во время болезней, но этот был особенным.

Казалось, я не спала. Во всяком случае, я видела комнату, тетушку, которая лежала на соседней кровати. Я разбудила ее и, как мне представлялось, вполне внятно с ней разговаривала. Но это все отмечалось «боковым зрением», а прямо передо мной, словно на экране, разворачивалось жуткое действие. Какое-то чудовище, исполинское, все огненное и непрестанно меняющееся очертания, подбрасывало и ловило девочку и мальчика. Я понимала, что девочка – это я, знала, что стоит чудовищу сделать какое-нибудь иное (неловко ошибочное или намеренно гибельное?) движение – и конец. Причем опасность, грозившая мальчику, страшила меня не менее. Мы словно были одним целым и не могли бы существовать друг без друга. Когда я будила тетю и пыталась ей растолковать происходящее, я больше всего боялась, что она «по-родственному» кинется спасать девочку, то есть меня, а его спасти не успеет, а одному ему, без меня, не продержаться. Но кошмар продолжался... Потом «изображение» все же померкло. До сих пор помню, что едва ли не самым жутким, но и притягивающим ощущением была невероятная яркость огненных красок на этом «экране». (Если учесть, что цветного телевизора тогда у нас еще не было, да и кино показывали черно-белое, то объяснить это явление впечатлениями, оставшимися в сознании от просмотра какого-то фильма нельзя).

Огненная стихия (других в том кошмаре не было) вспомнилась мне после ухода отца – по яркости и какому-то еще совсем необъяснимому ощущению...

Вероятно, тогда, в пять лет, мне было очень плохо. То, что температуру зашкалило за 40, мне потом сказали.

Но что за мальчик привиделся мне тогда? Девочка я была «домашняя», бабушкина, в детсад не ходила, на мальчишек внимания не обращала. Никакого реального прототипа быть не могло. Может, подсознательно я ищу его по сей день? Он должен был выжить, поскольку выжила я. А если нет, встреча будет... потом, после прохода сквозь все стихии – неведомо куда.

Слабое отражение этого замечательного колдоворота стихий можно уловить в старом мультфильме о Кентервильском привидении, когда маленькая Виржиния провожает прощенного призрака на покой. Но мультфильм был мной увиден позже.

Мда, что сказал бы профессионал-психиатр, прочитав это письмо? Но я пишу не для него, а для тебя. Почти обо всем этом мы говорили с тобой, но кусочки мозаики складываются при каждом обращении к памяти немного по-разному. Это как вариативность мира у Борхеса. Вдруг мне удастся сложить именно тот, необходимый вариант мозаики?

... Когда Снежная королева приказывала Каю сложить слово ВЕЧНОСТЬ, то вряд ли рассчитывала на возможность выполнения задания – она не изучала теорию вероятности.

Вдруг кусочки сложатся, и из тумана непроявленности выступит тот вариант, в котором я узнаю, кого вместе со мной раскачивало на огненных лапах чудовище? В том варианте все мои полумистические бредни окажутся самой естественно сложившейся картиной действительности. И в том мире мы будем все вместе: Хранитель, Провинциалка, Звездочет, мой отец, ты, я... И еще те, о которых я слабо догадываюсь, и те, о которых сейчас ничего не знаю.

ПИСЬМО 9

Помнишь ли ты того, кому я дам на этих страницах условное имя Фотокора? Думаю, помнишь, хотя это воспоминание вряд ли приятно для тебя. Он тоже из тех людей, которых я хотела бы видеть рядом там, в иной реальности.

Наше кратковременное с ним знакомство произошло в один из моих приездов в Петербург из Забайкалья. В тот год возвращались со службы в армии ровесники моей сестры, многим из этого поколения досталось побывать в Афгане или в отечественных «горячих точках». Мне довелось тогда много общаться с несколькими ребятами, вернувшимися – внешне – невредимыми, но внутренне опаленными этим огнем.

Фотокор был старше – десятилетие разницы. Он был ровесником мне, а не сестре. И он действительно был фотокорреспондентом, часто в тех же самых «горячих точках».

Знакомство началось с безумия. Сестра, рассказав о Фотокоре много невероятного, заявила, что его срочно нужно женить и утверждала, будто он просил посодествовать ему. При чем здесь я? Объяснение простое. По мнению сестры, ее незамужние приятельницы на роль невест Фотокора не годились, зато среди моих подруг подходящие кандидатуры были.

И тогда мы устроили вечеринку в твоей квартире, причем цель ее не скрывали. Ты легко согласилась, потому что тогда с интересом изучала людей и любила новые знакомства. Вначале все складывалось замечательно, но скоро появилась трещина, которую я не хотела замечать, сама увлекшись сложившейся ситуацией. К тому же мы все изрядно были «навеселе». Вечеринка закончилась тем, что ты резко выставила нас всех на улицу. Сестра была возмущена, а я чувствовала, что виновата перед тобой.

Правда, до сих пор не знаю, что было главной причиной твоего возмущения. Понравился ли тебе самый Фотокор, не обративший должного внимания на хозяйку дома? Или тебя возмутила излишняя фривольность разговоров? Уйти нам пришлось после моей неудачной шутки. Я не подумала, что ты, оказавшаяся в компании тебе слабо знакомой, не знала, чего от нас можно ожидать. Возможно, тебе было неприятно и то, что я во время этого приезда очень тянулась к сестре – больше чем к тебе, старой моей подруге, чью квартиру к тому же использовала... А еще я не учла, что ты уже начала изменять свой образ жизни, переходя от бурного широкого общения к затворничеству. Позже твоя квартира все больше будет напоминать келью.

Фотокоору понравилась я, и он не скрывал этого, забыв о своих матримониальных намерениях и зная, что я замужем. Разговаривать с ним было безумно интересно. Он многое видел «там», воспринимая все двойко: как свидетель-участник событий и как художник. Подробностей рассказывал мало – они запечатлелись на фотографиях. Очень жалею, что не была на выставке его работ, видела только 3-4 репродукции в газетах. А еще много лет хранила афишу выставки, которую он прислал мне в Забайкалье.

В тот вечер, вернее в белую ночь, мы оказались на улице, поймали машину и впятером уехали к знакомым моей сестры. Мы с Фотокоором оказались вдвоем на одном диване и после долгих разговоров и признаний заснули, словно брат с сестрой. И пока я не уехала вновь в свои дальние дали, мы встречались почти ежедневно. Переписки не сложилось, но через мою сестру долго узнавали новости друг о друге. В конце концов он действительно женился, уехал из Петербурга – и я перестала спрашивать о нем.

Почему вдруг сейчас я решила напомнить тебе обо всем этом? Может, как раз потому, что эта история проверяла на прочность наши отношения. Помирились мы с тобой только в письмах, когда я задним числом поняла, что вела себя как последняя эгоистка. Увлелась, хотя мое отношение к Фотокоору определить трудно. Очередной прорыв родственных душ друг к другу? Любви не было, дружбы не получилось. Жаль.

Сейчас я почти не помню, о чем мы говорили с ним, а ведь разговоров было много. Меня поражало, что он, видевший много страшного и не потерявший при этом эмоциональную чувствительность, хранил какую-то глубокую внутреннюю уравновешенность. Почему-то не пишется здесь слово «гармония», именно «уравновешенность». Возможно, гармония устанавливается сама, а тут чувствовалась трудная работа по преодолению разломов в себе, слитая с работой по преодолению разломов в окружающем мире. Мне рассказывали, что и фотографии у него именно такие: не столько передача страшных фактов, событий, сколько философский взгляд на происходящее. Не примиряющий, не ищущий компромиссов, но словно заставляющий посмотреть на все с каких-то особенных высот...

Возможно, я опять придумываю. Но то, что мне раскрылось в Фотокооре за время нашего недолгого, но яркого знакомства, позволяет думать о нем именно так... И все-таки, как странно, что я почти не видела его работ. И почему-то не верится, что удастся.

ПИСЬМО 10

Мы с тобой всегда сторонились тех увлечений, которые нравились многим нашим одноклассникам. Странные мы девочки были – книжные. Был в этом некоторый снобизм, но совершенно искренний, если так можно выразиться. У меня моя книжность сочеталась с кучей комплексов. (У тебя их было, как мне кажется, значительно меньше). Один из самых болезненных заключался в том, что я не умела танцевать и поэтому... презирала танцы. В душе это было совсем не так, но в нашем классе долго (до перехода в девятый) я была «слабым звеном», и девочки, делающие общественное

мнение, мне постоянно это внушали. Мальчишек я просто боялась, потому и они ко мне симпатий не испытывали. Кстати, именно ты начала меня из этого состояния выводить. Тебе общение с кем бы то ни было удавалось легко, а с 6-го класса мы с тобой сдружились.

Танцевать мы начали тогда же. У тебя дома. Просто двигались под музыку, не задумываясь, что при этом получается. Тогда я и начала понимать, что это совершенно удивительное наслаждение.

Потом несколько раз мне доводилось попадать в незнакомые компании, где я не могла отказаться от танцев просто чтобы не выделяться. И вдруг с удивлением услышала, что у меня есть свой стиль... Стиль, впрочем, заключался в незнании традиционных движений, но я в этом уже не признавалась. Так все и шло – совершенно дилетантски, но с возрастающим удовольствием.

Я люблю это особое состояние, когда перестаешь думать о том, как ты движешься. Это растворение в пространстве, потеря ощущения времени. Позже, в Забайкалье, мы с моей Певуньей могли танцевать не присаживаясь часами, забывая обо всем. Сейчас удается редко и недолго, но при первой возможности – встаю и импровизирую. Слава богу, комплексов в этом отношении нет. Дерзаю даже лезть на сцену, хотя и отдаю себе отчет, что никакой «школы» у меня нет.

Особая история – партнерство. Парные танцы не для меня. А жаль. Когда-то меня поразило, как красиво ты танцевала вальс на школьном вечере. Естественно, с партнером. В юности партнеров я просто стеснялась, не умея понять, что мальчишки стесняются еще больше. Но дело, наверное, не только в этих полудетских комплексах. Глубоко во мне сидит ощущение, что движение под музыку – это не просто милое времяпрепровождение, а магический ритуал. Из каких времен вьелось в кровь это представление?

И мне всегда был близок не заученный рисунок известного танца, а импровизированный ход танца-рассказа, танца-характера, танца-эмоции. Так, вероятно, священнодействовали у костров первобытные охотники. Поэтому моими партнерами могли быть только те, кому это понятно. Как правило, это почему-то были женщины. Моя сестра, потом ты, а в Забайкалье Певунья и немного – Провинциалка. В редких случаях – если партнер-мужчина был ко мне равнодушен, тоже могло что-то получаться. Так и должно быть – только когда есть о чем сказать друг другу, такой танец-разговор возможен... И все равно – даже в парном танце я предпочитаю свободу – не в объятиях, а на расстоянии, с редкими прикосновениями. Наверное, это тоже психологический тест на выявление определенных черт характера.

Недавно, между прочим, вычитала несколько любопытных фраз об искусстве хореографии. Говорят, женщина по-настоящему хорошо танцует, если полностью доверяет партнеру, уверена в нем. Вот уж этого я никогда не могу себе позволить – ни в танце, ни в жизни! Предпочитаю твердо стоять на ногах сама, а то ведь и уронить могут... Этого чувства уже не исправишь.

Люблю читать о танцовщицах. При всей моей любви к поэзии, живописи, музыке, это искусство как-то по особенному мне близко. Без музыки танца нет? Бывали случаи, когда я импровизировала без нее. Неверное, музыка звучит

внутри меня, или наоборот, рождается из танца. Люблю эти моменты. Улетаешь неведомо куда, представляешь себя невесть кем. Нет, неточно. Здесь нет уже определенной воли представления – отдаешься потоку, который несет куда-то, и там, в глубине подсознания, начинает брезжить какая-то иная реальность...

Смешно... В общем, шаман камлающий... Дервиш танцующий... Грубовато сравненьице, но родственность явная.

Странное письмо получилось. С чего бы вдруг – о танцах? Надо бы взять себя за шкурку и ввести в жизнь ежедневную разминку – хоть полчаса танцев вперемешку с элементами аэробики. Ты меня одобряешь? Говоришь, что слабо? Ты права, на ежедневное точно меня не хватит. И времени не хватит. Но хотелось бы.

Танец – полет. И в слове «аэробика» звучит, пленяя, это «аэро».

Во сне иногда кажется, что умею летать. Но с танцами сходства мало. Танцевать легко, а полеты во сне для меня – тяжкий труд. С чем сравнить? Когда плывешь по воде, прилагаешь усилия, чтобы держаться на поверхности. Воздух – среда еще более разреженная и усилий требуется больше. Тяжело летать, особенно без привычки и постоянных тренировок. Но именно потому, что я во сне чувствую все эти трудности, возникает уверенность: летать можно. Это не фантастика, а вполне реальные усилия, отчасти физические, отчасти... какие-то еще внутренние. А когда отдаешься танцу, полет совсем близок. Только тончайшая грань отделяет одно от другого. Что мешает переступить ее? Боязнь потерять легкость, оторвавшись от привычной земли? Просто – боязнь. Страх сковывает порывы, делает возможное невозможным.

А может, Булгаков, говоря о трусости как о худшем из пороков, имел в виду и это тоже? Маргарита смогла летать, потеряв страх – пусть даже потеряла она его наполовину от отчаяния. Летающие люди и животные Шагала... У него летают, в основном, влюбленные. Любовь – это страх и его преодоление. И тоже полет.

Еще одна попытка приблизиться к состоянию полета – это плавание. Зависаешь в непривычной среде и понимаешь, что она держит, что не упадешь на дно, а при этом еще можешь и перемещаться. Но о плавании, о воде я еще напишу тебе. Это особенная для меня тема, хотя, казалось бы, по всем гороскопам я к воде имею очень малое отношение. Овен – знак огненный. Разве что по контрасту. Вода заливают огонь – чтобы не воспламенялся чересчур и не ко времени...

Иногда при хорошем настроении и свежем ветре чувство полета возникает от самой обыкновенной быстрой ходьбы по улицам – тоже почти отрываешься, незаметно и органично переходишь на какое-то время на бег...

Но все это обязательно происходит только при особом внутреннем состоянии – иначе ощущения совершенно не те, хотя от прогулки можно все же получать порядочное удовольствие. Так что Марк Шагал прав. И не случайно в его доме в Витебске есть дверь на уровне третьего (кажется) этажа, выходящая просто на плоскость стены, но закрытая на замок снаружи... Наверное, он просто улетел, танцуя на прогулку, танцуя над крышами, и может вернуться в любой момент...

ПИСЬМО 11

Ночное купание – акт философский и творческий. Ночи белые почти, но уже июль – канун Ивана Купалы. Вот-вот иссякнет этот зыбкий свет, заменится тьмой с блестящими звезд, но до августа еще далеко...

Подходишь к озеру, в котором отражается мир – светлеющее небо, темнеющие кусты. С каждым шагом отражение движется и кажется, что можно найти точку, с которой увидишь в этом водяном зеркале все города, все страны и континенты.

Но вместо них видишь себя, свои руки, свое склоненное над мировым пространством и загораживающее его лицо.

Медленно, чтобы не нарушить очарования, снимаешь одежду иходишь в воду. Она такая теплая, что соприкосновение неощутимо. Ты простоходишь туда, где отражается мир, ты постепенно погружаешься, сливаясь с собственным отражением, ты плывешь или медленно пролетаешь в окружении темных отражений прибрежных деревьев по отражению бледно светящегося неба. Какие города и веси проплывают под тобой в глубине, скрытые от твоего взгляда твоим же собственным телом?

Но вот ты поворачиваешь обратно и неспешно выходишь на берег, вырастая из своего отражения в озере, все больше отдаляясь от него.

Стоишь и с сожалением смотришь назад, туда, где с гладкой поверхности воды грустно улыбается тебе твой образ. Или это и есть ты?

Кто знает, не поменялось ли все местами во время заплыва? Может, на берегу стоит твое отражение, а ты теперь там, в запрокинутой навстречу бледному небу отраженной действительности?

Впрочем, это уже неважно.

Тебя наполняет странное ощущение великой утраты и великого обновления. Ты сноваходишь к берегу и смотришь в воду. Повторить опыт? Но почему-то чувствуешь – нельзя. И не решаешься послушаться.

Ночь накануне Ивана Купалы.

Ночное купание.

Неведомый обряд, в котором ты только что участвовала, не против, но помимо своей воли. О значении его и о последствиях ты можешь только гадать. Все уже произошло. Иди спать и не заглядывай больше на свое отражение в воде

Миф о Нарциссе ложен. Он не был влюблен в себя. Он тоже хотел разгадать тайну, вернулся, наклонился – и упал в поток, слившись со своим отражением навсегда. Что осталось? Лишь голос. И Эхо – отражение голоса в гулком воздухе белой ночи, нимфа, придумавшая весь этот миф, искажая истину. Может, потому и нет ему отклика?

ПИСЬМО 12

Ты почти перестала мне сниться. Помнишь, как мы любили пересказывать друг другу самые необычные свои сны, как пытались толковать их? Ты обычно сверялась с сонниками, я же никогда особо не доверяла этой книжной

премудрости. Возмушало: почему видеть во сне лошадь – значит быть обманутой? Чуть какая. Лошадь мне слишком симпатична, чтобы быть плохим знаком, а уж с обманом и вовсе не ассоциируется. Мне всегда казалось, что здесь срабатывает скорее обратная связь. Если человек верит традиционному толкованию снов и знает о нем, то он может увидеть во сне что-то соответствующее. Дело в личном предчувствии, в некоем даре провидения, который всем нам, пусть в слабой степени, присущ. А далее он может облекаться в заданные книгой формы. Если у меня лошадь с обманом не ассоциируется, то и увижу во сне я ее не по этому, а по какому-нибудь другому поводу.

Иногда ты прямо просила меня растолковать какой-нибудь сон, я осторожно начинала импровизировать, увлеклась, меня «несло», как Остапа Бендера... Тебе нравились мои ответы, а иногда они даже подтверждались. Может, мне стоило серьезнее отнестись к этим зачаткам пророчества?

На днях ты все-таки приснилась мне. Я не записала сон сразу – и подробности уже ускользнули. Помню лишь главное: мы с тобой встретились – и, казалось, прошлое вернулось, мы пробились друг к другу. Это было замечательно! Но в какой-то момент все вновь поломалось: проявилась твоя подозрительность, недоверие, ты снова внутренне отталкивала меня, не подпускала к себе. Этим все и закончилось. Осталось сожаление и ощущение обиды, вернее, обмана. (Вот где надо было увидеть лошадь, но ее не было!) Обиды не на тебя, а... «на судьбу» будет звучать слишком высокопарно. Наверное, «на ситуацию», которая, изменившись раз, не может или не хочет вернуться в прежнюю позицию.

Я даже понимаю, за что мне это досталось. А вот тебе? Правильнее задавать вопрос не «за что», а «для чего». Может, мы просто прошли отмеренный нам отрезок совместного пути? Ведь это было, мы давно обе ощущали, что в наших взаимоотношениях что-то «пробуксовывает». Не удивительно – ведь пути мы избрали разные. Вот только почему надо было так резко прерывать всякое наше общение? Неужели наши встречи, и без того ставшие редкими, чему-то мешали?

А впрочем, что мы знаем о законах, по которым работает мир, и о нашей собственной роли в движении этого механизма... Возможно, все случилось (точнее, разлучилось) правильно.

Той же ночью мне снилось, что я летаю. Вполне традиционный для меня сон – с ощущением усилий, необходимых для того, чтобы перемещаться по воздуху. Только был этот сон почему-то грустным. Усилия затрачены, а обычной радости или хотя бы удовлетворения от полета не было. И такая печальная мысль: ну да, я могу летать. А к чему? То же впечатление обмана, как и после того, как видела во сне тебя. Та же почти детская обида: подарили игрушку, а она оказалась сломанной... И уже растет готовность смириться с ее отсутствием и с тем, что радость не состоялась.

Как там у Горького? Уж говорит: «Я видел небо»... А по сути небо оказывается ненужным для практичного Ужа и губительным для романтика Сокола. Соколу, кстати, до неба тоже нет никакого дела: ему битву подавай,

врага окровавленного, а небо – так только, декорация. Может, потому он в конце и не взлетает, а падает. Странная вещица у «буревестника революции» получилась. Когда «рожденный ползать летать не может» – это примитивно и понятно, тут и трагедии нет никакой. А вот когда рожденный летать, имеющий этот дар бесценный, в небо стремится только для того, чтобы заклевать кого-то – тут поневоле задумаешься... Вот где самое страшное. А реквием в исполнении морских волн – этого подсоленного греческого хора – лишь пытается смазать недоумение.

Не о себе ли писал Алексей Максимович, раздвоив свое «я» на двух столь непохожих героев? И оба – мимо неба... Грустно.

Многие люди любят поговорить о снах, но с тобой мы это делали более глубоко и серьезно, чем обычно бывает. Потому все мои мысли и попытки запомнить и расшифровать какой-нибудь сон всегда невольно связываются с тобой.

Еще один сон был описан только в старом письме к тебе, давно утраченном. Станный был сон. Меня привели в большое помещение, очень светлое, со стеклянными стенами. Ощущение круглости, точнее, шаровидности пространства. Красивые девушки в длинных белых одеждах, мне дают понять, что я одна из них. Наша задача – встречать проходящих, вести незатейливую беседу и производить отбор. По нашим «данным» всех пришедших потом провожают в разные двери. Постепенно возникает понимание, что мы работаем с душами умерших, решаем их дальнейшую судьбу. Кто мы?..

Каждый раз, приезжая в этот дом, я заранее ждала ночей, и ожидания мои не были обмануты. К сожалению, тот дом не стал нашим. Поселились мы в другом. Сны не исчезли совсем, но стали менее отчетливыми, более путанными. И все же что-то брезжит в них.

ПИСЬМО 13

Здравствуй... Или еще раз прощай. Это осень разрывов. Недавно снова столкнулась с тобой на улице. Все по-прежнему. Мы «не видим» друг друга.

Тоскливо. Чувство оставленности всеми, на которое отвечаю тем, что сама отстраняюсь от всего, ухожу в свой внутренний скит. Видя – не вижу. К телефону рука не поднимается. Не хочется никому дать о себе знать. Натягиваются болезненно нитки всех связей, звенят на грани разрыва. Не пишется, или сама за перо не берусь, выдерживая своеобразный строгий пост...

На днях мне задали геометрическую задачку. Девять точек (квадрат три на три) надо соединить четырьмя отрезками, не отрывая руки. Принцип загадала сразу, но до результата додумалась нескоро. При этом сложилось нечто вроде афоризма: «Выйти за рамки общепринятых представлений несложно, труднее при этом прийти туда, куда надо». Кажется, и это все о том же.

Вопрос: Боже, почему мы все одиноки? – кощунство. Сам Творец одинок. Отчетливо об этом нашла в Коране: он Тот, у кого нет сотоварищей.. Но он на то и Творец, чтобы создать для себя кого-то «по образу и духу своему». Человека. Или планету. Или целый космос. Любовь удваивает. Создатель, Творец уже может говорить о своем втором образе, «второй половине», альтер-эго.

Вот такое умножение получается. Целое вдруг ощущает себя долей – половиной, без которой целостным ему уже не быть. Вечное ощущение неполноты, разлома, разреза, хотя это, в сущности, просто откат на прежние позиции. Но прежнего уже нет. Жаль, амебы не хотят с нами разговаривать – у них это нагляднее...

А сколько таких удвоений и разломов в каждой отдельной жизни? Чем больше творишь, умножая – тем больше теряешь, дробишься все больше.

Последняя иллюзия – любовь к жизни. Когда оторвется и она – не останется ничего. Все вывернется наизнанку и пойдет сначала. Но прежнего уже не будет.

Возможно ли не творить иллюзий и тем самым сохранять себя? Или это и называется самодостаточностью? Божественной самодостаточностью... Но какая тоска!

Не думаю, чтобы тебе сейчас было легко. Ты отгородилась почти от всех и, насколько мне известно от немногочисленных общих знакомых, легче разговариваешь с теми, кто не близок. Поверхностное общение для тебя доступнее, чем погружение. Почему? Какие внутренние раны затрагиваются при попытках подойти к тебе ближе? Или тебе этого просто не нужно? Нет, не верю в твою самодостаточность, да и не думаю, что она у людей существует. Мы не боги.

ПИСЬМО 14

Наверное, я скоро закончу эти странные письма к тебе. Почти год прошел с того момента, когда я написала первое. Много случилось в моей жизни и, хотелось бы верить, что в твоей тоже. Ведь не может быть такого, что ты застыла в каком-то одном коматозно остановившемся мгновении. Пусть в нашем с тобой общем мире ничего не меняется, но ведь у тебя есть другие грани, другие миры, в которых, возможно, все обстоит не так плохо. Но на автобусной остановке ты видишь теперь не меня, а фантом, созданный твоим сознанием. Неужели так и будет всегда?

За это время мне удалось немного разобраться в своих фантомах, которым я дала в этих письмах звучные имена. Стало легче, хотя имеется привкус странного сожаления по поводу нового моего понимания. И все-таки есть надежда, что они останутся со мной – в моем сознании, в совместно созданных нами мирах.

Я все хожу кругами и не приближаюсь к главному. Опишу недавний

случай. На днях мне позвонил Звездочет – пригласил к нашему общему знакомому. Нас было четверо, потом пришел пятый. Вот о нем и речь. Хозяин дома (ему, кудлатому, хлопотливому, чуть потугостороннему, подойдет имя Домового) перед приходом нового гостя странно засуетился, начал что-то обнять о последствиях контузии, о некоторой неадекватности...

Напрасно он так беспокоился. Вошел человек добрый, талантливый, удивительно пластичный и открытый. Элементы какой-то японской борьбы, журавлик, сложенный им из того, названия чего Гость так и не вспомнил (да и была ли это бумага?) Сбивчивые его рассказы о меде Алтая, более интересные, чем попытки Домового уточнить, как отличить качественный мед от разбавленного. Гость был на высоте, чего не скажешь о нас. Несколько лет назад его рубанули топором по виску. Как выжил – тайна. Как восстановился до теперешнего состояния – таинство еще большее. Словно ребенок, он постигает азы. Домовой весь лучился любовью к нему, беспокойством за него. Они дружили задолго до того страшного удара – и дружба уцелела, несмотря ни на что.

Знаешь, я в тот момент чуть-чуть позавидовала Домовому. Не так уж неадекватен его друг. Уцелела душа, уцелело тепло взаимоотношений... Гость не помнит, что было до удара, и часто забывает самые простые слова... Мне показалось это наименьшей потерей. Домовой может обнять друга, шутливо побороться с ним (это даже не борьба, а пластический танец), напоить чаем. А я не могу подойти к тебе и поздороваться, не вызвав страшного раздражения и подозрительности.

Когда-то ты, увлеченная известным и мне учением, говорила о том, что если кармические обязательства двух людей по отношению друг к другу исчерпываются, то разрыв неизбежен. Не надо печалиться по поводу этой утраты, надо идти дальше. Мне это и тогда не понравилось. А сейчас добавлю, что, на мой взгляд, никакие связи не рвутся, а лишь изменяются. Вселенная – организм со сложнейшими переплетениями, которые не разрывает даже смерть. Потому что ее нет. Слишком много связей – они не отпускают. Возможно, я и не права. Логично считать, что если есть связи – должны быть и разрывы. Но мне не нравится такая логика. Ведь тогда все обречены на одиночество.

Но что-то ведь держит нас над этой бездной! Только как мало мы в этом понимаем...

ПИСЬМО 16

Я пишу тебе все реже. Пора заканчивать. Много сказано, а остальное, вероятно, не имеет смысла.

Снова видела тебя на улице. Хотелось подойти, заговорить, как ни в чем не бывало, но ты, казалось, запретила мне это. Я ведь замечаю: стоит тебе увидеть меня – на твоём лице появляется странное, неприятно напряженное выражение. Может, это мои фантазии. Может, это не у тебя, а у меня помутилось в голове, и я превратно оцениваю происходящее. Все может быть.

Что-то остановилось, замерло в мире с тех пор, как мы потеряли друг друга. Параллельные миры – не выдумка досужих фантастов, а самая настоящая обыденность. Каждый творит свой мир, видя окружающее под своим уникальным углом зрения.

Близко принимая к своей душе другого человека, мы сотворяем еще один мир – пригодный только для двоих. Эти миры (у каждого их несколько, ведь близкими для одного человека могут быть несколько людей) существуют независимо один от другого. И лучше бы они не соприкасались никогда – ведь в этих случаях возникает масса осложнений. Самое простое имя главного осложнения – Ревность. И это вовсе не обязательно случай примитивного «любовного треугольника». Но всегда ревность связана с чувством собственности и нежеланием признавать право на существование других параллельных миров. Из-за нее трудно тем, кто, как я, способен к многогранным общением. Многогранность здесь упоминаю отнюдь не со знаком плюс, это просто факт, свойство психики. Не заслуга, возможно, а отклонение, усложняющее жизнь. Я разная с разными людьми, хотя остаюсь собой, и я знаю, что каждый человек поворачивается к разным людям разными своими гранями. Только одни осознают это, другие – нет.

Есть мой особый мир с сестрой, особый – с мужем, особый – с Хранителем. Совсем иной, очень странный, как бы не укладывающийся в сегодняшнее время – со Звездочетом. Некоторые миры быстро вспыхивают и быстро гаснут, другие на удивление устойчивы. Таков мой мир с отцом – его не разрушает даже смерть. Впрочем, что такое смерть? Нечто вроде длительной командировки в неизвестное далеко...

Но впервые я столкнулась с ситуацией, которая возникла между мной и тобой. Наш мир, так упорно, сложно и интересно создаваемый нами в течение многих лет, не исчез. Такое не исчезает. Но он странным образом застыл, замер, оледенел. Я смотрю на него словно через толстое, подернутое пылью стекло и не знаю, что с ним делать дальше. Неужели теперь это лишь музейный экспонат? Горько так думать. Да и музейный работник из меня никудышный: не люблю хранить письма и вещи. Они важны лишь в то мгновение, когда живут и несут в себе новую информацию, а потом лежат мертвым грузом где-нибудь в саркофаге шкафа. Потому я сожгла наши старые письма. Они отслужили свое. Я не хочу, чтобы наш с тобой мир ушел в архив. Мне не хватает тебя. Новые письма – попытка что-то сдвинуть с мертвой точки, но попытка заведомо тщетная. Прости.

Когда-нибудь исчезнут преграды, и все параллельные миры смогут объединиться – каждый из нас предстанет сияющим многогранником, отражающим бесчисленные лучи всеми своими сторонами.

Может, это и будет пресловутое «царство Света»? Это будет единый храм, сохраняющий, хранящий всех вместе и каждого в отдельности. Вернее, отдельности уже не будет. Именно там – все живы и нет ни расставаний, ни расстояний. Именно там возможен полет более легкий, чем слабые попытки в моих снах. Именно там нечего скрывать, нечего стыдиться. И только там мы все встретимся по-настоящему в единой соборности, которую сейчас мне трудно понять. Но так должно быть.

Меньшиков Владимир Петрович

ПОЛИТЗЭК



Владимир. Меньшиков родился в д. Кеврола Пинежского района Архангельской области 8 сентября 1953 года. После окончания средней школы в г. Волхове работал в лесоустроительной экспедиции, служил в СА. Закончил Ленинградский пединститут имени Герцена, факультет истории. Живет и работает в Петербурге. Член СП России с 1993 года.

Автор поэтических книг «Оккультная оккупация», «Звероисповедание», «Гармонь снопа», «Стихотворения», «ГОЭЛРО горла», «В начале тысячелетия», «Русский простор», «Прорыв», «Приладожье», «Труд и пруд». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Аврора» и др., в газетах «Завтра», «Литературная Россия»... Награжден юбилейной Есенинской медалью. Лауреат литературных премий России (1997) и (2002).



ПОЛИТЗЭК

1

Был самый конец ноября. Небо затемнилось, земля затвердела, готовился выпасть снег. С Ладоги и с Балтики в сторону пролетарского городка Волхов дули сильные ветра. Белые дневные тени с большими крыльями мощно и почти незримо носились по улицам, задевая со свистом жилые и производственные здания. Повсюду тревожно трепыхались плакаты и разноцветные афиши.

В этот субботний полдень часть горожан, несмотря на плохую погоду, все же прогуливалась, другие толкались и ворчали в небольших хрущевских квартирах, некоторые напивались и нажирались до отвала, но по большому счету всем было до фонаря (до ленинской лампочки, до Волховской ГЭС), что в дальнейшем произойдет с молодым парнем, который в этот злополучный час громко и антибрежневски произнес пьяную протестную речь с пафосно-партийной, продольно вытянутой красной трибуны на главной городской площади возле внушительного Дома культуры Волховского алюминиевого завода.

Владимира, двадцати девятилетнего, среднерослого парня приятной и отталкивающей, если напется, внешности, одетого совершенно обыденно в коричневые расклешенные брюки и черную теплую куртку, быстренько скрутили и, молодцово спустив с пунцовой трибуны, затолкали в синий милицейский «воронок» и с ветерком отвезли в выгрезвитель. Только утром доставили в недавно выстроенное здание райотдела милиции и уже там препроводили в закрытое безоконное помещение. Клиент понял, что это не келья затворничества, а застенки, куда попал – за творчество. Но еще не камера, а подобие кабинетика, где своя, жестокая эстетика.

Восьмизвездный коп (капитан) по фамилии Копейкин, сделав знаки, чтобы сержанты освободили от наручников и перестали наигранно ухмыляться, подойдя к Владимиру, гаркнул:

– Обнаглели, прямо на площади выступают!

У разжиревшего офицера лоснились и лысина, и широкое лицо, одновременно нервное и невозмутимое. Малость запинаясь, спросил:

– Политический, значит? Политкаторжанин?

Володя вдруг понял, что они все его ненавидят и не желают видеть. Даже сержанты, одетые в толстые синие шинели, защищающие тертые сердца от всяких треволнений, казалось, желают только одного: чтобы это все поскорее закончилось, даже методом крутого физического воздействия.

Капитан заметно беспокоился, наверное, появление такого специфического задержанного каким-то способом влияло на получение премий, и у него во время самого предварительного допроса что-то все время происходило с дикцией, словно находился на грани нервного срыва.

Самым страшным и непостижимым в данном месте, то есть в ментовском кабинете, являлось пребывание в нем деревянного красно-коричневого, надмогильного креста, стоявшего в ближнем углу. Задержанный пытался осмыслить: «Зачем здесь крест, для чего? Может, его концы обозначают лопасти великого и беспощадного колеса истории, которое всё и всех ломает, перемелет в фарш? Фарс?..». На черной тумбочке лежало несколько продолговатых, белых мелков. Парень предположил: «Какой урок возле доски мне собрались преподать? Это же мелки для написания мелкой, дешевой мелодрамы...».

Владимир старался скорее прийти в себя. Вполне и без всякой лирики осознал, что случилось не то что неприятное, но непоправимое. Ощущения оказались настолько гнетущими, что парень даже издал стон от беспомощности повлиять на происходящее. Сидя, ухватился перепачканными руками за стол, наклонил над ним головушку окаянную и ударил ею, её толоконным лбом об покрытую черным дерматином крышку. Когда потирал ладонью ушибленное место, вновь вспомнил недавние события...

Где-то дней через пятнадцать после смерти Брежнева он сочинил то ли «Реквием», то ли «Прощальный концерт». Такая вот поэмка получилась (печатается в редакции 1991 года):

ТРАУР (11. 11. 11)

1

Десятого, в день милиции,
Во все уголки страны
Транслировать по традиции
Хороший концерт должны.

Кордебалет-девица
Ногами разгонит сон.
Отчаянная певица
Потребует микрофон.

Пыхтя, на кинокартину
Концерт поменяли вдруг.
Предположить причину
Пытался семейный круг.

Назавтра, в часы работы,
Когда эта весть внеслась,
Подумалось, что мент-роты
В свой праздник
забрали власть.

Все были бы только рады
Услышать другой концерт,
Мол, Щелоков гнал наряды
На Кремль и на телецентр.

Но как дирижер он слабый,
Скорее конферансье.
Захочет еще, осклабясь,
Чтоб рукоплескали все.

Милиции полномвластье
Единственный выход что ль
К порядку в стране и счастью,
О чем измечталась голь?

Споет еще Пугачева.
Устроят такой концерт!
Оглухнет страна от рева
Ни в чем не повинных жертв.

В «одиннадцать» сообщили,
 Что Брежнев скончался сам,
 Что за ноги не стащили
 К полковничьим сапогам.

Идею «руки жестокой»
 С милицией прокрутил.
 Сержантик надменноокий
 Ночь с рацией прокутил.

Но уши вождю не режет
 Ментовский махровый мат.
 Посмертно докажет Брежнев,
 Что он-то был Демократ.

Сержанты Россию кроют,
 Неверье в любом словце...
 Милиции дал, устроил
 Прощальный, лихой концерт.

2

Крамольная стрижка
 «под польку»,
 Идейней куда – «под бритву».
 Ищите, полковники, Тольку,
 Сбежал из дурдома в Москву.

На нем кочегара фуфайка,
 И вписана в траурный цвет
 Торчащая красная майка –
 Как он благоверно одет!

Подлунно проник в гробовую,
 Там в гроб положил папирос,
 Батонов, рыбешку пивную, –
 Взвалил на хребет и понес.

Дорогой к далекой столице
 Слезами утраты истек.
 Сквозь щели голодные птицы
 Склевали дорожный паек.

Ну ладно, глаза у рыбешек,
 Но чайкам зачем «Беломор»?
 При виде оставшихся крошек
 Идеей наполнился взор.

Склевали б глаза через щели,
 Когда бы в гробу нес вождя...
 А вдруг
 пред могилой б прозрели? –
 Закрыли бы пальцы дождя.

Явившись в столицу, не вяло
 Отметил для тысяч умов,
 Что Брежнев построил немало
 В правленье свое дурдомов!

Вещал благородный и слезный
 От имени всех дураков,
 Но слышал
 народ невозможный
 Издевку и звоны оков.

Прощался не по бумажке,
 Поскольку читать не умел.
 И вышла совсем не промашка,
 Сочли гениальным пробел.

И люди его захотели
 За устную русскую речь,
 За мученический нательник
 Вождем над собой привлечь!

3

Красная площадь. Народу!
 Негде упасть звезде.
 – Вон, показались вроде.
 – Голову ниже, дед.

Снял бы Блаженный шапку,
 Чтобы, как все, скорбеть,
 Взял бы ее в охапку
 Не под рубли и медь.

Но у собора главки:
 Что ли снимать главу? –
 Это ж толчок для давки
 С кровью в реку Москву.

Иконопись соборов,
 Чуда не предскажи.
 Минин, кончай поборы.
 Умер, так пусть лежит.

Нет, не славянский почерк
В том, как венки несут,
Словно плывет лесочек,
Глазки зырк-зырк в лесу.

Будто бы ждуг французский
С модным тряпьем обоз.
Умер генсек русский,
Так что побольше слез.

Вслед за леском венковым
Шел генералитет,
Нес ордена знакомо.
Только каких и нет.

Вот бы еще и Звезды
С башен Кремля несли.
В спертый российский воздух
Надо разрядку «Пли!».

Дым испуская трупный,
Шел бронетранспортер.
Кашлял – распеться трудно –
Башен кремлевских хор.

Гроб на простом лафете,
Следом – с поддержкой – род.
Многим расплата светит,
Многих опала ждет.

Далее, как по «взлетке» –
Видные старики.
Марш замыкали четко
Черные моряки.

Гроб перед мавзолеем.
Митинг под вздох открыт.
Слушает площадь Ленин
Через святой гранит.

4

Я в телевизор впился,
Сидя среди больных.
Шизиком всполошился,
В кровь деспотий – бултых.

Мысли в башку лезли
С каждой минутой злей:
Если сейчас, если
Выкрикнут – «В мавзолее!»?

Вспомнился рев «Осанна!»,
Что перешел в «Расни!».
Будет Варрава с нами!
Ленин как там? Не сник?

Вспомнилась мне Ходынка,
Рвущая толпа,
Кровь на моих ботинках,
Дальше – я сам упал...

Вспомнился беглый Толька
И Николай Второй.
Не в Мавзолее только, –
Маялся я мурой.

Тут показали Кастро
И Ярузельского.
Страсти в момент угасли.
С ними свяжись. Ого!

Локомотивы взвыли,
И у большой стены
Лихо его зарыли
Лучших кладбищ сыны.



«Траур». Траулер. Владимира чуть ли не на тросе оттрелевали с площади в камеру. Кончились его «трали-вали»...

Шероховатые стены камеры были прокопчены, в некоторых местах (ближе к зарешеченному окошку) покрылись изморозью. Тусклый свет. У желтой лампочки своя камера – над зеленой дверью. Лампочка тоже за решеткой, и она – ээк. На низком топчане умудрилось разместиться девять человек. Не повернуться, не разбежаться, чтобы удариться головой о «шубу», не закричать...

Из Новой Ладogi, Паші и Бережков,
Из дальних сел, поселков, деревушек
Везут сюда юнцов и мужиков,
И думают, что мертвы наши души.

Какая чушь! Когда на топчанах
Лежим при освещенье дохлом, тусклом,
Нам грезятся луга и стаи птах,
И синяя река с широким руслом.

Здесь, в КПЗ, средь дыма, тесноты
При запахах «толчка» или параша,
И распускаются, как чудные цветы,
(Или зачуханные) души наши.

Все! Влипли! За решеткой – природа, девушки. Все лучшее, чем не дорожили – уже там, за стенами. А здесь – узилище.

В КПЗ Владимир был доставлен в траурном одеянии: черная куртка, темные брюки, черная шапка. Лицо тоже темное – с перепоя. Ээки освободили краешек топчана, подсел, стал докладывать:

- На площади выступал. С трибуны речь толкнул. Политика.
- Пьяный что ли был?
- А как будто трезвый. Сейчас такой отходняк...

Рассказал, посмеялись. Отрубился. А пробудившись, вспомнил главные события последнего полугодия и особенно последних трех дней. Проведя в марте три дня в наркологическом отделении, почти не пил три месяца. Будучи трезвым после работы приходил домой и сразу садился писать большую повесть под названием «Дом». Исписал около ста листов. Извел себя предельно. Стал снова попивать... 27 ноября отец с матерью уехали в Ленинград к младшим сыновьям. Те обзавелись семьями, жили основательно. У Владимира накопилось денежек, и он позволил себе расслабиться. Позвонил школьному другу Фуфанову, направились в гастроном. Одну бутылку раздавили прямо у магазина. Владимир воспарил!.. По пьянке реализовал идею: купил в синем киоске три вафельных стаканчика с мороженым и поставил их, как толстые и короткие свечи под иконой, под огромным портретом Ленина, прикрепленного к стене Дома культуры. Чтобы народ понял смысл метафоры, он чиркал спички, подносил огоньки к свечам-мороженому, чтобы они, сладкие, в знак горькой памяти загорелись и расплавились, чтобы учение Ленина славилось... Утром проснулся в квартире

– всё перевернуто, разбиты стекла книжного шкафа (вот какой была раньше тяга к чтению), а у самого – синяк под правым глазом. Срочно вызвал Фуфана. Сначала пили пиво, в 11 часов купили вина. В полдень Фуфа куда-то исчез из квартиры. Вован остался сидеть у разбитого корыта – книжного шкафа. Плохо ему сделалось: «Гад, всего неделю сумел продержаться. Дома погром учинил, синяк откуда-то. Значит, опять извиняться перед родителями и начальством. Довольно. Сколько можно».

Оделся, засунул в карман листы с рукописью «Траура» и пошел на площадь. Решение было твердым: завести народ, разнести вдребезги брежневскую политику, читая поэмку. Ориентир был взят четкий – красная трибуна. Кто-то окликнул по дороге, Володя не отозвался, шел прямо, уверенно. От квартиры до трибуны было метров триста. Мысли kloкотали в осмелевшем и охмелевшем от вина, то есть потерявшем глубину понимания, мозгу: «Хватит! Не увидите меня больше в униженном состоянии. Я выше вас, выше. И сейчас докажу. Разве из вас может кто подняться на трибуну в центре города и сказать всю правду?»

Был выходной: суббота. Народа на площади разгуливало немало. Не доставало только талантливого организатора, эдакого пургообразователя, который умел бы гнать, нести пургу, эдакого человека-инструктора из парткома-пургкома...

Владимир поднялся на трибуну и обрушился на горожан и на вождей с бранью. Не помнил, что говорил, но то, что матюгался – помнил. Люди подходили ближе, слушали. Затем читал «Траур».

Не ведал, сколько прошло времени с начала выступления, но вдруг к трибуне со стороны завода подъехала милицейская машина. Володя увидел, что какой-то высокий пожилой мужчина в синем показывал на него пальцем. Вдруг рядом появился Фуфанов, просил у милиционеров, чтобы дружка не забирали. Но задержали обоих. Руки не крутили, дали спокойно самим залезть в фургон. На прощание Владимир помахал народу рукой.

Отвезли в медвытрезвитель, в котором вытрезвляли совсем не мёдом. При входе в это заведение он выхватил из кармана измятую рукопись «Траура» и стал ее уничтожать. Хотел порвать на клочки, но вмешались, и сумел изодрать только на куски. Уже вечером разбудили, подвели к зеленому столу, на котором из кусков, как из островов в море, было собрано подобие рукописи-архипелага (ГУЛАГ). Пожилой капитан спросил:

– Ну-ка рассказывай, что ты тут про милицию настроил?

– Что здесь не ясно? Умер он в День милиции. Испортил вам праздник. Не погуляли вы, не попили.

Капитан продолжал копать, из его рта капало:

– Что тут за шесть единиц? 111111

– Тоже все просто. Сообщили об его смерти в 11 часов, 11 числа, 11 месяца. Много каких-то знаков, сочетаний. Так и поэма написалась. Не было бы Дня милиции, вернее, не на это бы число он попадал, не было бы и поэмы. Так что и вы виноваты и причастны к этой мистике... Бейте скорее. Я спать хочу.

Бить не били, спать проводили. Следующим утром Владимира из медвытрезвителя отвезли в КПЗ. Эки в «предварилровке» над ним посмеивались, но как-то сдержанно: «А где подельник?»

– Выпустили. А, может, под трибуну загнали. Под трибунал...

– Смотри, посадят под нее года на два, будешь выть.

Про поэму «Граур» Володя им, конечно, не говорил. Рассказал, что работал в психинтернате мастером. Ему тут же подсказали:

– Говори, что там и свихнулся. Как следак вызовет, на это и папирай.

Было смешно и жутко. В камеру загнали сельского мужика, который сбросил любовницу то ли с электрички, то ли с башни элеватора. У соседей дурковал инженер из Новой Ладogi. Он был замешан в каких-то делишках с золотишком. Прикидывался политзаключенным, читал крамольные стихи, орал, что сидел вместе с Сахаровым на архипелаге Гулаг. Доорался до того, что сокамерники его избili. Кому нужен такой заполошный сосед. Потом ему неоднократно доставалось дубинкой от надзирателя. Да, когда у задержанных начинали сдуваться головы, словно мячи, выпускать воздух или пар злости, тогда их менты подкачивали через дубинки, похожие на ручные насосы.

Владимир работал в психинтернате, знал, как ведут себя умопомешанные, почти досконально помнил их жестикуляцию. Мог бы неплохо притвориться, заскисеть, но такая мыслишка сразу была отвергнута. Не хватило бы революционной воли.

2

Начались допросы. Следователь Петров, одетый в серый костюм, при синем галстуке, но при офицерском звании, узколицый, рослый пробовал выяснить причины происшедшего, впрочем, его интересовала и поминутная хронология, как он безоговорочно и громко заявил, неполитического преступления. Тогда Владимир в несколько измененной интерпретации по сравнению со сказанным кэпу Копейкину поведаль, что в тот неправедный день погода выдалась сумрачная, хотя по утру и пробовало выглянуть солнце, чтобы на людей посмотреть и себя показать, да получило округлой хлопущей темной тучи по темени и по желтому лбу, мол, не высовывайся. Так что вместо солнца высунулся сам Володя, словно Хлопуша из есенинского «Пугачева», произносивший легендарные слова: «Приведите мя к нему, я хочу видеть этого человека». Ну и взяли менты под грязны рученьки и повели, как потребовал, к новому царю, к Юрию Андропову? Или просто крепкий ветер понес пьяного Володьку в Москву?

Да в тот суббогний день неожиданно задул северный ветер. Он то ослабевал, то усиливался и при этом, набрав обороты, мог даже сбросить с небес порцию ноябрьского снега. Ветвистые обезлиственные тополя то раскачивались и скорбно скрипели, то замирали, словно исполняли команды, отданные неким заоблачным хореографом или гореографом. На некоторых полумертвых, полутраурных раннесоветских зданиях разохшаяся штукатурка, уподобясь уже успешней отлететь желтой листве, местами опадала, крошилась. Ни о каком предзимнем великолепии города и природы речи не велось.

Но и о личном бедствии, несчастном случае относительно Владимира каких-либо предупреждений со стороны природы или народа не было. Возможно, имелись, но он пребывал в алкогольном состоянии. Впрочем, острые предчувствия то ли веселья, то ли трагедии всегда являлись его спутниками в последние годы. Всё ожидалось, всё неслучайно и закономерно вылескивалось.

В то утро у Володи предметы в руках не держались: разбил фужер, стекло и еще что-то, опрокинул на себя стакан с пивом, ударился об угол комода. А по другому, наверное, и произойти не могло, поскольку накануне вечером перепил, а утром чувствовал жуткое похмелье. То есть с самого начала день не задался, оказался нефартовым. Скверное настроение, зависящее от неустроенности, с каждым часом усиливалось, нагнеталось. Давно уже предполагал, что проклят сам, а так же и вся страна, Москва, Ленинград, Волхов, что всё и все обречены, что окончательно пропадает сам, погрязнув в наивном стихотворчестве, в обманно веселящей пьянке.

А теперь Владимир и не думал протестовать и возмущаться действиями милиции. Сразу сдался, обмяк, перед ним не требовалось размахивать дубинкой, лупить, душить, класть под колеса ментмашины, поднимать и привязывать за яйца к божественному облаку, медленно и верно плывущему к Кремлю.

Короче, Володя быстро раскололся и через день после задержания, в понедельник, довольно подробно, но с утайкой и с искажениями, как он тогда посчитал, выгодными для себя, дал признательные показания. Отпустили, то есть отвели в камеру. А в ней чудовищное веселье и горькое чувство отчаяния почти у всех сидельцев. Но разве об этом в открытую выскажешься, выплачешься? Забудь про травы, травы анекдоты, играй в кубик или в «дубик», дай дуба... перекрикивайся с обитателями других камер.

– Ноль четыре, я – ноль шесть. Подгоните курить.

– Ноль шесть, я – ноль четыре. Упади в кашу, в парашу.

– За Родину нашу!..

Районная КПЗ – детский сад, в ней – демократия. Передачи от родственников делятся в камерах между обитателями поровну. Районная КПЗ – юридическая консультация. Тут же просветят по всем статьям УК, поведают про все «режимы». Здесь дадут установку – кажись крутым, тертым, «своим». А то могут сожрать.

Двое крупных ладожских парней поедали круто сваренные желтоватые яйца, периодически макая их в темную соль. Скорлупу аккуратно складывали в целлофановый пакетик. При этом чавкали, как бегемоты. Или богометы, то есть метатели богов или промотавшие свои идеалы. Но КПЗ или следственная тюрьма это еще не «осужденка», не зона, здесь еще можно до отвала нажраться и до опухоли лица и мозга отоспаться. Придурок-«урок» из Быльчино чиркал спичками. Такие чирканья выблюдка напоминали вылески молний во время летних очистительных гроз. Можно было представить, что в камере вот-вот запахнет озоном, свежайшим воздухом (не хотелось только, чтобы начался проливной дождь, после которого будет долго не просохнуть).

Можно было ожидать и ударов грома. Ага, пока гром не грянет, мужик не перекрестится или не споет «Интернационал». Это уж точно, это про нас. А вообще-то в камере всегда присутствовала испарина или испартина, история партии, или даже сама истинная партия большевиков. Порой воняло перегнившей травой и навозом, словно здесь содержались скоты, быки и козлы. Не так что ли? Можно было с большой уверенностью заявить, что в камере, словно в глухом вольере, живет слон, поскольку широкая струя дыма поднималась вверх, будто хобот. Не оттоптал бы ноги. Сам не вымер бы, как мамонт. Не застрелился бы в этом вольере из хобота, как из револьвера. Да, его тут самого не слабо подкалывали.

Он лежал на топчане с полузакрытыми глазами и видел, как волны времени идут на город, как народ направляется по грязным мостовым к площади. Должно было произойти столпотворение с возможной трансформацией в митинг или в столкновение. Улицы, прилегающие к ДК, были забиты волховчанами, хватавшими друг друга за руки, за шеи. Тут же возникло предположение, что толпа развернется и с грозными криками ринется в заречную часть города по автомобильному мосту и через парк «Ильинка» – к зданию районного отдела милиции, чтобы вызволить Владимира...

3

Да, да, через парк «Ильинка», где к протестующим могли бы примкнуть вольно болтающиеся пациенты местного ПНИ (психо-неврологического интерната). Именно в нем до своего грандиозного выступления на площади Владимир работал инструктором по труду, то есть выводил желающих поразмяться или малость подзаработать на уборку территории, на распиловку дров и так далее.

Теперь лежал на грязном топчане в КПЗ и, закрыв глаза, представлял некоторых неординарно-выдающихся обитателей медучреждения. Первым делом вспомнил толстого геркулеса Саню Мякина, частенько стоящего в центре интернатовской территории на цветочной клумбе. Скрестив руки на груди, он раскланивался во все стороны и что-то шептал здоровенными красными губами, похожими на два куска мыла. Так бы заученно он делал и на площадях, и на полях, если его туда привести. Жест как бы означал: «Прости, Россия-матушка, нас, дураков и нормальных. Сути не ведаем». За весь народ вымалывал невменяемый геркулес прощение у страны.

Володя мысленно продвинулся дальше.

– Эй, инструктор! – проорал двухметровый, хриплоголосый Коркин. – Курево мне давай.

Надо сказать, что пролетарии-инвалиды под руководством Владимира трудились не за просто так, самые активные из них за уборку территории, за распиловку дров и прочие виды работ получали ежемесячно двадцать рублей и десять пачек сигарет или папирос.

– Какое тебе курево, ведь никогда не работал.

– Не дашь, одену полковничьи погоны и пойду к горкому окурки собирать...

Вспомнились и интернатовские женщины из персонала. Например, в медсоставе имелись довольно обаятельные дамочки, но инструктор никак не мог после общения с подопечными перестроиться на нормальные разговоры.

Как-то к нему в столовой подошла молодая врач (Володя как раз собирался вылить остатки щей в бак) и сказала: «Владимир Петрович, Скворцова слезно просила, чтобы вы сегодня ее не брали на работу».

От этого «слезно» инструктор чуть-чуть не блеванул в соблазнительный вырез ее медицинского халата...

Халат-хлад. Ясно, что при виде хорошенькой медсестры не замерзнешь. Напротив, зажжешься, раскочегаришься и даже захочешь нырнуть в транс в пространство выреза, словно в треугольную прорубь, вырубленную (мамочки) или выпиленную (папочки) по верху ледового халата-хлада. Прыгнешь, возьмешься руками шаловливыми за спелые, как большие груши, соблазнительные груди, а тебя схватят за ноги санитары и, распевая вместе со сводным хором инвалидов подзабытую «Дубинушку», потащат обратно, чтобы молодой инструктор по «высоконравственному труду» все же не пропал, не утонул в очередном невыразимом «вырезе страсти»...

Припомнилась и приклатненная тощая старушка Нилова.

– Надежда, ты где была? Почему не работаешь?

– Не хочу.

– А что желаешь?

– Хочу с тобой человека из навоза делать...

А вот и Вася Мухин, маленький, кряжистый старичок с каждодневным прошением: «Инструктор, ты мне это ... найди работенку. Я к кочегарке приписан, а Правитель пьет».

– Гуляй, Вася. Сегодня День инвалида. Нет работы. Праздник. Не станешь же ты, однорукий, асфальт раскидывать.

– Я к кочегарке приписан.

– Давай только без «приписан» Тоже мне крепостной. Все мы к чему-то приписаны. Сами подписались. Иди к завхозу. А ко мне завтра с утра подваливай...

Порой надоедало слушать интернатовский фольклор. Хотелось самому что-нибудь свое придумать, но получалось неинтересно. Как-то к Владимиру возле столовой подошел Миша-плясун, «Серафим шестипалый». В руке держал коричневый лист бумаги. И вдруг стал поспешно прятать лист в карман пижамы. С Мишей говорить было бесполезно, а инструктор смекнул: «А вдруг лист со своими стихами прячет? Но у него не мания величия, а меличия. Не хочет, чтобы о его стихах знали... Прикинулся больным. Попал в интернат. Угол есть, кормят. Может, мне закосить и – в палату. Вот напишу власть. Ох, да у меня и теперь времени в избытке».

Между тем Владимир продумывал повесть о космосе. Но кто только не летал к звездам? Любое проникновение в небо – примитив. А ведь когда-то звал оттуда гигантов-красноармейцев. Прикидывал: «Эти гиганты своими буденновскими шлемами весь космос избороздили... А если их головы-планеты, то они от кружения истерлись в твердых слоях атмосферы. Но ежели

остались, то сделались облачными, ватными с пересохшими красными мозгами...». Не хотелось Володе в космос лететь, чтобы там в куклы играть. Поэтому предполагал: «Может, тогда с неба кто прилетит? Если инопланетянка, то снова примитив, кукла? Что с ней в интернатовской палате любовью заниматься? Да лучше купить спиртяшки «Сясьстрой» и в палату с медсестрой».

Тогда же у Владимира возникла идея суперреволюционного порядка: «Зачем мне ориентировка на тряпичных гигантов? Надо интернатовцев использовать, создав из них отряд бунтарей. Проводить ежедневные построения в лесочке, награждение папиросами. Отряд! А то раньше в одиночку выступал. Да еще с дружкой Васькой. Интернатовцам все равно ничего не сделают. Будут выскакивать толпой к горкому или исполкому и скандировать: «Наведите порядок!»

Наведите порядок!». Терять-то им нечего, за папиросы прокричат что угодно, но ведь сразу, уже за пачку ментовских сигарет, и расколется, что это их инструктор на кричалки подбил. Дураков – в «темную» на день, а меня за политинструктаж – в тюрюгу лет этак на десять».

Презабавной, щекотливой оказалась идея, но привиделись представители карательных органов, и мыслишка поблекла, рифмованно расцветив такие определения, как «излишка», «вышка»...

Вспомнился так же и пациент Хапалкин, который так и не дождался, когда его увезут на милицейские курсы, взбунтовался на весь белый свет, и его требовалось утихомирить. Как-то этот Юрка выскочил навстречу инструктору и заорал:

- Обманщики все. Убегу, утоплюсь в болоте.
- Володя хмыкнул: «Зачем в болоте? Река рядом».
- Во Мгу убегу. Матери морду набью.
- А там танки.
- Воевать буду.

Инструктор хотел попридержать разбушевавшегося, пригласить в «отряд», но Юрки уже и след простыл. «Зачем я ему сказал, что река рядом? Еще бросится в нее. Получится, что надоумил...».

Мыслишка об Отряде оказалась зажигающей, захватывающей, но только для размышлений, а не для воплощения в реальности.

4

Если хмурые следователи хотели, чтобы Владимир побыстрее признался в содеянном, то явно преуспели. Наверное, посмеивались, что парень струхнул, быстrehонько согласился с обвинениями, что тут же сломался, словно соломенный сноп-сноб, но был ли сермяжный смысл в том, чтобы молчать? Следователь Петров, пребывавший на этот раз в офицерской форме, даже не успел по-настоящему занервничать, заискриться. И не потребовалось для подпитки ярости лейтенантские погоны, как аккумуляторы с клеммами-звездочками, соединять между собой невидимыми проводками, или, как говорят шоферы, «прикуривать». Да, выкурил всего две сигареты «Нева», а

бунтовщик уже не бунтовщик, а информации поставщик. А что было предельно упираться? Ведь не зомби, не апологет гетто, не фанатик, не бомбист, и к тому же согласившись с определением своих недавних действий как хулиганских, не признал же их антипартийными, хотя в этом почему-то и не требовали сознаться. Но о моральном поражении речи не шло.

Конечно, страх был, и к тому же нешуточный, большущий, но кто в Союзе не пугался мощных силовых структур и особенно органов госбезопасности!. Никаких недоразумений не произошло, изначально все, в том числе и Владимир, знали, что загребли не по нелепой оплошности, что имелись определенные пунктики в биографии, подозрительные аналогии, но все эти совпадения и странности-склонности все же не позволяли смутьяна обвинить по-крупному: антисоветизма в его действиях нет и не было, хотя в стихах имелось множественное число критических выпадов.

Печален волховский народ,
Плотина хлопает устало,
Не попадает людям в рот
Что с проводов-усов стекало.

На третий день повезли в наркологический кабинет. При выходе из машины увидел мать. Бедная, бледная, плачущая, крестящаяся... Нарколог «пришила» Владимиру 62 статью – лечение от алкоголизма. Значит, к годичному заключению (по крайней мере) он уже был приговорен до суда и даже до следствия.

Когда привезли от врачей, хотел завалиться спать. Но поспать не дали. Коридорные начали осматривать камеру. Задержанные стояли, как русские валенки, вдоль шершавой стены-шубы и холодно внимали информацию, что скоро в КПЗ введут жесткие ограничения на теплые вещи, на еду и на курево. Как же, милиция вошла в силу! К власти пришел Андропов, бывший шеф КГБ. Зеки в знак протеста отказались от желтенького ресторанный бульона и от ресторанный кипятка. Но тут же пошли на попятную. Володя понял, что настоящей солидарности у них нет. Все зависит от слов вожака. А Владимир таковым не являлся. Ему было не до драк за лидерство и верховодство, да и физической силушки и вождистских качеств не имелось. Не умел понастоящему психовать и наезжать. Но мог создавать всякие зрительные образы и метафоры. Например, вкручивал себе в мозг или просто думал про камерную электролампочку, представляя ее как ольховую почку, которая может резко лопнуть, из нее появится длинный, зеленолиственный, ароматно пахнущий отросток, но применимо к месту отсидки – САЖЕНЕЦ...

Все же Владимир старался думать не об ежедневных узко-келейных внутрикамерных разборках, а о своем глобальном, верховно-трибунном выступлении. Конечно, считал себя правым. Вывел себя и причины стихийного бунта. Во-первых, это постоянная боль за Россию. Во-вторых, ему не хотелось больше унижаться. А унижаться приходилось часто. Владимир сменил уже несколько работ: побывал учителем, инструктором. Все эти работы были не по душе. Они изматывали. Володя хотел писать и только

писать. Сочиняя, надеялся на немедленный успех (уж следующая-то вещь будет непременно гениальной), но ожидало очередное разочарование. Все не нравилось, и он никому не нравился. Отсюда скандалы на работе, выговоры. Нельзя сказать, что всюду волянил. Старался, но без души. Она пребывала далеко, витала над широким письменным столом. И теперь вместо немедленного успеха Владимира ждала немедленная изоляция от людей и от литературы. Но он уже давно являлся отстраненным, отторгнутым. Разве работа в психинтернате не изоляция?..

Есть такая категория «бунтарей-потребителей». Как ни крути, но он имел отношение к этой группе. Студенческие выступления были хоть и частыми, но большей частью шутейскими. А когда втемяшилась мысль разбрасывать листовки, то торопил себя – скорей швырай их и обретешь так необходимое для себя спокойствие. И ведь не был деревом, которое, сбросив осеннюю листву, оставалось стоять на месте, а старался «отшуршать» подальше.

Теперь, попав в КПЗ, он по-настоящему затрясся за свою бесценную жизнь. Владимира никак не прельщало общение с уголовничками, холод и потенциальный голод (если бы не полузапрещенные дачки от родственников). Он сразу понял, что в роли Бунтаря ему в одиночку не продержаться. Надо было спасать шкуру и проделать это как-то покрасивее. Как Бунтарь сокамерниками не воспринимался. На трибуне находился пьяным, сквернословил.

Хотя он не называл прямо людей, собравшихся тогда на площади, тварями дрожащими, но это подразумевалось. Ведь стоя на трибуне, ощущал народную дрожь. А между тем на драже, на известные круглые конфетки, при виде сверху как раз были похожи головы волховчан – зевак. Кстати, в том ноябре по торговому спецзаказу в красно-пролетарский городок завезли на продажу большую партию алых колпаков, в которых на площади стояло немало парней и мужчин среднего возраста. Были эти колпаки сразу похожи и на петушинные гребешки, и на пламя зажженных свечей. Да, неподалеку от меня с десятка два человек как бы «держали свечи» и, если что, для следователей и для истории могли подтвердить, что я «любил» трибуну, толпу, площадь, советскую власть...

Вроде бы тогда прозвучал обычный вопль пьяного русского мужика. Так-то это так, Володе это все и вдалбливали, но его-то вопль с трибуны раздался! Как сказать, имел место!

Когда смуглян начинал анализировать свое выступление, возникало немало «за» и «против»! В камере глупо что-то доказывать. Парни сами понимали, что Володин площадный крик значительно превышал обыденный пьяный бред, что ему могут намотать приличный срок, но все равно такое выступление серьезным не считалось.

На него могли здесь рыкнуть и цыкнуть. У машиниста поезда Ромы рот при ругани и при поедании пищи, лязгал как тамбур – ам-бур. Рядом с тамбуром в вагоне находится туалет. И часто изо рта Ромки несло говном. Кстати, именно от этого тепловозника он впервые услышал слово «ебловоз», то есть локомотив, спереди которого закрепляли портреты того или иного вождя.

Приходилось размышлять, как вести себя с сокамерниками. Как специально с топчана встал мужичок в зелено-малиновых лохмотьях, приблизился к нему, вихляя телом, и произнес: «А вот сейчас оторву шлягу, откушу ухо. Жутко стало?». Зубы у него были желтые, большие. Хихикнул и полез в дальний угол, где, трясясь, пребывал пожилой желтолицый мужик, похожий на одного из Володиных работников интерната, у него так же все время из под черного свитера торчал низ серой рубахи с казенным штампом. Зубастик стал оттачивать и на нем свое незаурядное мастерство обзывания и передразнивания человека: «Фуфлю, срань неумытая, дерьмоед»...

Но значительно больше Владимир думал о том, как вести себя в разговорах со следователем. В тот же день состоялся еще один разговор-допрос. Коридорный вывел площадного агитатора из камеры и доставил в маленькую синюю комнатенку, находившуюся рядом с КПЗ. Следователь первым делом иронически спросил:

– Это не вы сегодня в камере призывали к голодовке?

– Да что вы. Мне ли здесь верховодить?!

По поводу выступления-преступления вкратце объяснился так:

– Два месяца не выпивал, а тут сорвался. После первого стакана так красиво развезло, что я даже почувствовал себя парящим над землей.

На самом деле такую необыкновенную легкость ощутил... На следующий день вышел на городскую площадь. И вдруг все с площади пропало. Исчезли люди, деревья, памятник Ленину. Осталась одна трибуна. Золотилась, сияла она...

Свой нимб, свое «сияние» отдал трибуне. Врал.

Следователь без всяких ухмылок записывал показания.

– Сопrotивлялись милиции?

– Нет. Они мне дали спокойно сойти. Мне даже самому захотелось скорее попасть в машину. Она тоже вдруг засияла.

– У вас обнаружили поэму.

Владимир что-то проямлил, и к его удивлению следователь больше про стихи не спрашивал. Затем Петров зачитал показания Фуфанова. Фуфа неуверенно сообщил, что Владимир выкрикивал с трибуны красно-пролетарские лозунги. Мог бы об этом и умолчать. А впрочем... он молодец. Хоть один, но поднялся на помост в защиту Володи. Тоже адреналинщик, по которому плачет дрын успокоения. Дальше шли многочисленные свидетельские показания. Доброхотом по этому делу мог стать любой житель города. Особенно старались второстепенные городские партдеятели. По их свидетельствам выходило, что они после первых трибунных выкриков нестройными рядами устремились не к Владимиру, а в Дом Культуры к телефонному аппарату, с которого стаскивали трубку, как покойницу со смертного одра, и, борясь за первенство позвонить в милицию, толкались и чуть было не устроили драку.

Из записанных следователем откровений матери так же вытекало, что Владимир с детства являлся психически неуравновешенным. Она поведала,

что сын часто говорил о самоубийстве. Можно было догадаться, что такие признания она записывала под диктовку некоего опытного доброжелателя.

Итог допроса: отправить на судебно-медицинскую экспертизу в Ленинград. Из одного психиатрического учреждения – в другое психиатрическое. При этом характеристика с последнего места работы, из ПНИ, была отрицательной.

5

Снова вспоминался интернат, невыходы на работу, последующие разборки, мат...

«Ах, инструктор! Гад! Сволочь! Почему прогуливал? Почему нас бросил? Почему не закрыл нам наряды? Где наши денежки? На! На!».

Тихонов бьет Володю колом по голове.

Набежавший Данилов ударяет сапогом в грудь.

– Где наши «пятерки», «червонцы» швивые? На! На!

Бьют ногами Зойка и Алла.

На всю территорию интерната орет завхоз Танька: «Так его, так. А остальные, что стоите? Пока он отсутствовал, вам папиросы не выдавались. Деньги не получили. Сильнее бейте, не жалейте его!». На инструктора налетает множество больных, колотят его колами, колот лопатами. Обhajивают грязными сапогами. Подъехал Ефимов на инвалидной красной коляске и хрипит: «Дайте ударю я!»...

Такую картину представил инструктор, направляясь после недельного запоя на работу. Причин для избиения имелось немало.

«Куда иду? Все там против меня. Уничтожат. Будет бунт и самосуд больных. Бунт против бунтаря! Хотел еще из них отряд мятежников-боевиков создать. Теперь этот отряд меня растерзает...».

Он миновал зеленокрашенную проходную. Направлялся к конторе, сузив глаза и сжав кулаки. Угроз и криков не раздавалось. Но слышалось милое щебетание.

– О, мой любовник.

– Нашла мясо? Нашла мясо?

– Привет, Володя. Где пропадал?

Никто не нападал.

«Кто же, если не такие, станут бунтовать? Их бы никто не привлек, если бы меня ликвидировали».

Директор для острастки пригрозила ему переводом в санитары, но оставила на прежней должности и хмуро послала к прежнему контингенту. Кровавопролитным бунтом не пахло. Деньги (правда, всем только по «пятерке») работникам и без него выдали. Те, кто работал, и в отсутствие Володи получали папиросы.

С пьянкой на неопределенное время покончил. Порубил «зеленого змея», а так же связи с друзьями и с доступными женщинами. Перестал ходить в ресторанчик «Стаканчик»... Вновь став домашним человеком, решил написать повесть о рабочем классе. Понял, что производственную тему

можно дать через дурдом. У него ведь имелись работники, прямо помешанные на работе, которые могли трудиться без розовых и разовых лозунгов или ворчания буквально от зари до зари. Некоторые, как Витя Степанов, перед инструктором снимали головные уборы, будто бы перед барбином. Это, как раньше в крепостных деревнях, считали, что разделение на бедных и богатых, на работающих и начальников – естественно...

А что творилось на госпредприятиях, где трудятся нормальные рабочие? Кто там начальник? Он такой же человек, как работника, даже менее привилегированный. Володя мог привести множество примеров, даже сенсационный, что рабочие города выжили среднее начальство да инженеров из местных ресторанов. То есть наперекор партийному учению государство диктатуры пролетариата у нас сформировалось лишь в 70-е годы, его все сразу убоялись, в то числе сами рабочие, и тут же начали строительство опять-таки бесклассового, но явно кассового, хозрасчетного общества с перекосом в сторону личной собственности, рубля, бля...

Желтой осенью, в октябре, интернатовцев во главе с Володей стали вывозить в совхоз на уборку картофеля и моркови. Нет, в начале-то думалось, что вывезли на хорошую рыбалку. У старика-дауна Погодина на лацкан пиджака было привинчено сразу три ромбика – три значка об окончании институтов – три «поплавка», которые, словно во время славного клёва, ходили вверх-вниз при радостном биении большого сердца от радости, что наконец-то вывезли на природу, хотя и не к самой реке.

В результате образовалась пусть не образцовая волхово-ладожская рыболовецкая артель, но лучшая полеводческая бригада в СССР! Работали без перекуров, отлучек и случек. Государственными людьми почувствовали себя володины работники, так называемые «дураки». Как они накупились на мужика, который хотел взять несколько морковин. Чуть не растерзали «несуна». Тот заорал:

– Тогда всех в стране надо расстреливать, и только вас, дебилов, на развод оставить. Останови их, бригадир!

– А, может, все же стоит над тобой показательный самосуд устроить? Хоть один в стране?

Володя подумал: «А я ведь такой же самосуд заслуживал, когда возвращался из запоя».

Директор совхоза то ли в шутку, то ли всерьез предлагал бригаде навсегда остаться:

– Выделил бы две квартиры. Жили бы коммуной.

Инструктор по соцтруду разговорился с директором, тот, тяжело вздохнув, сказал, что измельчал народ в стране. Тогда Володя «нарисовал» над полем гигантского пахаря, а над фермой – гигантскую доярку, но тут же выяснилось, что гигантский пахарь гигантским плугом запарол бы все поля, а гигантской доярке для нормальной работы вместо лап-лопат требовалось пригнать десятки обыкновенных рук. Это ли не инвалидность?

Простые интернатовцы с их пороками и увечьями порой казались Володе Гигантами.

Как-то в работе произошел сбой. Все уселись на обрезку ботвы. А пунцовую морковь подносить было некому.

– Что Пушкин нам накопает? – громко сказала Зина Малкова. – А, может еще Ленина на подмогу вызвать? Сталина?

Слова «на подмогу» прозвучали очень сильно. Володя сразу представил Пушкина, который в черных фраке и цилиндре подкапывает вилами морковь, а затем подносит ее работникам. Ленин сидел в кругу интернатовцев, как среди интернационалистов, обрывал зеленую ботву и рассказывал что-то веселое. Сталин, не выпуская изо рта трубку, восседал на ящике в отдалении ото всех и сосредоточенно, без суеты сортировал корне (контра)плоды. Мелкие и корявые – в один ящик, а крупные – в другой. Так он всех «красных» рассортировал по «почтовым ящикам» и тюржам.

Когда возвращались с поля в интернат, инструктор автоматически замечал, как из-за желтых зданий, из-за багровых кустов выползали синерожие деклассированные Квазимоды, Гавроши, Наполеоны. Люмпен-пролетариат представлялся во всей своей красе. Могла запросто подойти разбитная бабенка Хоняк и пригласить его в интернатовскую гробовую мастерскую, чтобы там, в гробу, произвести нового человечка. Или мог столкнуться с двухметровым, хриплым Коркиным и услышать от него угрозы из старого репертуара:

– Не дашь курева, нацеплю полковничьи погоны и – к горкому...

– Пора бы генеральские надеть, власовские...

Главной ошибкой Володи было то, что он много общался с «дураками». Это его огорчало и смешило. Ну, разве не пристебно собрать их вокруг себя, а интернатовцы были изо всех районов Ленобласти, и расспрашивать, какие дороги во Всеволожском, Тихвинском, «Гошненском» районах, каковы пути к солнцу, к Мавзолею? Ответят, что плохие. Но разве можно было в дурдоме найти ответы на все русские вопросы? Глупо было попасть сюда, даже по работе, но Володя и не отличался большим умом.

Вообще-то, он понимал, что по интернатовцам нельзя судить о всем русском народе. Эти люди были брошенные родственниками, подобранные государством. Также имелось множество сознательных граждан, которые не сдали своих больших близких в интернаты, можно бы на их примере писать о состоянии русского самосознания, но что толку писать, когда все доброе забывается, забывается и засоряется, как металлические буквы на пишущих машинках...

6

Владимир знал, для чего его повезут к ленинградским судебным медэкспертам. Ясно, что станут выкручивать извилины и руки. Постарается какой-либо капитан Выкрутас – вне сообщений ТАСС. Хотя настроение у Владимира было явно не лирическое и уж, конечно, не веселое, но само это слово заиграло и запырало на языке и на развлекательной площадке его воображения: выкрутас – вы крут, ас, – икру в таз... Явно постараются оказать мощное психологическое давление, чтобы он сломался внутренне.

Будут по-совдеповски долго совестить и внушать, что своим раскаянием в зале суда он безусловно пресечет попытки других возможных одиночных и массовых выступлений, что надо быть здравомыслящим и терпеливым, соглашаясь со сроком назначенного судом заключения, что при Сталине за такие действия...

А в камере серо, сыро, едко, гадко.

Глядя на густой и белесый табачный дым, широко нависший над задержанными и топчаном, можно было подумать, что здесь развесисто цветут сирень или черемуха. Но это только цветочки. Кто задержится на продолжительный срок, увидят и ягодки такой черемухи, обдерут их, обгрызут, а косточками уж непонятно через какие трубочки станут стрелять друг в друга. Чем бы дитя не тешилось. Такие придурки могут и в цирков, и в дубаков выхаркнуть. А высокопоставленные мент-министерские дурни посчитают дудочки оружием и добавят за них значительно к сроку заключения. А вот спички не считались за огнестрельное оружие, хотя ими, горящими, можно еще как бросаться. Недавно Колька Быстров выложил из них железнодорожные рельсы. Коробок-поезд. Оставалось только забить себя в этот сине-коричневый коробок и тю-тю, на Воркуту?..

Теперь, находясь в зловонной камере, не мог ничего видеть из внешнего мира. Но ему грозил и вскоре приказал быть двадцати километровый железнодорожный путь-этап из Волховстроя в Ленинград, во время которого, при пробежке от автозэка до столыпинского вагона, он мог кое-что узреть. В запасе имелось всего лишь несколько секунд, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на жизнь, реальность, природу. К тому же по прибытии в питерский тупик яростно лаяли крупные конвойные овчарки, от чего было страшновато оглядываться, а тем более поднимать голову. И все же Владимир успел увидеть небесную синь, снег на проводах и сугроб, высящийся на крыше буро-близстоящего станционного здания. Возникло ощущение, что восстановилась связь с внешним миром.

На экспертизу погнали через следственную тюрьму «Кресты», камеры-кельи которой были переполнены. Владимир там провел около двух недель. Днем спал, а ночью читал и считал – сколько лет дадут? Рассказали про случай, что в дни траура по Брежневу какой-то пьяный мужик в Ленинграде выкрикивал «Хальт Гитлер!». Крикуна осудили тут же. Дали 5 лет. Володя понял, что и ему грозит «пягилетка». Всем в камере сообщил, что посажен за драку. Не хотелось лишних разговоров. Дискуссии о политике не заводил. Слышал, что с приходом Андропова в магазинах появились и колбаса, и масло, а на предприятиях резко укрепилась дисциплина. Такого генсека Андропова сразу же зауважал. Конечно же, про себя. Не был же он Высоцким, чтобы пробросить на всю тюрьму: «Приведите меня к этому человеку!»

Ночью в камере храпели, по галерке летали и чирикали воробьи. Визжали охранники-«циркачи» – «цирики» и «цирички». Чем уж они там занимались, не ведал, но их смех звучал издевательски, как понятие «эра эротизма». В

ночи раздавались крики: «Тюрьма, дай мне имя!» Хотелось сделаться мальчиком – с – пальчик и убежать. А вдруг раздавят? Пришлепнут и останется от него только ошметок хлеба, которого, пусть 2-ой выпечки, черного и вонючего, в «Крестах» давали с избытком. Эки лепили из него мальчиков-с-пальчик, пепельницы и другие поделки. Если бы сделался крохой, то Владимира-Вову склевали бы жирные тюремные воробы. Хотелось стать чуть ли не куском дерьма, чтобы хоть через унитаз вынырнуть на волю...

Нева, когда ты протекаешь пред «Крестами»

Слова какие шепчешь волнами-устами?..

Мы, Ленинграда псевдожертвы и отбросы,

В канализацию о «ослабленьях» просим.

Общесоюзная амнистия догнала Володю уже на улице Лебедева, как «пуля» – лебеда, где в одном из зданий размещалась судмедэкспертиза. Здесь эки были одеты в больничные пижамы, находились в камерах-палатах под наблюдением врачей и милиционеров. Тут в течение нескольких дней контингент находился под впечатлением поистине творческого антисоветского преступления, которое совершили молодые мужики в поселке около Кингисеппа, двоих из которых приконвоировали на обследование. Так там они из мокрого снега вылепили широченную двухметровую пивную кружку около железнодорожного вокзала, а народ быстро превратил ее в общественный туалет, зажелтив, обуржуазив жигулевской мочой, что вызвало прямо-таки всеобщее негодование всего коммунистического населения поселка и всей Ленинградской области.

Владимира «засилили», то есть используя силу, в такое помещение, в котором из восьми человек пятеро являлись убийцами. Некоторые притворялись сумасшедшими, чтобы избежать страшной участи, но не выдерживали, раскалывались.

Во всяком случае Владимир не видел, чтобы кто-то запикивал себе в рот красное дерьмо или рвал на голове короткие волосенки.

Его больше ни к каким врачам не вызывали. И в «Кресты» долго не возвращали. А время шло, а время входило в «срок». Других водили на тестирование. Предлагали изобразить рисунком, что такое любовь. Многие рисовали алые и немалые члены. На Новый Год была курица с лапшой. И мандаринина. Вот им, экам, здесь было кисло!

После Нового Года его привели к психологу – эксперту. Это был лоснящийся, розовощекий мужчина – профессионал:

– Ну, как дела, Владимир Петрович?

– Ничего

Эксперт усмехнулся:

– А я думал, что вы воспротивитесь против «Владимир Петрович».

Заявите, что вы Крототкин или Солженицын, или князь Меньшиков.

– Зачем же?

– У нас всякие водятся. Бывает, что убийцы прикидываются политическими. Орут, что СССР – концлагерь... Как здоровье?

– Сойдет.

Эксперт опять усмехнулся:

– Что вы все односложными предложениями. А еще поэт.

Начал опрашивать по делу. Владимир по-прежнему утверждал, что с площади все исчезло, а трибуна засияла. Он записал. Потом удивил знанием биографии волховского смутьяна. Знал, что до армии тот работал некоторое время в экспедиции, хотя такой записи в его трудовой книжке не имелось. Зачитал характеристику из института.

Володя только рот открыл. Выдал даже такую тираду:

– В 19 веке, побунтовав в молодости, люди уходили в народ, кто направлялся учительствовать в деревенские школы, кто в участковые – «квартильные», другие шли работать «инструкторами» в богадельни.

Три пути – просвещение, жандармерия, религия.

Эксперт был, по – видимому, доволен, что узник с широким спектром знаний перешел с простых предложений на длинные фразы.

– А какие чувства вы испытывали, когда выступали с трибуны?

– Не помню.

На самом деле Владимир все хорошо помнил. Эти чувства – на всю жизнь. Он наслаждался, он торжествовал. Испытывал «кайф». Ведь Владимир давно не учительствовал. И тут давал урок стране. Он гордился тем, что такого в Волхове еще не было. Он говорил правду десяткам, а может, даже сотням людей. Не все же городскому начальству с нее выступать... О!

– А я попадаю под амнистию?

Эксперт пожал плечами и сказал:

– Черт его знает. Но твои дела не так уж и плохи. Брежнев даже судебным работникам надоел. К власти пришел Андропов, у него другая политика. Надейся...

7

17 февраля выдался ясный день. В здание суда Володю почему-то везли не в автоэске, а под охраной в нормальном желто-коричневом автобусе, поэтому он хорошо видел, что творилось на волховской волюшке: заваленные синеватым снегом улицы, далее – масштабный завод и другие прокопченные промздания, горожане, переминающиеся с ноги на ногу на автобусных остановках. Все (не очень настойчиво и не очень озабоченно) жаждали и страдали. Было заметно, что крепчающий мороз пощипывает уши волховчан. Тем не менее заключенный так и рвался из добросовестно натопленного желто-красного салона автобуса хотя бы для того, чтобы с радостным криком соскочить на зимнюю заснеженную землю и нырнуть молодым, бледным лицом в сиреневый сугроб. Но сразу заревет сирена на весь город, если нырнешь, упрячешься в нем. Все собаки побежали бы на мобилизационный пункт, чтобы их записали в добровольцы-искатели и поставили на суповое довольствие.

Город казался знакомым и незнакомым. На одном из старых домов об стену шаркал флаг. Я вспомнил страшное слово «саркофаг».

Живые люди-прохожие воспринимались с трудом.

Перед зданием суда ожидал увидеть толпу народа, все же рассматриваемое дело необычное. Но у двери стояли только два родных брата, Гена и Сергей. Братья были настроены доброжелательно. Конвойные провели в зал. Владимир оглядел помещенье и не поверил глазам: всего 5 человек! Отец, мать, братья и Фуфанов. Больше никого: ни из публики, ни из свидетелей.

Какая уж тут обличительная речь! Театр! Не я, а мне спектакль дали.

Примерно так же, как Брежнев в День милиции устроил милиционерам «праздник». Нет свидетелей, но имелся адвокат, который по 1 части ст. 206-ой просто ни к чему.

Фуфанов сказал пару предложений, его попросили сесть. Выступила судья: «Эх, пацаны... напьетесь и лезете, куда не надо».

Если бы она эти слова сказала при большом количестве народа, Владимир возмутился бы или попробовал бы возмутиться. Он смотрел с черно-бурой замызанной скамьи подсудимых через не зашторенное, но зарешеченное окно на забеленную улицу и на парк, деревья которого и сравнительно тонкие электрические столбы терпеливо держали на своих ветвях и проводах немалую массу снега. Впереди, за широкой аллеей и площадкой, находилась водная станция (может, обледеневшая, как река), ее ограждение с красными кирпичными столбиками в белых рыхлых шапках, узорчатая, заиндеветшая решетка, промерзшие перила на забеленной и скрипучей деревянной лестнице. Как Володя представил, на противоположном, приземистом, утопающем в сугробах берегу темнели дома, дощатые бараки, склады. И все-таки не скукой и запустением веяло от них, а полнотой жизни. А уж совсем рядом с залом суда – тогда вообще шла пьянка-гулянка. Когда подъезжали, Владимир увидел торчащую из сугроба зеленую постновогоднюю елочку, похожую на обглоданный скелет великанской селедки. А с крыш ближайших домов свисали большие сосульки, как холодные бутылки горячей череповецкой водки, чтобы падать на черепа волховчан и веселить их. Да и в зале заседаний Фемида прямо-таки потешалась, укатывалась. Адвокат Федотова запросила у суда «химию»!

Владимир промямлил (!) последнее слово.

Суд удалился для обсуждения приговора. К Володе подсели родственники. Подбодрили, сказали, чтобы не зарывался. Он спросил:

– Сколько вы за такую тишь да гладь заплатили?

– Нисколько, нисколько, Вова, – скороговоркой сказала мать. – Мы и сами удивлены. Откуда у нас деньги?

Мать подала желто-красную литровую трофейную кружку с котлетами. Удивительно, но есть не мог.

После перерыва судья зачитала приговор. На ней, нахмуренной и пышнотелой, только что не трещала форменная одежда (мантия, мат и я),

толстые пальцы в золотых кольцах, державшие папку с бумагами, вздрагивали. От радости? Темные плоские брови собирались куда-то ехать, лететь. На свободу что ли?

Широко зевнув, заявила, что 62 статью отменили из-за того, что Владимир некогда переболел желтухой. При таких болезнях лечить от алкоголизма да еще тюремными способами не рекомендуется.

Дали шесть месяцев общего режима! А ведь на центральном столе стояла приплюснутая металлическая баночка, из которой в начале заседания судья изредка доставала леденцы и закладывала себе в рот. И в наступивший момент на радостях Владимиру захотелось, чтобы в зале появился здоровенный хоккеист в форме местной команды «Металлург» и так саданул клюшкой по баночке, как по черной шайбе, чтобы она ударилась со звоном об противоположную стену, раскрылась и из нее в виде веселых брызг и радостного салюта выскочили разноцветные леденцы и разлетелись по всему серому приговорному залу!

Каких-то 6 месяцев общего режима. Детский лепет!

Радостный Владимир распрощался с родителями. Через полчаса веселенький и окрыленный влетел в камеру.

Спрашивали: сколько? На пальцах показал – «шесть».

Конечно, кто-то купился, переспросил, – «шесть лет?»

– Шесть месяцев.

Про него говорили: «Что ему 3 месяца? На одной ноге отстоит».

Только реалист Клык съязвил:

– И за два месяца зона может показаться. Запросто, если надо, инвалидом сделают... Вернется снова в свой дурдом, только уже чокнутым.

Так-то Клык и вся тюремно-исправительная система показала Володе зубы. Но он ни чуть не оробел. Даже почувствовал, как в нем забурлила кровь, как она мощно наполнила молодое сердце, как налились силой мышцы, а бледное от пребывания в неволе лицо расплылось в умиротворяющей улыбке. Владимир понял, что пришло спасение, что самые плохие предчувствия не материализовались, что на зоне перетопчется, что еще поживет и себя покажет...

Отвезли в «Яблоневку» – питерскую, воровскую, беспредельную зону №7. Перед отъездом в нее офицер спрашивал: «Есть ли такие, кто служил МВД или ВВ? Есть ли враги на зоне?»

В зоне надо молчать, никуда не соваться и надеяться на «планиду». Если есть «судьба», то и зона не страшна.

Выдали «фуфаны», кирзачи, спецуху и ватно-тряпичные шапки. Мог устроиться в штабе (высшее образование), но уж больно маленький срок. При длительном сроке его взяли бы в писари и, наверное, имел бы время на творчество. Писатель и писарь, хм...

Теперь-то Владимир каждый день мог видеть небо и снег. Изредка появляющееся питерское оранжевое солнце создавало ощущение миража. Зимняя природа, пусть даже городская, казалась ему восхитительной. Глубоко дышалось. Впрочем, вскоре все сантименты исчезли. Место, где находится

зона, называется Яблоневка, дача Долгорукова. Ничего себе дача. Паши по десять часов в день, подчиняйся вора́м и не вздумай им дать сдачи. Часто даже в хорошую погоду на душе было погано. Как-то заметил, что слабогреющее мартовское солнце висело над землей, можно сказать, на соплях, на одном луче... как последняя пуговица на тонюсенькой ниточке. Упади это солнце-пуговица, и с неба свалятся штаны. За такое хулиганство с особым цинизмом – его под суд, а потом в ту же Яблоневку упекут. Какой-то кислой шуточка оказалась. Тоски хватало. Все ожидал дачку-передачку от родителей, полагая, что они навалят в нее всего, как снега с неба. Да, теперь Владимир ежедневно, вплоть до основательного потепления видел снег, иногда красный от пролитой крови во время разборок. Всего насмотрелся, поэтому надолго расхотелось заниматься воспоминаниями...

Распределили в 12 отряд, в 127 бригаду. Это была бригада дворников. Владимир всю жизнь был по существу или дворником, или чистильщиком. Такая работа получалась.

Все отряды помещались в пятиэтажной казарме. Все было банально: промзона, жилзона, воры, пидоры, локалка, хавка.....

На зоне провел 72 дня. Столько же дней продержалась Парижская коммуна. СССР продержался 72 года...

*– Это был отрывок из одноименной повести



! gmf9182547 <<6>rest99>> - prison number 1 among the population of St. Petersburg
Prinin Andrey (C) GeoPhoto.Ru

III. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

Вячеслав Овсянников

Два поэта

Александр Медведев

Русский авангард: сложность простого

Мария Амфилохиева

В мире наоборотном

Владимир Меньшиков

КРИТИКА

Мария Амфилохиева

«В мире наоборотном»

Тема такая, что писать можно о чем угодно, конечно. Но меня более всего заботит то, что происходит с людьми. Мир меняется, и мне, как человеку – увы – все более отходящему в прошлое, все больше кажется, что живу я в некоем «наоборотном» мире, по сравнению с миром моей юности. И я не боюсь, что меня обвинят в старческом брюзжании. Хотя брюзжать, разумеется, как раз и собираюсь.

Итак, «когда мы были молодые и чушь прекрасную несли», мы действительно и молоды были, и чушь несли вполне романтическую. И книги читали, и почему-то в бой бросались за всякие отвлеченные истины, а оскорбление любимого писателя или литературного героя воспринимали как смертельную обиду. Ну, на дуэль после 15 лет уже не вызывали, но всерьез рассориться могли. Из-за отвлеченностей, принципов, миражей, слов. Чушь, разумеется. Но прекрасная чушь. Романтизмом называемая по научно-популярному.

Не скажу за все поколение. Разные люди всегда были, но много было и таких, как мои друзья, одноклассники и однокурсники, читавшие книги наших (и зарубежных) классиков не просто так, ради знания сюжета, а в поисках истины. Наивно, наверное, но это так.

И более того, мы верили первоисточникам, то есть самим книгам, а не статьям и учебникам. И этим гордились. Поэтому, когда я в тысячный раз слышу фразу, будто Ф. М. Достоевский сказал, что красота спасет мир, я прихожу в ярость. Да, это «общее место» давно растиражировано и считается истиной. Но перечитайте роман «Идиот». Действительно, полемика по этому вопросу есть на его страницах. И есть фраза «мир спасет красота». Эти слова произносит Аглая Епанчина:

«Слушайте, раз навсегда, – не вытерпела наконец Аглая, – если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что «мир спасет красота», то... я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но... предупреждаю вас заранее: не кажитесь мне потом на глаза!» («Идиот», Ч. 4, гл. VI). Согласитесь: предположить, что Достоевский отождествлял себя с Аглаей Епанчиной, как-то не получается. Да и понятно, что девушка иронизирует над перечисленными темами.

А высказывание в привычном виде – то есть «красота спасет мир» – у Достоевского тоже приводится иронично (почти издевательски) в реплике Ипполита, обращенной к князю Мышкину («Идиот», Ч. 3, гл. V). Ипполит здесь, что называется «слышал звон, да не знает, где он», к тому же пытается насмехаться.

Но лейтмотив настоящего разговора о красоте в романе совершенно иной. «Красота – страшная сила» и с ней «мир можно перевернуть» – вот это действительно Достоевский. Но перевернуть – вовсе не значит спасти. Кстати, весь разговор ведется по поводу портрета Настасьи Филипповны. Вот она, красота. Но кого спасает она? Только губит – и Рогожина, и Мышкина, и саму

себя. А князь Мышкин, единственный герой, который может претендовать в общей полифонии мнений на роль рупора идей автора, говорит не о спасительности красоты, а о ее великом страдании и в волнении восклицает: «Добра ли она? Ах, если б добра...». Вот так. Мир не красота спасает, а добро. Это уже на идею великого мыслителя больше похоже. Но в «Идиоте» и добро не спасительно. Вернее, мало этого добра в мире, чтобы если не весь мир спасти, так хотя бы «князя Христа»...

Кстати, в «Братьях Карамазовых» Митя скажет: *«Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»* («Братья Карамазовы», Кн.3, гл. III). Так что к красоте Достоевский относился с большой осторожностью.

Надо ж было свести мысль Достоевского к расхожей фразе «с точностью до наоборот». А если кто-то из его героев, участвующих в разговоре, и говорил что-то подобное, так надо разобраться – кто. Не каждому же герою верить можно. Достоевский – писатель хитрый. Он любое мнение вам так преподнесет, что заслушаешься и за истину примешь. Пока именно этот герой говорит – так и примешь. А другого послушаешь – кажется, что уже он прав. Но автор-то правду знает. Почему знает? Тоже ведь человек, может и заблуждаться.... Да потому, что у него мощная поддержка есть – вера в Бога и непреложность его законов. Поэтому добро и зло в мире Достоевского никогда местами не меняются. Не переворачивается мир, всегда добро – сверху, зло – снизу. И компас – вера православная. Потому Сонечка Мармеладова и скажет: «Что бы я без Бога была?». Действительно – что? Девица с желтым билетом. И только. Но, когда «Преступление и наказание» читаешь, об этом как-то не думается. Не в билете дело...

Полифония же – сильнейший прием и сложнейшая паутина, сеть, в которую души наивных и невнимательных читателей попадают.

И, между прочим, полифония эта, о которой так хорошо нам все М. Бахтин объяснил, – прием очень интересный и живучий. Если перескочить через век, так как раз видим нечто похожее в модерне. Ницше, Достоевского почитавший и на современность чуткий, воскликнет: «Бог умер!». Тоже, кстати, общее место. Но более справедливое – по большому счету. А по малому, индивидуальному, наверное, тоже не так.

Хотя, конечно, именно рубеж 19-го и 20-го веков – это интенсивные поиски бога. Или богов, по крайней мере. Валерий Брюсов, делая широкий и красивый жест начитанного и много знающего человека, спокойно признается:

*Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых.
Я все мечты люблю, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих.*

А вот в рассказе Леонида Андреева «Мысль» главный герой Дмитрий Керженцев приходит к иному – его-то ум как раз изнемог:

«Я окружу себя вашими книгами, я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь, и найду одну вещь, в которой давно назрела

необходимость. Это будет взрывчатое вещество. Такое сильное, какого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного Бога».

У Ивана Бунина в «Господине из Сан-Франциско» корабль с символическим названием «Атлантида» плывет в никуда под знаком Дьявола. Если какой-то бог есть, то лишь собственная самость «нового человека со старым сердцем» (идол-капитан) да еще золотой телец. Мир поистине наоборотен здесь. И любовь – не любовь, а актерская игра за деньги, и удовольствие, на которое рассчитывал безымянный господин, – не в удовольствие ему. Но Бунин не оставляет читателя в полной тьме и все же рисует на древней финикийской дороге двух абруцких горцев, замедляющих свой шаг ради наивной и радостной молитвы:

«На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, мать божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее».

Маловато, конечно, этой легкой пасторали, чтобы уравновесить могучее зло громадной «Атлантиды», но все-таки есть эта картинка, этот свет в конце туннеля. Вот только не впереди он, а позади, в прошлом, в том «золотом веке», название которого отражало вовсе не навязанную людьми «презренную суть» изначально благородного металла. Снова перевертыш.

Отчего же умирает бог? Причин должно быть много. Не одна же причина у столь страшного процесса. По Достоевскому – гордыня, стремление себя поставить на место бога. (Синдром Раскольникова: все смиряются, а я не могу!) Тем не менее, многие писатели видят одной из главных причин человеческую жестокость, выявленную сначала мировой войной, потом революциями, а затем войной уже гражданской. Со страшными картинами войны невозможно смириться. Если бог допустил, то бога – нет!

В этом отношении очень показательны две эпопеи, посвященные войнам. «Война и мир» Л. Н. Толстого и «Тихий Дон» М. А. Шолохова. Война страшна и в романе Толстого, но из нее есть выход, однако он не обретается народом, *«пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью...* Опять же и цель войны важна. В данном случае – освободительная. Святая, значит. Против иноземного захватчика. И герои, оставшиеся в живых, обретают заслуженное счастье.

У Шолохова Мелехов весь перемелен войной. Его бросает в разные стороны, он «меняет окраску» и порой уже не понимает сам, на чьей стороне он борется и почему. Нет никакой святой задачи в этих метаниях. И вот гибнет его любовь – Аксинья. Последняя страница – Григорий с сыном на руках. И никакого бога, только сын – продолжение рода... Но в мире, где правит бал Мишка Кошевой, долго ли жить Григорию... И какова будет судьба ребенка?

Кстати, у Толстого есть намек на жестокость войны гражданской. В эпилоге «Войны и мира» Пьер Безухов говорит об организации оппозиционного правительству общества, еще даже не зная, будет оно легальным или тайным. Но Николай Ростов сразу же предупреждает, что он верен присяге и, если получит приказ стрелять в Пьера, как во врага царя, то он, Николай, пойдет и будет стрелять. Остается вспомнить, что Наташа Ростова – сестра Николая и жена Пьера. А у Шолохова Дуняша – сестра Мелехова и жена Кошечего. Вот такой зеркальный расклад.

И какая из сторон живет в «правильном» мире, а какая – в «наоборотном»? Что? Неясно? Или с какой стороны посмотреть? Вот в том и дело, что нельзя смотреть ни с той, ни с другой стороны. Неправы обе, потому что расколотые половины целым стать не могут. Потому и бога нет, и жить по правде не получается. И больно от этого.

Модернизм – он вообще под красивыми формами боль скрывает. Неизбыточную. И растерянность перед грядущим. В котором богов много, а бога единого нет.

Попытки посмотреть в иной плоскости, конечно, были в литературе. Но все какие-то нестабильные. О боге и войне лучше всего сказано у Булгакова в «Белой гвардии». Алексей Турбин спит и видит длиннущий сон. Не буду весь сон пересказывать, но там Алексей вслед за Жилиным удивляется, как же бог неверующим в него большевистским воинам, бравшим Перекоп, в раю места обустроил. А бог отвечает Жилину замечательной тирадой:

"Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пуццай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут как надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет..."

Ну так это же сон героя. Конечно, тень булгаковских размышлений за этим стоит, но если бога искать, то это скорее в главный роман «Мастер и Маргарита» заглянуть надо. Заглянем?

И кого мы сразу там видим? Воланда – в полный рост, да еще со свитой!. А бог? В Москве его вообще нет, разве что Иванушка Бездомный, сходящий с ума от видения потерявшего голову Берлиоза, с молитвой и иконкой в поход собирается против «консультанта». Так дальше психлечебницы он и не ушел. И вообще в романе «Мастер и Маргарита» добро и зло творят люди. Особенно наглядно это в сцене, описывающей представление в Варьете. Воланд только исполняет желания: хотите конференсье голову оторвать? – пожалуйста. Вернуть голову? – да как скажете...

В главах, посвященных Понтию Пилату поищем? Но Иешуа явно не бог. В отличие от евангельского Христа, никакой божественной миссии своей он не знает и родителей не помнит. В конце романа, правда, Левий Матвей приходит откуда-то (откуда?) и сообщает, что «роман прочитан», но «мастер

не заслужил света, а заслужил покой». Поскольку верный ученик должен разделить судьбу с тем, кого любит, значит, Левий от Иешуа пришел. Но что это за обитель света – так и остается непонятным. Интерпретаций «темных мест» в романе Булгакова мною много прочитано, но как-то неясно все и малоубедительно. Видимо, куда-то все же добрых людей, верящих, что настанет царство истины, определяли. Только кто – непонятно. Не Воланд же! Такое впечатление, что раз каждый получает по своей вере, то царство истины получилось само собой – потому что кто-то в него верил.

Кстати, сам Булгаков, похоже, как и его мастер, в существовании такого царства на земном плане разуверился... И тоже покоя возжелал как высшего милосердия.

Идею М. Булгакова по-своему подхватывает Чингиз Айтматов в романе «Плаха». Его Авдий Каллистратов тоже утверждает, что добро и зло приходят в мир через людей. А поэтому каждый человек вносит свою лепту в то, каким будет бог-Будущее. И каждый в ответе за то, каков у нас бог-Настоящее. Но и тут картина безрадостна – ведь лучшие герои, носители добра, гибнут (Авдий – физически, но не приняв зла душой, а Бостон – став убийцей Базарбая и, соответственно, частью зла).

Плохо в этой концепции только одно – эталона добра и зла нет. Ну, хорошо, Бостон понимает, что совершил, и идет сдаваться правосудию, пополняя собой список благородных преступников: Карл Моор, Раскольников... Кто там еще? А у других людей может быть совсем иная точка отсчета. И в романе «Плаха» таких хватает с лихвой. Один Гришан чего стоит, этот идеолог от наркотического кайфа, «благодетель» неудовлетворенного человечества, считающий, что вхож к богу с черного хода. У него другая точка отсчета, иной мир и иной бог – перевернутый.

А эталоны-то давно утрачены и никакой нравственный императив не спасает. Ничего он не доказывает, потому что не существует. Откуда этому закону взяться? Звездное небо, конечно, вот оно – над нами, а вот есть ли нравственный закон внутри нас – это сомнительно. Для него совесть нужна здоровая. А совесть (со-весть) – это тот же Бог. Но нельзя же искать икс, опираясь на значение этого же икса. Кант в этом отношении выглядит наивно. А может, жил в иные времена. И верил в царство истины. Существование бога себе и людям доказывал. Он иначе, наверное, не мог. А нам-то с вами как быть? Мы-то в какой действительности живем?

А живем мы в эпоху постмодерна. Это такая недействительная действительность после всемирного катаклизма. Кружатся какие-то обломки образов, кусочки идей, обрывки строк... И все хороши, интересны, значимы. И можно их как детали конструктора использовать. Иногда даже причудливые и изумительные строения получаются. Только все не настоящему. Детская игра. Игра в бисер. Игра впавшего в маразм человечества.

Самое страшное – отношение людей к этим обломкам и построениям. Безразличное. Можно так сложить. А можно этак. А потом разрушить и новое слепить... Забавно. Все равно как время убивать.

Вот когда я смотрю на учеников нашей школы (кстати, хорошей школы, отбирающей детей способных и вовсе неглупых), меня поражает все то же безразличие к любым идеям и взглядам. На литературу смотрят не как на живой жизненный материал, о котором нужно говорить и спорить, а как на некую информацию, которую надо принять к сведению. Хотите докажу, что Чацкий хорош? – Получите. А хотите докажу, что Молчалин идеален? Пожалуйста. Кто правее, Пилат или Иешуа? – Так это с какой стороны поглядеть.

Раскольников? А что Раскольников? Ну, убил. Ну с идеей своей носился. Зачем? Дурак был, наверное. Но, если хотите, Мария Вальтеровна, я все про него расскажу. И выводы сделаю те, которые нужно. А какие нужно – это вы подскажите. Поиграем в эту игру. Почему бы и нет, если это нужно для получения аттестата? Зачем всерьез-то копыа ломать, если все лишь «слова, слова, слова»? И они дурно пахнут. Потому что мёртвые. (А это уже отсыл юного интеллектуала к Николаю Гумилеву – научила же на свою голову!).

Это я не обо всех, но о большинстве, к сожалению. Постмодерн какой-то в головах. А в душах? Позвольте, но гипотеза о наличии бога нами так и не доказана. Зачем же тогда говорить о душе?

И, возвращаясь к Достоевскому, вдруг понимаю, что он все это предсказывал. И предостерегал от такой картины. Потому что в его полифонических романах каждый герой уже имеет свою платформу, свой мир и свои ориентиры. Вот мир Мышкина. Вот мир Рогожина. А вот – Настасья Филипповна. Мир Аглаи Епанчиной. Мир Ипполита. И каждого послушаешь и подумаешь – он прав...

Только Федор Михайлович это многомирие адом считал. И выход из него искал. И находил – только в боге и чуде. Почему Раскольников вдруг просит Сонечку почитать ему про Лазаря? Потому что чудо ему необходимо. Умер Лазарь и уже разлагался, но пришел Христос и воскресил его. Душа Раскольникова умерла, придавленная, как упавшей балкой, наполеоновской его идеей, а потом – вдруг – без видимой причины – сон на каторге во время болезни приснился, переворот какой-то произошел в нем. И можно все сначала начинать. Новый мир строить. С Сонечкой и с богом. Если это не новый соблазн и не прежнее желание быть в числе немногих избранных. Только методы спасения иные...

Но этот финал – чудо. В него тоже верить нужно. А есть ли вера у нас? Еще в 1851 году Ф.И.Тютчев с горечью писал:

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...*

*Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»*

Стихотворение, кстати сказать, называется «Наш век». То есть век 19-й, который нам сейчас представляется из нашего 21-го вполне уютным и для жизни неплохо приспособленным. Впрочем, Раскольников лирическому герою этого стихотворения родной брат. Младший, правда.

Но мир здесь уже явно переворачивается. И ориентиры утрачиваются. И человеку от этого тяжело невыносимо. Это еще не наоборотный мир, но стоящий на грани переворота. Но гордыня не дает просить веры...

«Не верь, не бойся, не проси» – лозунг иного времени, но оно не за горами.

Итак, к чему пришли? К простенькой мысли, что без бога, пожалуй, не выжить. Потому что только этот образ дает нам некое понятие верха и низа, добра и зла, света и тьмы. Так компас указывает нам на север, потому что иначе нельзя. Потому что иначе теряется всякая ориентация. Потому что бог – это абсолют, эталон некий. И если он не существует объективно, то мир рушится. Потому что в мире наоборотном жить невозможно – сорвешься в бездны многочисленных мнений. А они все мнимы. И не спасительны. Даже если привлекательны и красивы. Но не спасает мир красота, не в силах она это сделать. Вот «кабы добра была»...

Александр Медведев

РУССКИЙ АВАНГАРД: СЛОЖНОСТЬ ПРОСТОГО

Столпы русского авангарда – Казимир Малевич, Павел Филонов!.. Их имена, что «Имя Пушкинского Дома / В Академии наук! / Звук понятный и знакомый, / Не пустой для сердца звук!» Русский музей, Третьяковская галерея, мировые аукционы, красочные каталоги и альбомы репродукций, тысячи статей, сотни книг о неистовых новаторах изобразительного искусства XX века.

Скольким гражданам по сию пору не даёт покоя загадка «Чёрного квадрата» Малевича! А можно ли счесть молодых художников, вчитывающихся в тайнопись Филонова о «сделанных картинах»? Кто из творческих людей под их влиянием не мечтал стать таким же «очевидцем незримого», как они?

Но есть и обратная сторона загадки «Чёрного квадрата» – нищенски законченные жизни зачинателей русского авангарда. И посмертная слава, на которой наживаются люди, далёкие от подвижничества во имя нового искусства. Люди, ничего не ценящие, кроме денег и комфорта. Люди «харчевой культуры», как называл таких Казимир Малевич. Циничные хищники, им что классика, что авангард – всё едино, и если что-то интересно, то как выгодный товар.

Знаменитая Елена Рубинштейн, наводнившая своим парфюмом планету, приносящим ей несколько миллионов долларов в год, слыла ценительницей современного искусства. Как-то она подвела к стене своей нью-йоркской квартиры знакомую:

– Я покажу тебе самую чудесную работу Шагала, которую ты когда-либо видела.

Та не поверила своим глазам.

– Елена, это же Матисс.

– Ты полагаешь? – не растерялась Рубинштейн.

Какая разница, Матисс, Шагал, Кандинский... – то же, что доллары, евро или фунты. Сумма остаётся по-прежнему растущей от аукциона к аукциону, а потому хоть горшком назови.

Изначально целью авангарда было обновление, возвращение к незамутнённым истокам. Примитив как первое, девственное, неожиданное явление. Прекрасная идея, к её достижению должен стремиться каждый художник. И многие посвятили этому жизнь. Шаг за шагом двигались к простоте мысли, чувства, исполнения.

Оказалось, что простота бывает разная.

Есть простота как высшая форма сложности. Греческая статуя. Видимо, её имел в виду Энгр, пеняя «ищущим» художникам, что всё давно уже найдено, надо лишь попытаться приблизиться к этому идеалу. Он добавлял: не бойтесь пытаться, у вас всё равно не получится, поэтому будьте смелее.

Чаще встречается простота, которая хуже воровства.

Кстати, талантливо «украсть» в искусстве не только не постыдно, а необходимо! Высокое искусство абсолютно всё основано на заимствованиях. В «Завтраке на траве» Мане повторил композицию работы Марка Антонио Раймонди. Матисс позаимствовал у Гойи хоровод фигур для шукинского панно «Танец». Своих играющих мальчиков Петров-Водкин воспроизвёл, любуясь греческой скульптурой с аналогичным сюжетом. Мухина «Рабочего и колхозницу» изваяла, взяв за основу динамичные позы древнегреческих тиранборцев Гармония и Аристогитона.

Любители истории искусства могут продолжить перечисление подобных «краж». У любого выдающегося произведения, так или иначе, можно обнаружить прототип. Есть и у «Чёрного квадрата» Малевича, и не один. Самый известный, пожалуй, картина Пола Билхода (Paul Bilhaud), показанная в 1882 году в Париже на выставке «Искусство непоследовательных». Чёрный прямоугольник назывался «Negroes Fighting in a Cellar at Night» («Ночная драка негров в подвале»).

По воспоминаниям Андрея Белого, только высокодуховные, интеллектуальные люди, прогрессивные умы могли увидеть в «Чёрном» и «Красном квадрате» небывалую мощь нового слова в искусстве. Историк культуры, мыслитель Михаил Гершензон, превознося эти творения Малевича, «клокотал» в восторге, в то время, когда сам художник ещё не постиг их величия, вспоминал А. Белый. Для поэта-символиста и после экспрессивной лекции Гершензона значение выдающихся картин не стало очевидным: «Ну, да, квадраты...», недоумевал А. Белый.

При жизни Малевичу и Филонову, да и остальным русским авангардистам, не довелось получить дивиденды от плодов своих трудов. Зато они добились такой простоты и ясности художественного высказывания, что говорить на их языке нашлось много охотников.

Заговорили.

Чистая комбинаторика, фаршируй холст геометрическими фигурами, вплетай отрезки линий, чем не супрематизм? Казалось бы, чего проще. Вот именно, казалось! Но что значит твой разговор без жизненной, легендарной основы, – без дерзких «побед над солнцами», без жизни впроголодь и смерти в блокадном Ленинграде, без легендарной подписи, в конце концов? Ничего не значит и ничего не стоит – ну, да, квадраты...

И тут тебе, художнику до мозга костей – мне денег не надо, работы давай! – умные люди, заполняющие мозги публики всевозможной «косметикой», подсказывают простую до гениальности идею. Видимо, всё-таки не абсолютен Энгр, не всё найдено в искусстве. Напомнили, что в юности, ещё будучи «безымянным», Микеланджело высек «древнегреческую голову», закопал её, чтобы находку действительно приняли за античную драгоценность.

Так вот оно что! Стало быть, надо увеличить объём наследия столпов авангарда! И – да, твори, выдумывай, пробуй – только обеспечить легендарную подпись. А «закопать и счастливо отыскать» – наша забота. Аукционы,

выставки, искусствоведы, эксперты и прессу обеспечим. С нашими-то возможностями!..

Дело обретения неизвестных работ русских авангардистов налажено надёжно. Варьировать незамысловатые орнаменты, псевдо-примитивные портреты и фигуры, нанося их на старые холсты, фанеру, бумагу, художнику-профессионалу да с искусственным-то консультантом не составит труда. Теоретическая база обеспечена и всё ширится, искусствоведы не устают славословить непостижимые высоты и нечеловеческую работоспособность дерзких кудесников, русских авангардистов.

Время от времени возникают разногласия среди людей, наводняющих мир «косметикой», относительно подлинности той или иной счастливо обретенной жемчужины русского авангарда и они подряжают кого-то из экспертов высказать сомнения. Правда, эксперты всё реже и реже остаются последовательны в опровержениях. Это опасно. И суды всё чаще выносят решения в пользу подлинности вновь обретаемых и предъявляемых миру шедевров.

В начале 1990-х годов механизм получения художником популярности был раскрыт новоявленными российскими акционистами. «Отрезанное ухо Ван Гога» – скандал делает художника известным, даёт ему имя и открывает доступ к кассе. С устоявшейся частотностью СМИ оповещали российскую общественность о всевозможных скандальных выходках, устраиваемых личностями, уверяющими общественность, что они самые-самые «современные художники».

В самом деле, их имена становятся на какое-то время известными. Они получают неплохое вспомоществование от зарубежных благотворительных фондов, а в последнее время даже и от российских официальных институций. Однако же в отличие от бесконечно долгоиграющего русского авангарда – всё-таки там именитые вещи, пусть куски фанерки и лоскутки бумаги – их «произведения» не выходили за рамки политизированного балагана. «Имя», не подкреплённое «вещью, проверенной временем» – товар одноразового пользования.

И хотя это шоу, по-видимому, будет продолжаться, но без поддержки реальной вещи, без своего «чёрного квадрата», который можно многократно продать, скандальный акционизм не конкурент бездонному колодцу русского авангарда.

Владимир Меньшиков

КРИТИКА

Читая Василия Ивановича Чернышева

Василий Иванович – известный в Петербурге и, надеюсь, на всех необъятных просторах нашей Родины – Правдоискатель. Он же народный философ, столичный и провинциальный мыслитель, неустанный сеятель и собиратель доброго и непреходящего. Но не самодеятельный просветитель, поскольку у него имеется статус и журнал, а это вам не журавль в небе, и не единственная синица-страница на руке, поскольку подобных страниц-синиц в каждом номере издания – порядка двухсот. Весомо, многопоказательно.

Василий Иванович не просто редактор журнала, но так же является действующим прозаиком, поэтом, публицистом. Тематический круг его интересов невероятно обширен. К такому выводу приходишь, начиная читать «Заметки редактора», имеющие подзаголовок «Дым Отечества». Автор буквально-таки теребит Россию, как гигантский сноп, выдергивая из нее то одну, то другую проблему-соломину, а проблемы и темы все крупные, известные и вроде бы доступные для понимания и решения, но на нашей почве, пребывающей чуть ли не в интернациональной собственности, увы, нереализуемые. Наша русская инертность в решении глобальных вопросов как раз и обусловлена этим вирусно приобретенным, ставшим «родимым» и уже неизбывным «интер».

Кстати, и «Дым Отечества» – определение очень сомнительное. Это, надо полагать, некое летучее вещество (газовая масса или даже субстанция (субботные танцы), которое, хотя и приятно для обоняния, вроде бы стихийно-самостоятельное, но все же находится под влиянием и управлением неких тайных сил, отравляет, задурманивает головы, мешает делать правильные выводы и выбирать единственно верные решения. По мне так куда лучше сочетание «Воздух Отечества», хотя и его могут запросто испортить некоторые влиятельные «пукалы» и «нукалы». «Дым Отечества» все же исходит от очень даже подозрительного Пушкина, дым похож на парик скрытности, и при этом вспоминаются всякие черные (совершенно противоположные по своим убеждениям Василию Чернышеву) люди, заключающие чудовищные пари, допустим, на то – сколько еще продержится Россия?

Нет, лучше быть сеятелем всего русского, но еще и рассеятелем всяческих темных дымов, которые образуют устрашающие завесы, таинственные перекрытия. Рассеивать – это все же ближе к нашей Рассее-России.

Читая Чернышева, видишь, что перед тобой пребывает натура светлая, отзывчивая, широкая. Его не ограничить пределами какой-то подборки, пределами журнала или периметрами, свойственными конкретному редакторскому кабинету, поскольку такого у Василия Ивановича, выразимся изящно назло редакторской правке, просто напросто нету. Наш автор

всегда в массах, в толще народа. Он мне представляется таким петербургским уличным пропагандистом, попеременно держащим в деснице то свой журнал «Русские страницы», то журнал «Агитатор» (советской поры). И этот много-тиражный (полумиллионник) печатный орган потому подходит Чернышеву, что и наш редактор-писатель стремится к максимальному распространению как по территориям, так и по численности читателей. Причем я не собираюсь сунуть ему в руку журнал с коммунистическими пропагандистскими материалами, пусть это будет «Агитатор» с подзаголовком «всего русского». У Чернышева имеются свои, присущие только ему убеждения и взгляды на историю и современность, поэтому очередной номер издания можно, к примеру, снабдить названием и подзаголовком «Агитатор (белого движения)». И вот здесь выявляется совершенная самобытность, незаурядность мышления Василия Ивановича. Будучи истовым сторонником Белой идеи, он в тоже время недоверчиво и неприязненно относится к Иисусу Христу и православию. Но Белая гвардия без Христа и без креста – это как белая водка без пива. Не берет... Но и с Христом и с православием, с крестами и хоругвями она тоже не оказалась по-настоящему крепкой, напроць разящей и валяющей вражью силу.

Тяжело решаются вопросы в России. Или вообще не решаются. Придумана даже чуть ли не математическая формула (Чернышев занимается еще и высшей математикой), что, главное, уметь правильно и своевременно поставить вопросы. Видимо у выдающегося лирика Николая Рубцова имелась некоторая тяга к точным наукам, в частности, к геометрии, ежели он так умело «вписал» в пространство основные атрибуты православия:

И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях
России.
Кресты, кресты...

Применимо к Чернышеву (а он не является очернителем) эти строки можно расписать в таком виде: «...лес вопросов ... Вопросы, вопросы... Я больше не могу!». И действительно повсюду они, даже на кладбищах над могилами – не кресты и звезды, а знаки вопросов. Они же знаки скорби.

Вся Россия – в вопросах. Вопроссия. Вопльрбссия. Даже у VIPрбссии они имеются. Не было их только у матросов революционного Балтфлота?

Интересно, что Редактор по ходу своих «Заметок» не вскользь, а грубо и по-матросски вопрошает, почему нет его портретов на страницах известных журналов? Тут же ворчливо отвечает себе и нам: «Ну нет, так нет», – но мы-то знаем и мы-то подкажем, что в собственном журнале они имеются, и стало быть амбиции хотя бы по этому вопросу должны оказаться удовлетворенными.

Но в «Русском журнале» неоднократно встречается замечательный фотопортрет, фотоснимок Топора. Да, да, самого обыкновенного топора. А это уже символ, знак. Тут приведу слова самого автора: «... мне кажется, я не

умру. По крайней мере, *весь я не умру*. Впереди еще много работы, и не только в деревне, и я непременно укореню в нашей общественной жизни и «Журнал с топором», и «Товарищество писателей» и только потом отправлюсь в какой-нибудь дальний поход... а там будет видно...».

А в дальний – это в какой поход, Василий Иванович? Если сабельный или топорный, то я за них обеими руками (пока их не отсекли).

Да, нужен такой журнал «Топор» (тупой и острый). Можно представить, что он окажется в руках мужика, и тот начнет рубить головы боярам (чинушам). Да только за одно название «Топор» Василий Иванович (хотя можно назвать и «Шашка») обретет огромную популярность в родной стране. Даже начнут, как о Чапаеве, слагать легенды и былины.

А теперь расскажу про случай, который произошел с Чернышевым совсем недавно. 14 декабря нынешнего юбилейно-революционного 2017 года он оказался в семнадцать часов на Сенатской площади с букетом цветов, чтобы поучаствовать в мероприятии в честь или в память очередной годовщины восстания Декабристов 1825 года. Увы и ах, никаких митингующих и протестующих, ни киллера-террориста Каховского, ни песни о Каховке (родной винтовке). «Такое впечатление, что все от меня попрятались. Будто не с букетом, а с топором на площадь пришел», – потом рассказывал Василий Иванович. В любом случае выход на Сенатскую площадь редактора журнала «Топор» как бы является ознаменованием начала Мужичьего этапа в освободительном движении России. Если помните, то Декабрьское восстание 1825 года дало старт так называемому Дворянскому этапу в революционной истории государства. Потом последовали разночинский, пролетарский... Пора бы начинать очередной Мужичьий или Мужиковский...

А вдруг это не этапы освобождения, а этапы закабаления России? Вполне возможно. Ведь на протяжении веков против нас действуют мощные русофобские силы. И теперь они не унимаются, а всемерно стремятся оскорблять и ослаблять нас. Буквально на днях идеологически замордованная, засанкционированная Россия, совсем позабыв о вековой гордости великороссов, приняла позорные условия участия на ближайших зимних олимпийских играх – без государственного флага и без исполнения национального гимна.

А на различные политические шоу, проводимые на центральных каналах телевидения, приглашаются так называемые эксперты и политологи из ближнего зарубежья, которые, зная о своей безнаказанности на территории либерально-продажной России, безбоязненно и безоглядно оскорбляют ее саму, ее людей, и, очень странно, что и ее президента до кучи. Какой-то у шоу подозрительно кислый соус и приправа-отрава западной идеологической подачи.

А теперь снова дадим слово самому Василию Ивановичу (хотя выражение «дать слово редактору в его журнале» звучит как-то противоестественно). Вот что он пишет: «Проблема у русского писателя или философа одна: русское мещанское болото, которое не пьет (лучше бы пило) и не курит, ночует дома

(тоже не всегда хорошо), видит в России трех-четырех человек, включая сюда Сталина, которого уже не оживишь... Неужели я пишу для них? За последние две недели мне было задано несколько вопросов, на которые я не успел ответить, да они меня и не слушали, вероятно, и не прочитают, но все же я на эти вопросы отвечаю (только не обижайтесь, я не пишу, что это вопросы из болота, а я будто отвечаю, сидя на берегу. В болоте сижу я, дьявольское государство вместе с обывателями меня туда толкнуло, из болота я и пытаюсь квакать)...». Данный отрывок, как впрочем, и все «Заметки редактора» являются криком безнадежности, одиночества, боли, равной по своей остроте и пронзительности отчаянию Федора Михайловича Достоевского. Это глас вопиющего в болоте!

Но поскольку для нас привычнее и понятнее выражение «глас вопиющего в пустыне», то я буду иметь в виду пусть не сахарную, но песочную – Сахару. Представим, что в совершенном безлюдье, среди нескончаемой шири песков кричит и кручинится о наболевшем писателе Чернышев. И тут вдруг прилетают российские самолеты с близкой военной базы и, сбрасывая бомбы, засыпают и заваливают песком рот русского народного агитатора, будто он опаснее и страшнее любого из игиловцев. На одной из страниц «Заметок» Чернышев откровенничает: «Что я пишу?.. Это прокламации, и это я понимаю». А вот реально или не реально разбрасывать их на болоте или опять-таки в бескрайней пустыне? Они, листовки, шелестя, покатаются по песку, достигнут периметра военно-воздушной базы Хмеймим и снова взлетят наши буржуазно-демократические бомбардировщики утихомиривать вопиющего русского народника. Впрочем, зачем устраивать воздушную охоту на одиночку-смутьяна хоть в пустыне, хоть на болоте? Информационное мировое, в том числе и российское, поле сейчас перенасыщено всякими новостными источниками, СМИ, что можно легко представить картину: пропагандист попадает в болотные и пустынные пространства, в которых на каждом третьем квадратном метре стоит типовой желто-зеленый киоск с газетами и журналами любой направленности. И тебе эти хи-хиоски уже не переплунуть.

И еще о прокламациях. Уверяю, их действие вызовет совершенно противоположный эффект, если из содержания удалить появившееся невесть откуда пусть даже ироничное упоминание о Маше Гайдар. Наоборот, Василий Чернышев как выходец из сибирских казаков должен бы всю свою белогвардейскую злость вложить в кавалерийский удар по этим красно-желто-пузым, крашенным-перекрашенным Гайдарам. Нет, насчет Марии Егоровны Василию Ивановичу явно изменил вкус. Пусть на таких полит-девиц западают Саакашвили (Исаакашвили). Я никогда не поверю даже в малую симпатию нашего автора к Мане на Майдане. Не занимается же Чернышев обелением. Не Бельшев же он. А вот то, что иногда включает в себе «провокатора» и пересмешника – это очевидно.

Таков Василий Иванович и в стихах. Например, с нескрываемой усмешкой и с лукавостью в глазах объяснял мне смысл выражения «канавы вкус», впрочем, без рифмовки со словом «Иисус». Чернышев знает толк даже

в специфическом религиозном юморе. Ну а вкус, если и изменяет редактору, так только в исключительных случаях, и их можно списать на тягу к «провокативности», которая в любом случае прокатит.

Свои заметки по поводу «Заметок» хочу завершить пронзительными строчками из поэтических творений редактора:

Печку натоплю, стол накрою,
Чай заварю, помою чашку,
Что-то позабуду, иное скрою...
...В нашу ли дверь стучатся? В нашу!

А про то, кто стучится и из каких побуждений, узнаем из продолжения «Заметок Редактора». При этом постараемся настроиться на позитивные эмоции, к чему располагает сама личность неустанного литературного труженика Василия Ивановича Чернышева.

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

(О творчестве Александра Медведева)

Я еще только учусь критиковать. Крыть и ковать. О, если бы теперь возвратились в новейшей русской редакции железные порядки 30-х годов, диктатура пролетариата и стиль сталинского тиранического правления, я тут же занялся бы массовой лагерно-репрессированной перековкой огромного народонаселения СССР. Я, как говорил один из великих В.В., заставил бы уважать заново знаменитую 58 статью УК. Щучу, ведь сам тянул срок-крохотулю за дулю (но не карманную) в адрес советократии.

Но не пойду на чекистскую выучку к Иосифу Виссарионовичу, а желаю черпануть поболее из черепа Александра Васильевича Медведева. Про него не скажешь, что он неуклюжий, мохнорылый и толстолапый простак, наоборот, – подвижный, ртутный (тут-ный) мыслитель, эксцентричный и сценичный, а, может, даже и циничный исполнитель не очень-то зажигательных «медвежьих плясок», «мишкиных танцулек».

Я с ним вел разговоры всего несколько раз, но по ходу их продвижения не забывал спрашивать литературоведа о методах написания его работ. Вот мне-то Александр и сказал, что можно начинать статью, скажем, с названия рецензируемой книги или с «разбора» фамилии автора. Если он Печкин, то почему бы не начать плясать от печки, а если Свечкин, то – от свечки, которую в зависимости от ситуации могут держать перед церковной иконой или над любовной кроватью. А если фамилия писателя Медведев, то от него-то и перед ним особенно не попляшешь, схватит, поднимет за шкребень и по-медвежьи пробуровит: «За что боролись, на то и напоролись». И правда, ведь как техноязычник много писал о национальном Медвежье-тракторном Движении и вдруг попадаю в лапы, предположим так, реалистично думающего зверя (не с эмблемы ли «Единой России»?), но никак не либерально-демократического.

Я уже давно классифицировал медведей по партийной принадлежности, по идеологическим и религиозным признакам и вслед за выдающимся поэтом-националистом Б. Корниловым описал лесную или столичную Драчку между медведями-писателями. Примером служит такой стих:

Русский – русского...

*«Там медведя корежит медведь,
Замолчи! Нам про это не петь!».*

Б. Корнилов

Накурившись, пошел в темный лес,
Что стоит за цветастой деревней.

Там гоняет, шугает Велес

Иисуса религией древней.

Мускулистый языческий тип

Иудея таскает за патлы.

Прикрывается шляпкою гриб,

И стучат на озлобника дятлы.

На опушке – грибов разных, чтоб

Из коричнево-красненьких шляпок

Побыстрее слепить, сладить гроб

Для того, чьи деяния – ляпы...

У медведей такой же сыр-бор,

Потому что различны их боги.

Православных медведей собор

На зимовки берет из берлоги.

А в июле меж ними бои,

Мордобой со своей подоплекой.

Верх берут то «мои», то «твои»

В потасовке духовной, высокой.

Не слышны голоса поэтесс,

Не горят замирения свечи.

Вне медвежьего регби Велес

Иисуса продолжил увечить...

Вдруг Христос начал зверствовать тут,

Колотя лбом врага о деревья.

Но про Яхве, Луну и Талмуд

Знать не хочет глухая деревня.

Есть оккультные быль или Билль,

Иль Указ – в применении узкий, –

Чтобы клёмшил, безжалостно бил

Да корежил здесь русского русский.

Надеюсь, что мы-то с А. Медведевым не станем таскать друг друга за молодецкие вихры и применять, мама, убойные приемы из ММА. К тому же он критик заматеревший, забуревший, а я медведь «зеленьский», работающий на новенького.

Что и говорить, мне требуется подучиться. Вот, например, Александр как литературный исследователь сумел добиться такого эффекта, что я, прочитав его статью «От Сенатской до Болотной» о книге Ю. Серба «Площадь Безумия», сам роман, который якобы «не без ума», читать уже не пожелал, хотя произведение было широко заафишировано и зарецензировано, словно «Тихий Дон».

Ага, тихое помешательство и неудержимое безумие. А употребив даже в сокрытом виде по отношению к писателю определение «автор-публицист», Медведев как бы «убивает» сочинителя и его, судя по названию, большое прозаическое произведение. Я же, уподобясь Александру и переиначив название книги в «Лошадь Безумия», для которой – дурной – семь верст не крюк, пожелаю романисту Ю. Сербу, чтобы он поспокойнее отнёсся к незначительному, почти незаметному «ю-щербу» имиджа.

Медведев – это опытный литературный киллер (когда надо). Его не назовешь ни чувачком, ни сливным бачком, ни размазней, поскольку попытался буквально размазать публициста Г. Мурикова по стенам 26 аудитории на Звенигородской, внятно и неприятно заявив, что влияние евреев и масонов на ход трех революций в России было мизерным. В данном случае я оказался сторонником Геннадия, и мы, использовав весь ментовский и фээсбээшный ресурс частицы «МУР» из его фамилии, лишь кое-как отмазались, отскреблись от идеологического клейма «антисемиты».

Являясь востребованным критиком, он все равно берет на себя смелые и рискованные функции бомбиста на всех русских площадях политического безумства. Что Александру стоит подкинуть в ноги все тому же отважному прозаику Сербу бомбу-вопрос: «Почему такой человек (главный герой) стал интересен автору романа?». Ничего себе спросил... Но о ком тогда писать, пусть тогда уж сам критик Медведев нам, поэтам и прозаикам, покажет, даст хотя бы примерный образец, «болванку» героя – не болвана. Может, это член НБП, я серьезно, не с реальной лимонкой, а с одноименной «Л... кой» – газетой в правой руке?

Может, лучший новый герой – это мертвый герой? Никто что-то не знает. Но если Александр ведает, то пусть опишет его хотя бы в приблизительном, полемическом виде.

Медведев как почти каждый критик и литературовед – не без странностей. Он может пройти и специально не заметить отличные образы и метафоры, а, если пожелает, то не побрезгует наклониться над дерьмом, взять его в артистические руки и, приблизив ближе к глазам, «любовно» или презрительно откомментировать. Но это его выбор, выбор свободного критика, на который он имеет полное право.

Теперь про цитирование. Я, например, из простых ребят, которые стараются обходиться без упоминания фамилий классиков и их а-форс-истических (и такие бывают) высказываний. Например, Муриков носится со своим сомнительным кумиром Мережковским, словно заядлый рыбак с мерёжей-мордой по кромке берега с непроходящим желанием в нее, а потом

уже и в себя поймать некую рыбу воображения. А по мне, поскольку почти ничего не могу запомнить из многопрочитанного, так все равно что Мережковский, что Бережковский. Но это не я берега поупугал и не собираюсь даже под давлением влиятельного Геннадия Мурикова оправдывать враждебную деятельность (хотя и разномасштабных) Власова и Мережковского против Советской России.

Кстати, Медведев умеет делать так, что не он работает на цитату (это уже вторичность), а, наоборот, когда красивый, «барский» афоризм словно афера наоборот, пашет «по-крестьянски» на критика. Нет, он не «умничает», используя высказывание В. Розанова «И вот тут зарыт в нас древний Каин», а вполне разумно делает собственное дополнение о глубине залегания этого Каина в толще русского народа-богоносца. Могу и я, абстрагируясь от сказанного, поварьировать – «Насколько далеко из бочки высунулся философ Диоген?» или «Глубоко ли в просвещенном Медведеве сидит дремучий медведь?». Но это я уже выяснил, хотя и не до конца, поскольку Александр, повторяю, подвижен, эксцентричен, умело пользуется демократическим правом высказывать диаметрально противоположные суждения. Например, у него в один флакон слиты из мини-шкаликов сладкий гламурный напиток «Золотой сон» и горькая, убойная настойка «Октябрьская Революция»...

Важно, что он работает широко, на Россию. По мне, так это его главная заслуга.

ПОТОМУ ЧТО ГЕРОЙ

После того, как я онкологически заболел и ослаб, прежде всего физически, некоторые люди из нашего СП (на контрасте с большой помощью, оказанной мне председателем Б. А. Орловым) стали относиться ко мне высокомерно и просто подло. В числе таких заносчивых коллег могу назвать и молодого поэта Р. Круглова, с которым мы договорились, что он прочтет мою новую книгу и напишет небольшую рецензию, но данное обещание он проигнорировал.

Что же, поскольку сено лежит и не двигается, то я направился к сену или к «Гербарии», так называется кругловская книга, и если сначала собирался сожрать ее вместе с автором, но как великодушный язычник пожалел и, пробуя заняться чтением плохо зарифмованных виршей юнната или стопроцентно питерского Ботаника, стал своим копытом переворачивать страницы книжки и вскоре наткнулся на следующие исповедальные и даже как бы извинительные строки:

Не носить бы креста своего, а примерить чужой –
Убедать на войну добровольцем за быструю смертью.
Смесь тоски и вины заменить зажигательной смесью –
И не скажет никто, что я трус, потому что – герой.

Конечно же, герой, – отшил дедулю Меньшикова и, дуя в свою демократическую дудулю и показывая то одним, то другим дулю, продолжил как ни в чем не бывало свою активную деятельность. Если отмотаем ленту строк назад (а Круглов, оказывается, имеет отношение и к кинематографу), то, вновь прочитав выделенную строфу, согласимся с предположением, что в ней поэт показал «в полный рост» одну из вех своей еще молодой жизни и творческой судьбины – вступление в СП России (петербургское отделение) и первые годы пребывания в нем. Тут уместны и православный крест, и видимость, даже очевидность перманентной и тотальной войны «нашего» союза с «не нашим» сообществом городских литераторов (где Роман, возможно, тоже не чужой), и уготованная именно Круглову героическая роль, хотя где-то и примиренческая, но – пока – не пораженческая в больших и малых писательских столкновениях и выяснениях. Как неплохой знаток истории и литературы, а так же поднаторевший полемист и критик Круглов, несмотря на свою молодость, кем-то считается незаменимым в разрешении или усугублении некоторых конфликтных ситуаций внешнего и внутреннего толка. То есть Роман – фигура не эфемерная, а конкретная, скажем даже, влиятельная, ну почти героическая, хотя и с несколькими погрешностями:

Сироте моему не расскажут, что я самозванец,
Те, кто собственный крест, настоящий, несут на войне.

Впрочем, в нашей организации состоят еще и люди, являющиеся носителями не крестов, а красных советских звезд и вовсе не сатанинских или дьявольских. Вообще-то, что крест, что звезда – это из области обозначки, атрибутики, это больше внешний фактор, чем глубинный для писателей-патриотов.

Между тем проявилось несколько вычурное определение: Роман Круглов – патриот России. Правда ли это? Соответствует ли суровой действительности? Что-то я не прочитал у него ни одного патриотического стиха. Более того, в книжке ни разу не встретились слова «Россия» и «Родина»! Ах, они для него настолько святы, что не хочет замызгивать их от частого употребления? Но скорее всего он и другие молодые поэты чужаются этих слов и стесняются показать свою причастность к России и называться русскими? К сожалению, такие версии имеют право на существование и кажутся очень правдоподобными. Дошло до полного маразма, что слово «Россия» в книжке «Гербарий» встречается только в выходных данных и то в полном названии СП, который приютил это юное дарование и дал ему безумно привилегированную путевку в Большую литературу.

А Роману, которому на сегодня всего 30 лет, на пребывание в литературе выделено годков, ой-ой-ой, много, как вагонов (не дай бог, из них несколько «столыпинских») да еще с маленькой тележкой. Но судя по поэтическим манифестам, Круглов, не смотря на всю свою скрытность и умение, как у известного колобка, «уходить от дедушек-бабушек, не собирается становиться «вагонщиком» или «тележником» в литературе. Понятно, что мечтает быть Локомотивом современной поэзии, но как «скромняга-метафорист» свою роль в литературном процессе видит так:

Бейся лбом в небеса, трепыхайся, гори,
 Свету белому усиком черным грози,
 А закончатся силы – ты лапкой скребись
 И тарашь свои жадные бусинки в высь...
 Эти крылья, что не донесли к небесам,
 Станут огненной книжечкою между рам.

Этакий крылатый жучок, букашка, красно-черная бабочка с бусинками глаз. Какое жуткое и милое умаление, самоуничужение.

И в тоже время, судя по строчке «свету белому усиком черным грози», – фюрер, наци Гитлер, литературный и политический вождь. И в этом плане Круглов очень похож на одного из поэтических фронтменов – Евгения Евтушенко – с его актерством, с глобальным самовтаптыванием и максималистским возвеличиванием.

Но как себя не превозноси, как ни предьявляй читателю целую череду действительно сильных строк, но за некоторые огрехи, особенно за так называемые вольные рифмы, надобно бы бить Романа прямо-таки по языку. А если говорить о литературном течении, – «на поэтической реке – веслом по пишущей руке». Ну что, право, за рифмы-риффы, что за безобразие: «гори-грози», «земли – след», «бери-земли». Или несомненно удачного по мысли двустушия:

«Говоришь мне «ты мой». Что же? Вот я, бери...
 Надо мною смыкаются волны земли», –

без такой по-ученически «двоешной» рифмовки не было бы совсем? Ага, нет Бога-редактора, значит, все дозволено?

Ладно! Не станем втаптывать его в землю, а пока остановимся на том, что Роман Круглов поэт не от бога, а от ангела, скорее всего бесноватого, а ряд мыслей о творчестве данного автора оставим на потом. Сохраним кое-что для следующего хода, а если надо, то и для удара, ведь «героические личности» так и рвутся на авансцену и в литературные бои, к тому же с такими устрашающими высказываниями: «Факт искусства – это упавший на голову кирпич», что аж оторопь берет. Да если бы только с высказываниями, а то ведь и с настоящим кирпичом в руке объявится. А против кирпича, сами понимаете, в нашем преимущественно православном СП не спасет ни крест, ни свеча. Вот какие ребята-герои имеются в нашем патриотическом союзе, и в преддверии 23 февраля особенно хотелось отметить их конфликтно-боевые заслуги, что я и сделал. Ну и для закругления заметки хочу предложить вашему вниманию такие строки того же самого Круглова:

И ни гибель во имя победы, ни даже победа
 Не изменят того, что я битву тогда проиграл...

От редактора. Круто! Но на то и щука в море, чтобы карась не дремал! А то уж и топор заржавел и не рубит. Терпите, авторы, то ли еще будет! Не для того задумывался журнал, чтобы вымачивать литераторов в сиропе...

Людмила БУБНОВА

НОВЫЙ! НОВЫЙ! НОВЫЙ!

«Новый; русский журнал литературной и философской критики, прозы и поэзии» начал выходить под покровительством Союза писателей России. СП России – «Товарищество писателей в Петербурге», давно и долго отверженное страной и читателем, и только город Санкт-Петербург, не желающий жить без писателей, предоставил нам Дом, и мы, существующие на общественных началах, с несказанной радостью обживаем его на все 200%.

В 2016 году СП обрёл уверенность и оживился – начал издавать «Новый...» журнал!

Издавна издаётся у нас газета «Литературный Санкт-Петербург», но журнал не сравнить с газетой: в журнале помещается больше живых слов родного языка, единственных в своём роде художественных фраз и философических мыслей. А это не «коды» и «знаковые» термины электронных средств. Писатели с жадностью «набросились» на журнал: если в № 1 в формате 60х90/15 было 212 страниц, то двоянный № 6–7 – более 240, и этот рост не окончательный. Надо сказать: разных самостоятельных журнальчиков вокруг немало издаётся, но какой спрос с «домашних заготовок»? СП России – профессиональная организация с 60-летним стажем – берётся за дело ответственно перед самим понятием «русская литература». В ответе станут и сами писатели, с них строгий спрос. Журналу предписан «Редакционный Совет» (на общественных началах), состоит, как полагается, из писателей – членов Союза. Редактирование и составление удивительно смело взял себя В.И. Чернышёв (на общественных началах).

Кто такой и почему так смело? «Новый...» журнал не финансируется никем – Союз писателей бессребреник, как и Редсовет. Василий Иванович в Союзе писателей с 2002 года – бескорыстный, как все авторы. Журнал существует на оплате автором себестоимости каждого приобретённого экземпляра. Писатели и тому рады – нет существа на свете бескорыстнее нашего современного писателя – ведь страница журнала – интеллектуальная площадка для творческого выражения.

В. Чернышёв закончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета в 1969 году, преподавал математику в школе, в институте, работал в НПО старшим инженером и заведующим группой. Написал два учебника по математике, издавал журнал. Математику считает не иначе как философской категорией, пишет книги, чтобы «высказать своё особенное понимание мира... Удалось ли?.. Нет. Почему?.. Меня созидал русский мир и мировая культура, множество людей... В чём я ошибся, в чём разочаровался – об этом пишу... тянет выговориться... не надо отчаиваться. Мы не совсем одиноки, каждый из нас существует не сам по себе, а соединён с внешним миром...»

Таким образом, В. Чернышёв мыслит себя философом; опыт, мысли, идеи, прозрения с надеждой, верой и любовью доверяет «Новому...» журналу

и тем объединяет писателей Союза под «зонтиком литературной и философской критики и прозы».

Во всяком случае «Новый...» может быть весьма интересным культурным изданием не только в городе, но и в стране.

Так какая у нас сейчас философия на дворе – интересно бы разобраться. В XX веке был марксизм-ленинизм, на этой идее государство строило коммунизм – наше будущее. Гражданам предоставлялась работа, жилище, образование, медобслуживание, пенсии по старости, и было материально скромное, но надёжное существование. Зато других философий исповедовать запрещалось. Кто выходил за рамки госидеологии, тем было не место в государстве: уезжали из страны, и ТАМ им давали Нобелевские премии за борьбу «за свободу личности», что весьма соблазнительным казалось остальным, и они начали хвататься за все другие мировые фетиши, вроде – «свобода», «жизнь и движение без границ».

И опрокинули слишком жёсткую цензурную идеологию коммунизма.

Совершилась социальная революция 1990-х. В результате государство устранилось от ответственности за граждан, каждый остался сам по себе (вот вам!) и должен опираться на собственные силы.

Вот такая теперь философия – САМОСТОЯНИЯ.

Взрасти в себе самостоятельность, самоуважение – человеческое достоинство. Как? Спроси у бога-разума, он сидит у тебя в голове, только и ждёт, когда ты к нему обратишься – говорят, всегда помогает. Прежде такой индивидуализм государством не поощрялся, теперь стал просто необходим. Не всем по плечу такая идеология. Ведь десятилетиями изживались самостоятельная мысль и частное дело гражданина.

И что делают граждане? Одни мечтают о прежнем. Другие перебирают мировые философии, что накопились в культуре от «страшно умных» философов – от Платона до Сартра – в поисках хоть какой-нибудь пригодной для жизни истины в мучительно многословных томах. «Новый русский журнал» неизменно помогает в интеллектуальной разведке.

Трудно сказать, добираются ли хотя бы до Тертуллиана – «Размышления о душе», – но порой прямо на улице встречается личность с чётким монологом:

– Я – Человек! И у меня – Душа!

Он этого не говорит, но на лице написан *скептицизм* ко всему, что было: к покрытой слоем пыли негодной для современности мировой философической культуре – уважает себя!

Видно, каким-то образом он обрёл *самостояние*, мог бы нам написать новый том о собственном опыте, но, по всему, ему противны мировые мучители слова и претит пополнять их неубедительные ряды – по лицу его можно прочесть и это. Не только по лицу, по пластике фигуры, одетой не в массовую стёганую фуфайку, скроенную из искусственного материала, произведённого западными технологиями из российских нефти и газа – ширпотреб – специально для наших крепко задумчивых людей; обутой не в дурацкие модные для школьников «кеды» (трогательное зрелище!) – в этом скептике всё другое, чем у всех нас – «народных масс», инстинктом

движимых по жизни. Человек с большой буквы жалостливо смотрит на «кеды» и «фуфайки» – видно, трепетная у него Душа, он сочувствует нашей временной несостоятельности. И может быть, думает: «Эх, жалкий стандарт цивилизации!»

В общем, можно сказать: на дворе у нас теперь пока не полное самостояние, но всеобъемлющий скептицизм ко всему, что было и есть сейчас.

Время трудное – как всегда.

Самая интересная достопримечательность нашего переходного времени – конечно, люди. У многих кончилась госслужба, освободились руки, но лихорадочно заработала голова: и «в первую голову» они начали думать о себе хорошо и значительно, никогда не было на это времени, сил – всё отдавалось государству. Да если бы кто стал вдруг говорить о себе – свои же товарищи сразу остановили: «а кто ты такой! Нескромно! У нас вообще не ты, а мы!»

Вдруг окрик суровый:

– На место!

(М. Амфилохиева. НЖ № 6-7, с. 44.)

Вдруг – возможность! Хочется многое записать и оставить записки потомкам. Думают: это необходимо русской литературе – она в таком плачевном состоянии – её не хотят ни читать, ни издавать. Самоотверженно бросаются «поддерживать» литературу и русский язык, на котором росли, а теперь почти забыли.

Речки, как извилины в башке,

Лёд и белый снег, как мягкий череп.

Из природы – в радости, в тоске

Я привык бесперебойно черпать.

(В. Меньшиков. НЖ № 6-7, с. 59.)

Много возникло пишущих людей – и они пошли в Союз писателей России, их не отвергли, взяли под свою «крышу»: с ними беседуют, обсуждают написанное и кое-что с поддержкой городского Комитета по печати издают. Их печатают вновь возникающие журналы. И людям открылась вторая – интеллектуальная – жизнь.

И стало много счастливых людей: им не надо протестовать, «клеить» правительство, требовать непонятно чего на улицах, площадях – они пишут о себе, и все довольны.

Интересное явление культуры переходного периода социально-политической жизни. СП России несёт на себе не только литературу, но делает общественно-политическую работу. «Новый русский журнал» – под эгидой СП России, в руках профессионалов, доступен всем.

В. Васильцову из города Тихорецка, 56 лет, с высшим образованием, капитану запаса, во сне «явилась Богородица», а однажды кому-то «явился Иисус Христос», и он прислал в НЖ разные подобные небылицы под заголовком «Бог есть!»

Философ редактор отвечает «осторожными комментариями» с точки зрения науки, философии, реальной жизни, собственного опыта (№ 6–7, 2017), чтобы поняли: Богородица – наша Земля, а Бог сидит в голове у каждого и помогает тому, кто обращается.

«Боже мой», какая нечеловечески трудная работа! – думаю я.

«Я – дитя всех миров.

Кто меня пожалеет?»

(В. Чернышёв. НЖ № 6–7, с 46.)

Нужна ли такая работа? Нужна! Ведь страну после почти векового атеизма вновь накрыло православием. Читаю наших писателей и вижу: до чего же запугивает им мозги вновь явившееся православие. Оно назойливо, хитро «подползает» под перо любого пишущего, унижая его собственный разум и мешает сосредоточенности.

Так вот: «Новый...» и другие журналы, возникающие в культурном пространстве города, «работают» вместо любой госидеологии и даже лучше неё – пробуждают творческое начало людей и этим спасают поколение.

Ну а пока – легли наброски снов,

Расцветивая будничные стены.

А ветер разрывает ткань основ

И верить заставляет в перемены.

(М. Амфилохиева. НЖ № 6–7, с. 41.)

Я привела пример, как журналист справляется с современным житейским оксюморонам. Но примеры профессионального литературного творчества писателей на первом месте.

«Поэзия и поэтическая проза»; «Художественная проза»; «Литературно-философская критика» – основные и главные разделы журнала.

Вокруг «Нового...» сплотились постоянные авторы. И самый постоянный – Я: 50 лет проработав с литературой (корректор-редактор многих ленинградских-петербургских издательств) и 15 лет стажа в СП России, обрадовалась журналу, пишу в каждый номер, чрезвычайно дорожу вниманием редактора: у меня СВОЯ тема – «шестидесятники» и современный меняющийся мир. Сама я – патриот шестидесятнического освободительного (для литературы) художественного движения, о нём теперь мало знают: самих шестидесятников уже нет (умерли или больны), но я, если встречаю в книгах огонь свободомыслия и независимости от моды, сразу узнаю неосознанное влияние 60-х. Ведь и лауреат Нобелевской премии И. Бродский – шестидесятник. А страстно сейчас популярный С. Довлатов прямо оттолкнулся от юмористического вдохновения В. Голявкина (доказано не только мной – свидетелем литпроцесса, но и литературоведением).

В № 5 НЖ Ю. Медведев написал «Воспоминания об Олеге Григорьеве» под заголовком «Олег Григорьев и необруталлизм».

О. Григорьев – поэт-шестидесятник с драматической судьбой, В. Голявкина и мой друг (я писала о нём в книге «Стрела Голявкина» («Историческая иллюстрация», СПб, 2008).

Стихотворения, рассказы, повести надо просто читать и писать отзывы в НЖ – «полеми́ческий журнал» (В. Чернышёв, № 1, с. 108).

Самый «мощный» (в литературно-публицистическом смысле) – раздел литературно-философской критики, в нём печатаются мастера острополеми́ческого пера: В. Чернышёв, Г. Муриков, Г. Ионин, А. Медведев и другие интересные писатели. В № 3 появился в качестве критика А. Демьяненко: «критик – это телескоп, помогающий читателю увидеть и оценить произведение изда́лека» (с. 294).

Критики из прошлого: Р. Иванов-Разумник, В. Розанов и др. являют историческую связь с неизбежной современностью.

Как полага́ется, есть в журнале рубрики: «Публикации и исследования», «Почта редактора (статьи, письма, предложения, возражения)»; «Разное (обзоры, рецензии, библиография и т.д.)».

НЖ уже с № 1 задал своему направлению интересное дальнейшее следование.

Мои замечания такие:

1. Некоторые постоянные авторы «Нового...» имеют свои журналы, в них и пишут, а потом присылают в «Новый...». Надо ли НЖ перепечатывать статьи, стихи, рассказы из *чужих* журналов? Пусть редколлегия обратит на это внимание и решит в пользу НЖ.

2. Давайте сразу решим: «Новый русский...» – журнал *светский* или перепутанный с религией? В нём всё время вспоминают А. Пушкина – он всегда был НАД ВСЕМ – выше всяких религий. Мы и предположить не сможем, какая огромная индустрия православных изданий и издательств бурным потоком накрывает постоянно всю страну. Материал «Об истории моего старообрядчества» в № 6–7, о религиозных философах, в том числе и с «парохода», отдать бы православным изданиям.

3. Мышление наших писателей цепляется за культуру прошлых веков (весь XX век советская литература пользовалась идеями и стилем так называемой «критической литературы» XIX века). Прошлым пытаются подменить современность – ложный посыл. Современность всегда начинается с чистого листа и свежей мысли. А писатели, накопившие за жизнь чтением и учением много знаний, мнений, чужих мудростей, известных имён, постоянно пересыпают свои тексты чужими именами – получается не культура, а самая зряшная «культурка».

Нам нужен неординарный, необщепринятый – индивидуальный строй мысли, подходящий самостоятельному гражданину – «Новый русский...» даёт интеллектуальный толчок к возрождению самостоятельной личности.

2 марта 2018 г.

С-Пб

В. ЧЕРНЫШЕВ

ЗИМНИЕ ЗАМЕТКИ О ЗИМНИХ ЖЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

Не успеваю составить, сверстать и отредактировать журнал к необходимому дню, текущие дни слишком коротки, в них меньше часов, чем надо, возможно, виноваты и в этом большевики... Или евреи... или масоны.

Единственные, которые ни в чем не виноваты, это женщины, у них времени еще меньше.

[Кстати, а *в чем состоит мое редактирование?* Казалось бы, плеснул чужой текст на страницу, да и вся недолга?

Но надо изменить его *формат, кегль* – если не знаете, что это такое, то и бог с ним, легче будет спать; выбросить лишние знаки, лишние пробелы, нелепые отступы, поставить нужные отбивки и интервалы, проверить и иногда изменить абзацы, курсивы, интервалы, колонтитулы... ошибки я исправляю очень осторожно, народ обидчив, один писатель, бывший советский дипломат и *штиён*, подал на меня в австралийский суд за то, что я ему неосторожно сообщил, что «слово "вдруг" *не окаймляется* запятыми»... По ходу дела я статью читаю, передвигаю иногда запятое – но осторожно, Володя Алексеев за один только союз "И", который я хотел у него забрать, обещал мне *набить морду*... к сожалению, не успел... Иногда по поводу лишних или недостающих знаков я вступаю в переписку, особенно мне нравится переписываться с женщинами, они покладистее, Ольга Мальцева присылала мне свое стихотворение всего только четыре раза, а В. О. исправлял эссе семь раз, окончательную, седьмую редакцию он застенялся мне посылать, так что печатаю еще **сырой текст**, шестую редакцию. Самый опрометчивый Генн. Муриков, он свой текст посылает один раз, черт его знает с какого компьютера, у него ВОРДХ, мне приходится конвертировать в ВОРД, его текст конвертируется только с седьмого раза. Но зато он посылает первую редакцию, которую не перечитывает, текст все равно хороший, правда, после хотя бы трех авторских исправлений у него получалось бы даже лучше, чем у меня, но у него еще меньше времени, чем у редактора, некогда заниматься чепухой. Кстати, он не только не перечитывает свой текст, когда его пишет, но не читает и после того, как он напечатан в журнале, заметив это, я позволяю себе вольности, иногда в его тексте, когда он **о** какой-то даме пишет, что у нее строки слабоваты, я, если мне надо, переменяю на "очень сильные строки", Геннадий Геннадиевич не замечает моих вольностей, ему некогда.

Самое тяжелое наступает после того, как все запятые исправлены, то есть все члены правительства расселись за журнальным столом по своим местам. Я вдруг замечаю, как Ельцин, что **«не так сели!»** Но они сами не пересаживаются, не умеют проявлять волю в виртуальном мире, приходится перетаскивать самому с места на место, из «Публикаций» в «Лики», из «Поэзии» в «Прозу»... при этом путаются таблички, стоящие перед каждым

текстом, то есть Колонтитулы. Немало еще и мелких забот. Надо, чтобы стало не меньше страниц, чем положено в «толстых журналах», но и не больше. Чтобы количество страниц делилось на четыре. Чтобы все вакантные рубрики – подразделения – оказались заполненными. Чтобы Заголовки не слишком пестрили, были по шрифту похожи на приличные, чтобы фотографии авторов соответствовали тому, что в паспорте – было и такое, автор X, а фото от У... Иногда приходится подыскивать иллюстрации, иногда приходится проверять слишком иностранные слова, так тоже бывало, вместо *фиоритуры* (*fiorigura*, букв. расцветка, то же, что *колоратура*) была поставлена *фурнитура* (вспомогательные принадлежности к целому), а это все равно как вместо бывшего военного министра указать на его даму сердца, хотя, впрочем, кто из них воровал и сколько, осталось неясным, нашему народу Россию не жалко, вывезите ее хоть всю за рубеж. Тяжелее всего с Публикациями, приходится иногда даже перечитывать «глиняные таблички»...

К счастью, большинство авторов чужие тексты не читает, свои только бегло, некоторые, правда, читают мои тексты, как Людмила Леонидовна Бубнова (за что я ее ценю) и Анатолий Иванович Белинский. Кстати, я понял, что меня с вами соединяет. Анатолию Ивановичу не нравится мое отношение к недавней истории, и он свои возражения мне начинает так: "Хотя я *Василия Ивановича* и люблю..." – теперь я понимаю, зачем я издаю этот журнал: оказывается, **я вас всех тоже люблю**, по своему, то есть отчасти иронически, мои дорогие "охламоны" ... греч. οχλος (охлос) – толпа – "люди толпы, бездельники"? – нет, беру свои слова обратно, иным оно может показаться обидным, если Володя Алексеев его иногда и заслуживал, то Слава О., Володя М., не говоря уж о Германе Николаевиче и Анатолии Ивановиче, трудятся продуктивнее, чем я. Но зачем я ляпнул сначала неуклюжее слово, затем заерзал и даже пытаюсь написанное неряшливым пером вырубить с помощью "топора на обложке"? Да затем, чтобы подготовить оправдание для ряда статей прежних умных и образованных людей, которые были нашими учителями. Мы их будем в журнале печатать и хотя бы их перечитывать, в следующем номере дам слово Сенковскому, потом Гречу, Булгарину, Николаю Полевому, Блоку, Победоносцеву (в переписке с Достоевским), даже адмиралу Шишкову... Все они почти гениальны! А то из школы мы усвоили насмешливое к ним отношение... Просто Пушкин, как пишет Людмила Леонидовна, стоял НАД гениями и злодействами, даже над Религиями и народами, и хотя иные пытаются поднять царей над великими творцами культуры, но... Итак, будем печатать не только «соединения слов в наилучшем порядке», то есть стихи, но и поэмы об отдельных словах.

Но так как времени мало, не успеваю составить даже необходимые Редакторские заметки, позаимствую несколько из Дневника, пусть это будет Дневник редактора, по аналогии с Дневником писателя Достоевского (не то чтобы для того, чтобы по его следу идти, нет, своею собственной дорогой, твердо заявляя, что наш Журнал не только посвящен редактированию литературы, но и **редактированию мира**).

6 февраля 18. Лекции Дм. Быкова. Написано интересно, и поражает эрудиция автора (впрочем, она естественна).

Вчера разговаривал с русскими молодыми, сегодня со старшими, и те ничего не читали, и эти, и я как будто уже окончательный ценник приклеиваю к русскому человеку – это прямая линия, без обертонов, притом безграмотная. И удивительно, что Достоевский, соединявший в романах казалось бы разные типы людей, воскликнул: *Широк русский человек!* (но не восхитился этим, а добавил: *Надо обузть!*) Но как же обузть *Прямую линию?*

Но Сталин стал обуживать, и русские в него влюбились!

Вернемся к евреям.

Они почти то же, что русские, то есть прямые линии, без шероховатостей, и каждый становится символом и выражением цельного мировоззрения, ВСЁ укладывается в прямую линию: христианство, марксизм, фрейдизм, формализм, психоделическая революция (психоделизм), либерализм и рынок...

Но евреи и противоположны: русские ни хрена не знают и знать не хотят, евреи знают всё. Правда, немцы прямолинейны как русские, но тоже почти все знают, но немцев Ельцин всех выгнал, а евреи еще есть. Так вот если бы соединить русских с евреями в такое братство, как в восемнадцатом веке соединились мы с немцами! (Да если б еще и немцы вернулись?!)

Ибо еврейская одномерность еще пуше немецкой, и русскую она только усиливает.

Вернусь к Быкову. Он поэт неплохой. Но в лекциях говорит таким языком, что я понимаю: не успеем мы чему либо научиться, как говорить уже окончательно разучимся! Вероятно, это язык компьютера, пытающегося подменить человека. Правда, компьютер знает еще больше, чем Быков.

У меня какое-то уныние. Впереди восемь беспросветных лет (если раньше нас, Россию, совсем не отменят с географической карты или сами не вымерем).

Притом умных стало гораздо больше, чем раньше. Появились и среди русских, и среди евреев как всегда, и среди татар. Но если корабль переворачивается, то гибнут все. Почему же этого не понимают ни русские, ни татары, ни евреи?

Закончил писать «Исповедь пасынка века»...

7 февраля, 22-45. Был на концерте Полины О-ской, она исполняла Баха, Бетховена, Брамса. В антракте я спустился вниз и наткнулся на служительницу, которая должна была передать Полине мою Исповедь, в которую я вложил и письмо и розу, очень мило с нею поговорили и я ее расположил к себе. В конце концерта Полине преподнесли цветы и в букетах и в ведре и мою книгу с розой. Привожу его на этих страницах.

Письмо Полине. 8 февраля 18. Еще утро, концерт будет вечером, а я уже в страхе, что Вы будете меня ругать (хотя передам книгу через служительницу); и я лепечу: *Всё, всё, больше не буду!*

Вообще говоря, я девушек всю жизнь боялся, и странно, что даже решался с ними знакомиться. Сегодня ночью во сне меня ругали, что я пишу книги, вместо того чтобы заниматься изданием «Нового русского журнала литературной и философской критики» и редакторской работой.

Да еще написал Исповедь, и все еще мечтаю повлиять на Россию. Но на мир оказывали влияние Предводители гуннов и монголов, артиллерийский офицер, два публициста разбойника и один второразрядный архитектор. Но не Пушкин, не Толстой, не Достоевский... (Не я.) Впрочем, прямолинейные философы (а лучше сказать, *одномерные*) повлияли на мир еще больше: Иисус из Назарета, апостол Павел, Маркс, Фрейд, Nihil...

Но я пишу письмо красивой женщине (обаятельной, тонкой, вмещающей в себя бесконечность оттенков чувства и впечатления), гениальной пианистке, талантливой письмовнице книги, читательнице философов (что еще более удивительно, чем Игра на фортепьяно).

«Ну и зачем ты ко мне пристаёшь?» – слышу я Ваш голос.

Я написал Исповедь. И меня воодушевляло то, что я представлял, что подарю эту книгу изумительной женщине, которая невольно для себя была моей музыкой. Хотя я думал, что занимаюсь литературой, чтобы спасти Россию, но писал я, кажется, только для Женщины. После концертов в университете я девочкам дарил свои книги, за пятнадцать лет мы уже подружились, они уже ждали моего поклонения, а я предвкушал их иронически-радостные улыбки. В разбойном мире поклонение чужим красоткам было, я думаю, не самым большим грехом. И за 15 лет, возможно, мне и с вами удастся подружиться?

Но если вы рассердитесь, то больше я приставать не буду, надо сосредоточиться на издании журнала. К тому же, без меня талантливые его авторы чувствуют себя сиротливо. *Они меня любят.*

Я не поднимался в горы, но зато стоял у подножия Джомолунгмы (это я пишу о Вас). Я переживаю музыку как женщину, и женщину переживаю как музыку – разве этим не оправдаюсь я в грехах и слабостях? А Вы симфония, звучащая под открытым небом на цветочной поляне.)

29 февраля, воскресенье. Сегодня в шесть часов вечера встреча, посвященная Пушкину, которую проводит наш философский кружок, мы с женой перепутали время и примчались почти на час раньше. Но не в этом беда, а в том, что, боюсь, придет лишь горстка "праведников".

27 марта, воскресенье. Вчера у метро «Чернышевская» увидел девушку, которая развернула плакат: «*Защитим нашу Ксюшу!* Профсоюз работников (неразборчиво) труда» Я с нею поговорил. «Ксюша, конечно, в первом туре не победит, но не поддерживайте лидера, ему и так хорошо, даешь второй тур! А потом все проигравшие передадут ей свои голоса и уже во втором туре она победит!» Или мы будем бастовать, посмотрим, как вы проживете без нас. К тому же, она святая. Ведь все ваши святые тоже сначала были грешниками, потом вдруг одумались (это всё, что они сделали, весь их подвиг) – и церковь их объявила святыми».

Но вернусь к литературе, в частности, к поэзии. На днях я попал на поэтов, попал на их увлечение не одним только «*соединением слов в наилучшем порядке*», чего, естественно, недостаточно для поэзии, но *соединением метафор*, которые оказываются самодостаточны, не нуждаются в прозаическом сюжете и в организации целостного и связанного литературного пространства, не нуждаются в объединяющей мысли.

Попробую объяснить свою мысль с точки зрения созидания некоторой целостности, которой является картина, рассказ, образ, сложное высказывание.

Стихотворение – это соединение, синтез некоторого количества элементов, подчиненных общему замыслу. Так как стихотворение состоит из слов, как элементов речи, то наименьшей словесной конструкцией является элементарное *высказывание* (в стихах – *поэтическое высказывание*). (Даже изображение (с помощью слов) является высказыванием.) В целом соединяются высказывания, органически и по необходимости дополняющие друг друга. (В математической теореме это очевидно, доказательство некоторого утверждения состоит из необходимых силлогизмов, в них не может быть лишних слов)

Таким образом, можно сказать, что стихотворение создает **идею, образ, впечатление** – элементы создаваемого **не** произвольны, а сочетаются друг с другом по необходимости. Произвольный набор слов – это произвольное подмножество словаря. Необходимый набор слов составляется таким образом, что слова из словаря **выбираются и выстраиваются** в необходимом порядке.

Но сущность поэзии я таким образом, естественно, не определил. По-видимому, **ее и нельзя определить**, ибо тогда существовал бы неизменный и неопровержимый критерий, позволяющий отделить *поэтическое* от *непоэтического* – но этот критерий был бы равносильен словам Христа: «*Азъ есмь истина*», отменяющим свободу человека.

Итак, скажем ли мы, что поэзия – это *цветущая цветистость*, вроде пресловутой фразы из Юрия Олеши, которой меня травил Поэтика целых четверть века (она *проиумела мимо меня как ветка, полная цветов и листьев*), скажем ли мы, что это «единство содержания и формы», или что ... ну, не важно, что бы мы ни сказали о поэзии, мы скажем глупость.

Я в чем-то человек старомодный (не всегда и не во всем), приведу два поэтических отрывка, которые для меня являются мерилем наивысшего в поэзии: «*Туча мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завет, то заплачет как дитя...*» И второй, из Башлачева (которого кто-то обозвал пренебрежительно "подростком"): «*Ведь совсем не важно, от чего помрешь. Ведь куда важнее, для чего родился!*» Метафор в обоих стихах практически нет, нет цветения слов (которое сегодня заменяет поэзию), но...

А что касается правоты и истины, то дело тут не в том, что мы уже нашли истину, и она либо в коммунизме и диктатуре пролетариата (Марксе и большевизме), либо в Христе и христианстве и христианской церкви, либо в Яхве и иудаизме, либо в буддизме, исламе и т.п., либо в капитализме (и лучше в неограниченном, как в России, с диктатурой олигархов и олигархических вождей, с окончательным разрушением России и полным вырождением и уничтожением русского народа – а русская чернь к этому и стремится, хотя она и не похожа на кита, но пытается выброситься на берег вместе со всею страной, продавая ее китайцам и прочим европейско-азиатским братьям – ну, на их век хватит, только моему внуку не достанется... Господи, неужели я последний и единственный патриот своей несчастной страны?!) – итак, дело не в том, в какой из взаимоисключающих доктрин или божественных

личностей содержится вся полнота истины, а дело в том, что подавляющая часть народа стремится непременно **раствориться в какой-то тотальной истине**, в Христе или в Марксе или в Магомете, или в Сталине, или в Распутине, а небольшая часть странных людей, вырожденков каких-то, что ли, никак не хочет растворяться вместе со всеми, и они обычно крестьяне или дети крестьян (но не юристов!!!)... Про погоду послушают прогноз в интернете, где предсказывают засуху, потом выходят на улицу, посмотрят на небо и говорят: *черт его знает...* – и точно, назавтра наступает *«черт его знает»*... Этот крестьянин узнаёт, что жену замели на базаре, едет к ней в тюрьму на свидание и говорит: я же тебя предупреждал, **не мели как советское радио!** (правда, и сам обмишулился нечаянно).. И в современных условиях этот крестьянин (или его сын) не только не верит телевизору, но даже его не смотрит!!! (вот и получается, что русский народ состоит из Большого народа, который живет по телевизору, как телевизор скажет, так он и живет, даже если уже не только русский народ бабы уже не нарожают, но уже и ни одного русского скоро ни одна баба не родит! – и состоит из *малого народа*, который составляю я сам и еще несколько отморожков, в то время как весь бывший советский народ все как один за царя! Но не прав оказался Шафаревич! Я, как малый народ, хотя и был единственный против мелиорации и против поворота рек – да еще Залыгин, но мы двое оказались правы, коммунизм рухнул и реки повернуть не успели. И, думаете, почему коммунизм рухнул? А даже не почему, а *зачем*: Бог спас русский народ от большевистского поворота рек и окончательной гибели.

Хорошо быть редактором! Вот статья Ионина еще не напечатана, а я ее уже как шумерские таблички изучаю. Ну, что сказать? Подлинный литератор! И коммунисты по своему правы, и монархисты по своему, ... да ведь даже профсоюз путан, голосующий за Ксюшу, в чем то прав! Из этого, конечно, не следует, что и олигархи и Навуходносоры и Чингиз-ханы и Гитлеры тоже *по своему* правы – нет, эти не правы! (Меня ужаснуло, что у бывшего правителя Украины оппозиция нашла в особняке золотой унитаз. А я то думал, что будет корыто из золота – нет, правители и олигархи заботятся обо всем, и о том, что внизу и о том что сверху). То есть, они в чем-то похожи на людей...

Понедельник, 13-15. Сегодня умер Сталин.

Герман Николаевич пишет, как и другие, о правоте Маркса в его теории классового общества. Но есть два важнейших класса, о которых эти городские кабинетные ученые не писали, а по соприкосновению которых проходит не только разлом в человечестве, а Марианская впадина, граница между живым миром и межпланетным пространством – это граница между городом и деревней. Русский народ (как и многие другие народы мира, кроме английского), эксплуатировал город, крестьяне пошли за большевиками по ошибке, они думали, что те тоже против города, за землю. Но большевики им показали кузькину мать! И все ЧК и все КОМБЕДЫ – это всё городская шпана, пролетарии, уголовники, матросня... Я не исключаю, что среди гимназистов, примкнувших к революции, были чистые романтики, но все основное, а дальше расстрельные тройки (спорят, расстреливали ли при

Сталине. Но если *тройки* были, и даже в каждом уездном городе, то чем же они занимались?), а дальше Заградотряды, расстреливавшие **сзади** заграждавшим пулеметным огнем тех, кто откатывался от немецкого пулеметного огня. Да что вы говорите, я сам с таким парился в бане, и он похвалялся, сколько же **их**, беглецов, пострелял! А Володя Т. с ними даже на рыбалку когда-то ездил! И выпивал. Мужики как мужики... Но – городские.

По поводу Сталина – это **классовый раскол**. Город за Сталина, это я, деревенский, сибирский лапоть, «колхозник», как пренебрежительно нас называют городские, против.

Да, мне часто говорят: **Советская власть тебе дала ВСЁ, она тебя выкормила, она тебя вырастила, она тебя выучила...**

Увлеченья, развлеченья...

Нету денег на лечение...

Ну, и ладно, может, так

Как-нибудь умру безвестно –

Мне для смерти надо места

Ну, аршин, ну, два – пустяк!

Я родился, брат, в Сибири!

Там такие были шири!

Но пришли большевики –

Заросла деревня лесом,

Лес пошел к таким-то бесам,

А за ним и мужики...

А за ними даже бабы...

Вот и Русь... Мы все, брат, слабы,

Были б крепче – не спились,

Не пошли б за чуждой верой –

Сказкой, мороком, химерой,

А свои б пути нашлись.

А теперь аршином мерю

То, во что уже не верю,

И мечтаю как-то так

Умереть, чтоб пусть без места,

Но сказали б: жил он честно!

Нáжил... – ну, так был дурак –

Верил девам, другу, Богу...

Впрочем, как сказать – в дорогу,

Что ведет на небеса,

Ни к чему ему поклажа!

Херувимы будут стражей,

Пищей – Божия роса!

Я родился в деревенской Сибири, за нами была тайга, хлеб мы растили на пашне, картошку на огороде, черемшу и грибы собирали в тайге.

Зерно я молот на жернове, муку просеивал на сите, хлеб пекла бабушка на капустных листьях. Гвозди ковал кузнец в кузнице, подковы тоже. Носили мы домотканую одежду (ну, позже, в пятидесятые годы, стали уже покупать – но не советская же власть нас одаривала полотном, ситцем и сатином, даже в Америке негры и то покупали сатин в магазине безо всякой советской власти. «Лампочки Ильича» у нас не было, сначала светила лучина, потом коптилка, потом керосиновая лампа со стеклом. *Радива* сначала у нас тоже не было. Правда, больного чахоткой меня отправили в Сибирскую Швейцарию, единственного из района, но так как я был чудорбенок, то и жизнь моя складывалась по законам **чуда** (или даже совсем по беззаконию. Но в этом уже виноват или Бог, или добрые люди, при чем тут советская власть?)

В школе со мной возились. Я начал выпускать Литературную школьную газету (на стене), она прогремела до Красноярска, в Красноярском рабочем что-то из нее даже печатали. Я стал знаменит, девушки в меня сплошь влюблялись! (Христиане скажут, что я *растлил*ся. Но советская власть в этом не виновата). Потом меня исключили из школы.

Позвонил один автор нашего журнала, говорит, времена наступают смутные, топор с обложки надо убрать, ненароком... Успокаиваю: *топор тупой*, с властями мы не воюем, топор только против плохих писателей или нерадивых критиков. К тому же, мне всю жизнь везло, не бойтесь!

(Кстати, тем, кто призывает повернуться лицом к современности и к 19-му столетию задом. Но ведь только тогда *говорили и сказали обо всем важном в жизни*, только крестьянский вопрос поднимали боязно, ... и вот, странно: я противник революции, я ЗА Белое движение. НО – я крестьянин – и говорю злорадно: **Ага, поплатились! Думали, век на крестьянском горбу прожить и в рай на нем въехать!**

И Герман Николаевич отчасти прав... но ... **освобождение крестьян, земля крестьянам, достаточные условия, чтобы крестьянские бабы хотя б рожали!** – но сегодня ХУЖЕ всякого крепостного права, латифундии отняли подавляющую часть земли у крестьян, все лучшие земли отданы латифундиям и работают на них иноземцы, идет последнее наступление города на остатки крестьянского народа, численность его город уже сократил в семь раз, девять десятых всех деревень разорено и стерто с лица земли, никакой Батый и никакой Мамай не уничтожил так крестьянскую Русь как город!

Ужо дождется!

А мы еще спорим о поэзии... Один только Володя Меньшиков плачет о погибшей деревне. Но с властью я не спорю, я ею пренебрегаю, Пушкин и здесь наша религия, ничего мы не вычитаем в Библии, как жить и во что верить, а у Пушкина вычитаем: *Зависеть от царя, зависеть от народа –*

*не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;*

.....

– Вот счастье! вот права...

Итак, нас увлекает только право писать. Мелкие невзгоды при исполнении этого права возникают, но мне везет. В университете на Матмехе я издавал Литературно-философскую газету. По совокупности провинностей (включая несчастную любовь, меня исключили из университета, но затем ниспосылали мне *презобилие благодати*, как пишет о том апостол Павел, так что все было хорошо. В девяностые годы я издавал журнал МЭра. Так как исключать меня уже было не откуда (в партию я не входил, в Союз писателей тоже), то меня посадили (по совокупности, а журнал, возможно, был совсем не при чем). Но вернемся к поэзии.

Некрасов. К счастью, я еще не узнал, что такое Поэзия, поэтому не спешу согласиться с Николаем Ивановичем, исключившим Николая Алексеевича из Союза писателей, но и возразить ему убедительно не могу (я даже против советской власти возражал не убедительно, за что и посадили. Если бы возражал убедительно, ездил бы на белом коне).

Итак, Николай Некрасов написал множество стихов и поэм, некоторые из его стихов стали народными песнями (как Коробейники), некоторые – романами. Вот эти последние меня интересуют больше всего.

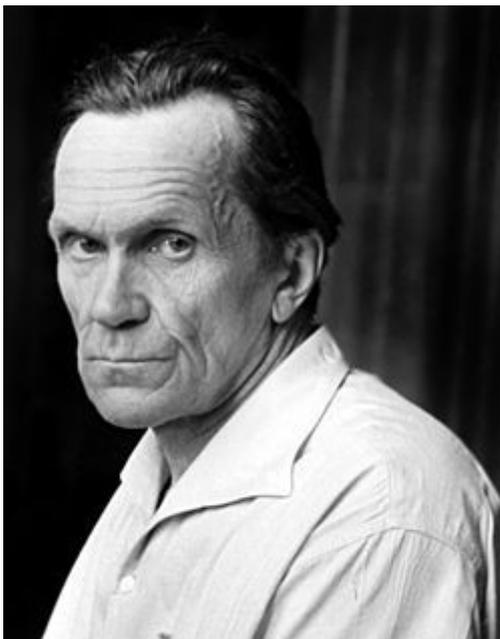
Романсы написаны на стихи многих поэтов, и выдающихся, и почти неизвестных, а поскольку **музыка** такая же по мощи стихия, без которых я не смогу прожить, как поэзия, математика, любовь к природе, любовь к женщине, то **романс** как особенный жанр, соединяющий в себе и поэзию и музыку, является такой же необходимой для меня стихией, как перечисленные. Арии в опереттах и даже в операх часто представляют из себя дрянные стихи, но *романс – это музыка, соединенная с стихотворением*, и я что-то не вспоминаю среди романсов плохих стихов, большинство из них безукоризненны, а романс на слова Николая Алексеевича «*Что ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг? Знать, забило сердечко тревогу...*» – и без музыки является сильным лирическим стихотворением. Общее ли место выражение «*жадно глядеть на дорогу*»? Что-то подобное у других авторов не вспоминается... Эдгар По говорил, что гения надо судить не по общему впечатлению и не по всему творчеству, но по лучшим произведениям. Да, число гениев таким образом увеличится, но не думайте, что значительно. Мы, взрослые, говорим банальностями, почти все и почти всегда, только по вдохновению воспаряем над общими местами, и только дети способны нас радовать «лица необщим выраженьем».

И все же была ли Октябрьская революция?

Много темного и в сверженьи монархии, но можно ли называть революцией Петроградский переворот, навязанный Москве и крупным городам в крестьянской России, в которой четверо из пяти жителей жили в деревне? И хотя большевикам сочувствовала солдатская масса из-за нежелания воевать, но деревня сопротивлялась и изъятию хлеба, и декретам, репрессиям ответила восстаниями, пережила раскулачивание, не один голод, военную бойню, исчезновение деревень, наконец, вымерла... **Это не Революция**, а марксистская **окупация крестьянской России**. И все же в этот трудный русский час оставим споры о прошлом, объединимся во имя спасения Родины!

IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ (философия, поэзия, проза)

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ ЯГОДЫ



Варлам Тихонович Шаламов родился в 1907 году. В первый раз был арестован в 1929 году, освобожден в 1931. затем арестован в 1937 году, освобожден в 1951 году, всего просидел около 18 лет.

Основные произведения писателя – «Колымские рассказы». Литературное наследие включает также несколько сборников стихов, статьи, письма.

Умер великий писатель в 1982 году в интернате для психохроников. Мой небольшой опыт пребывания в сумасшедшем доме в аналогичном отделении для тяжелых больных (по большей же части я был в «круге первом» Чистилища) наполняет меня глубокой жалостью к страдальцу.

ЯГОДЫ

Фадеев сказал:

– Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы.

Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно, "палка дров", у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я – лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на "вы".

– Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением – я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру – тем лучше.

– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир – Серошاپка.

– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?

– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.

Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Серошاپка вывел нас на работу – в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой – пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошاپка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошاپки – костер на работе полагался только конвою, – натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темно-лиловые замороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника,

тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны – вешки повисли над нашей головой.

– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

– Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает предупредительный.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Люди странно мыслят, даже не так как дети. Дети учатся в школе и научаются решать задачи, проводят опыты по химии и физике, из предыдущего условия умеют делать последующий вывод.

Люди же никаких выводов не делают, они даже не отличают условие от заключения.

Часто спорят о Сталине, хороший он или плохой. Некоторые говорят, что Сталин **не знал**, ему не докладывали, его обманывали.

Мама мне рассказывала, как они жили в деревне еще до меня. Однажды приехал из района оперуполномоченный, народ собрали в Правлении колхоза, больше молодежь, парней и девок, оперуполномоченный сказал, что у него разрядка на двух врагов народа, пока они их не выдвинут из своих рядов, из правления их не выпускают. Девкам захотелось пи-пи. Они терпели, глотая слезы, потом взахлёб, потом заговорили, что надо кого-то выдвигать, написать в штаны было стыдно и невыносимо, побои они бы вытерпели. Назвали двоих, выкрикнули с места, остальные промолчали. Этих двоих увели, остальных отпустили. Данный случай – вывод. Сначала были условия, длинный ряд действий, пропаганды, организации, революции, гражданской войны, коллективизации... Летом шли дожди, огород промок, сверху образовалось болотце, я с краю лопатой немного прокопал основу для канавки, побежала вода, все сильнее, вниз к канаве она уже искала путь, обтекая комья земли, потом весело зажурчал тоненький ручеек, сбегая в канаву. Сталин был канавой, но он же был и той канавкой, по которой бежала вода, вместе с другими большевиками, вместе и с Марксом и с учением о диктатуре пролетариата, и с тем дождем, который промочил всю Россию. Если Революция обмана, лжи и подмен, жестокости и насилия правá, то прав и Сталин, сколько бы он не загубил народу. Нельзя отрицать один из элементов в ряду, не отрицая всего ряда. И оперуполномоченный и конвоир соединяют в одно целое несколько миллионов человек, это раковая опухоль, захватившая всю страну, ее тлетворные миазмы прошли через тело народа. Что делать? Лечение возможно, с помощью школы и культуры, но школа и культура должны стать во главе страны вместо раковой опухоли. Для этого необходимо **чудо**. Я знаю, что в России многие люди сострадательны, прилежно работают, слушают музыку, пишут книги и совершают открытия. Но они же поддерживают ограбление страны и войну на чужой земле. И у охранника, застрелившего «врага народа», были дети и внуки, он их, скорее всего, любил, и *ближних* любил тоже. Кажется, что он ни в чем не виноват, *тогда было время такое...* Но по крайней мере тогда не было таких вопиюще богатых, как сегодня, и такого безудержного вывоза богатств России на Запад. И все же, почему мы так равнодушно смотрим на все это и с такой страстью защищаем правящую олигархическую «элиту»? Кто-то скажет, что вчера было безбожие... А крестовые походы, разорявшие целые страны, когда власть церкви была всеобщей? Надо любить человека и свой народ, даже когда он жесток, говорят мне... *Но я не могу любить палачей...*

У. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ



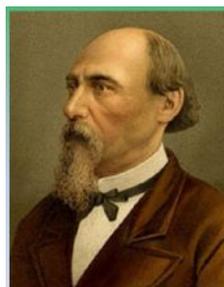
ВЯЧЕСЛАВ ОВСЯННИКОВ ДВА ПОЭТА



Н. И. КАЛЯГИН

ЧТЕНИЯ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ. ЧТЕНИЕ 13

(Н. А. Некрасов)



А. С. Пушкин. Художник
П. Соколов. 1836.

А. В. ОСИПОВ

МОЕ БЕСПЕЧНОЕ НЕЗНАНИЕ

ГЕРМАН ИОНИН

ОКТЯБРЬ. СТО ЛЕТ.



ВЯЧЕСЛАВ ОВСЯННИКОВ

ДВА ПОЭТА

Посвящается Василию Чернышеву

«Раннее утро. Еще не заря»

Василий Чернышев

В раннем русском символизме есть два загадочных, малоизвестных поэта. Историки литературы называют их зачинателями и пророками всего символистского движения в русской поэзии. Это – рано погибший Иван Коневской, издавший при жизни единственный сборник стихов; и рано оставивший поэзию и «ушедший в народ» Александр Добролюбов. Оба поэта были отверженцами в широкой литературной среде, оба отмечены ранней гениальностью, творческим даром исключительной силы и своеобразия, рано приобретенной духовной зрелостью, оба писали на протяжении всего лишь нескольких лет. Обоих ждало большое литературное будущее. Оба повлияли на творчество крупных поэтов, о чем есть признания многих из них: Брюсова, Вячеслава Иванова, Блока, Гумилева, Клюева, Пастернака. Судьба обоих мистична. Оба стали легендой в русской поэзии.

Иван Коневской родился в 1877 году. Настоящая фамилия – Ореус. (Коневской – псевдоним). Происходил из знатного шведского рода. Отец – генерал-лейтенант Иван Иванович Ореус, член Военно-ученого кабинета Главного Штаба. Коневской окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1901 году. (На этот же факультет в 1901 году перешел Блок, бывший на три года младше Коневского). Впервые стихотворения Коневского были опубликованы в студенческие годы. Был очень почитаем в узком литературном кругу. Обладал обширнейшими познаниями в истории, литературе и философии. Владел немецким, французским и английским языками. Занимался переводами, перевел на русский Суинберна, Гете, Ибсена, Верхарна, Метерлинка, Ницше. Издал в 1900 году в Петербурге свой единственный прижизненный сборник «Мечты и думы Ивана Коневского». Стихи и проза. За свой счет, тираж 400 экземпляров, в продажу почти не поступил. (10 экземпляров, переданных в книжный магазин, не были раскуплены). Сборник распространялся автором в самом узком кругу друзей. Критиками стихи Коневского поняты не были, отзывы ругательские. Критик Н. П. Ашешов: «хаотическая манера письма», «нелепый набор слов», «одно только сплошное фиглярство, неискреннее ломание, уродливость чудаческой мысли, во что бы то ни стало желающей быть оригинальной». Поэт и критик Н. М. Соколов: «глупая белиберда», «предел глупости», «вымученная и кривляющаяся изломанность», «неуголимая и ожесточенная чепуха». Коневской был человек полностью замкнутый в своем внутреннем поэтическом мире, со своей резко индивидуальной, абсолютно сложившейся, зрелой поэтикой и убеждениями, непоколебимый в

своей правоте. При этом (или вследствие этого) феноменальная застенчивость и не менее феноменальная рассеянность, о чем ходили анекдоты и остались письменные свидетельства. Настоящей близости не допускал ни с одним из своих друзей и знакомых. Закончив университет, летом 1901 года Коневской отправился путешествовать в Прибалтику, остановился в курортном городке Зегевольде (ныне Сигулда). Утонул, купаясь в реке Аа (ныне Гауя). Эта река известна своими опасными омутами и порогами. Коневскому не исполнилось 24 лет. Похоронен в лесу. Его могила стала местом паломничества поэтов-символистов. Через десять лет после гибели Коневского его могилу посетил Валерий Брюсов. Там написал стихотворение «На могиле Ивана Коневского».

Знакомство с Брюсовым произошло в 1898 году. Коневской произвел на Брюсова сильнейшее впечатление. Встреча с Коневским – крупнейшее событие в его жизни. Сохранилась переписка. Брюсов осуществил публикацию рукописей Коневского после его смерти. В дневнике в конце 1899 года Брюсов записал: «Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий». Получив известие о смерти Коневского, Брюсов пишет: «... Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе... Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет, оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем творчестве я вполне одинок. Будут восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца. Я без Ореуса уже половина меня самого... Он только начинал, намечал пути, закладывал фундамент (о! по грандиозному плану). И вот храма не будет – одни камни, чертежи, пустыня мертвая и небеса над ней». В 1901 году Брюсовым написана статья-некролог «Мудрое дитя»: «Коневской поражал прежде всего вечной, неутомимой, ожесточенной сознательностью своих поступков... Поэзия Коневского прежде всего – раздумья. Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, но просочились в его «мечты и думы»: «Вы совершенней изваяний, – простор и время, беги числ!». Упоминание о Коневском есть у критика Святополка-Мирского: «... пленяет мужественная борьба с темой, упрямое желание уложить свою мысль в узкие тиски стиха... стремление создать метафизическую поэзию, постигающую и обнимающую весь мир... Он один из классиков русской поэзии, известный лишь посвященным».

Известный литературовед Н. Л. Степанов во вступительной статье под названием «Поэт мысли» к неосуществленному изданию двухтомника стихотворений и переводов Коневского написал: «Коневской не был организатором новой поэтической школы, как Брюсов, он не был реформатором, ниспровергавшим все поэтические принципы, как Хлебников или Маяковский, или «отверженным поэтом» вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на «рубеже двух эпох», творчество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном, связывавшим символизм с традициями русской поэзии XIX в., с

Баратынским, Тютчевым, Кольцовым и А.К.Толстым. Коневской – один из наиболее последовательных «поэтов мысли»... Он пришел слишком рано для того, чтобы стать одним из признанных вождей символизма, а его поэзия оказалась слишком несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем не менее значение Коневского для развития русского символизма (для Брюсова, Блока, Вяч. Иванова) и для после-символистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма существенно».

О влиянии Коневского на творчество многих поэтов XIX и XX вв. свидетельствуют статьи, мемуары, письма, стихотворения. Брюсов: «Коневскому я обязан тем, что научился ценить глубину замысла в поэтическом произведении, – его философский или истинно символистский смысл... Коневской своим примером, своими беседами заставил меня относиться к искусству серьезнее, благоговейнее... Бальмонт любил поэзию, как любят женщину, страстно, безрассудно. Коневской поэзию чтит сознательно и поклонялся ей, как святыне». Вячеслав Иванов в письме Брюсову (февраль 1904 г.): «Его искания и постижения представляются мне полными глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрасным». Или вот как вспоминает о нем Сергей Маковский: «... и тогда, в годы моего университетского знакомства с Коневским, прежде всего поражала в нем (в стихах, во всем облике) личность его, неуклонно стремящаяся к цели, возлюбившая озарения духа, красоту, поэзию превыше всего, необыкновенность его молодой воли, отданной целиком творческому служению». Из воспоминаний В. А. Пяста: «В 1901 г. умер гениальный Иван Коневской. Он, переписывавшийся с московскими декадентами, не мог в Петербурге найти для себя почти ни одного достойного собрата-товарища. Вскорости после его смерти образовался среди студентов университета кружок поэтов; к нему примыкали и Александр Кондратьев, и Леонид Семенов, и Александр Блок». Немало упоминаний о Коневском есть и у Блока. Влияние Коневского на поэзию Блока весьма существенно: переключка многих образов и тем в стихах и статьях. Блок писал о Коневском в 1905 году в своей рецензии на сборник А. Миропольского: «Иван Коневской именно «на миг и тем – на век» вдохнул в себя запах родной глины и загляделся на «размеры дальних расстояний»... он возлюбил до боли то место, где эта Россия как бы сходит на нет... местом, где пахнет и нищенским богатством Европы и богатой нищетой России, стал для Коневского город – Петербург...».

Мандельштам в своей повести «Шум времени» в главе «Эрфуртская программа» вспоминает о посещении могилы Коневского: «В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях... Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде, с эрфуртской программой в руках, я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков».

Поэзия и проза Коневского была близка по духу и Пастернаку. Он писал в письме к К. Локсу (13 февраля 1917 г.): «Многие из нас (я в том числе) делаем все от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чтения не воспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углубленность авторских смыслов и убедившись в разъяснимости их, не как в одной понятности только в современном значении этого слова – отдается этой игре, как особому наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено, коэффициент разъяснимости придает характер всей книге, – это ее дыхание. Таков, в идеале, Баратынский. ... Это составляло сущность Коневского. Сейчас это редкость».

Поэзия Ивана Коневского вся – порыв, движение вперед, зов на бой, устремленность к подвигу, к недостижимой цели. Это поэзия героического, волевого духа. Сам Коневской так пишет в своей статье «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины»: «Чтобы соприкоснуться со всеми разными родами и видами бытия, приходится представлять их во времени, в отдельности и по очереди. Отсюда возникает страсть движения все вперед и далее, стремление выступить из точки и мига, ради его всецельного познания и создания... Тогда величайшая сумма бытия – «счастье», т.е. всеобъемлющее познание и любовь, внезапно отодвигается, отвергается в неизмеримую даль и глубь, и вся мировая жизнь делается подвиг, борьба, страдание за недостижимую цель».

Коневской – утонченный мастер стиха, его поэзия музыкальна, звукопись филигранна. Его стихотворения пронизаны аллитерационными и ассонансными повторами. В то же время эту поэзию делает мощно выразительной присущий ей архаизированный, утяжеленный, торжественный слог. Святополк-Мирский упоминает о «прекрасной корявости» Коневского. Коневскому претила беглая гладкость современных стихов. Он говорил: «Я люблю, чтобы стих был несколько корявым». Трудность и архаичность языка одинаково присущи и стихам, и статьям, и письмам Коневского. Брюсов указывает в своей статье: «Всем своим существом чуждаясь поверхностного, «разговорного» языка, он не хотел, да и не умел говорить просто: в стихах и в прозе, в дружеских беседах и частных письмах он неизменно употреблял один и тот же язык... Чтобы отчетливо понять мысль И. Коневского, часто бывает нужно распутать хитрый синтаксис его фраз, где слова расставлены не в обычном порядке...». Наиболее близкие Коневскому русские поэты – Баратынский, Тютчев, Ключевский. Прибавим Веневитинова, также рано утраченного русской поэзией, много обещавшего своими дарованиями. Вспоминается и сверкнувший гибельно через два десятилетия Божьей искрой футуризма двадцатилетний Божидар (настоящее имя Богдан Гордеев). Отголоски поэтических опытов Коневского, его архаизирующей поэтики и богатой, насыщенной звукописи можно обнаружить у акмеистов, у Гумилева, у раннего Пастернака, у Заболоцкого, у Хлебникова.

После его смерти был издан поэтический сборник под редакцией Брюсова: «Стихи и проза» (М., 1904). Коневской проявил себя и как проницательный критик. Его критические труды повлияли на развитие

русской поэтической мысли. Статьи о литературе и живописи: «Стихи Лафорга» (1897–1898), «Живопись Бёклина» (1897–1898), «Мистическое чувство в русской лирике» (1900). Он же автор статей «Об отпевании новой русской поэзии» (1901) и «Мировоззрение Н. Ф. Щербины» (1902). Были опубликованы в альманахе «Северные Цветы».

Значительное количество его прозаических опытов, дневниковые записи, путевые заметки, а также переводы не изданы и остались в архиве. Сохранилось 11 записных книжек Коневского за 1893–1900 гг. В записной книжке за 1897 г. указано первоначальное заглавие задуманной Коневским книги: «Чаю и чую. Гласы и напевы», замененное затем на «Мечты и думы». Это «чаю и чую» чрезвычайно характерно для поэзии Коневского, с ее углубленностью в образные корни языка, что предвосхищает хлебниковское «Чураясь, чаруй» (из стихотворения Хлебникова «Лунный свет»). Путь Коневского в литературе только начинался, только первые, но твердые шаги, с широким замахом поэтического титана, и его возвешение «Властно замкну я в жемчужины слова / Смутные шорохи дум» осталось намеком на неизвестные нам теперь свершения.

Псевдоним Ивана Ивановича Ореуса «Коневской» – от названия острова Коневец на Ладожском озере; там находится мужской монастырь.

Из стихотворений Ивана Коневского

В РОДЫ И РОДЫ

Где вы, колена с соколиным оком,
Которым пронизалась даль небес, –
Те, что носились в пламени глубоком
Степей, как бес?

Махал над ними смуглыми крылами
Он, бес лихой полуденной поры.
Раскидывал над тягостными днями
Их он шатры.

И ночь сходила, лунная, нагая.
А все кругом – куда ни взглянешь – даль.
И сваятся в пески, изнемогая...
Луна как сталь!

Хоть не было конца пути степному,
Порой им зрелась в воздухе мета.
И стлалась ширь, и к мареву цветному
Влеклась мечта.

С коней срываясь, принимали ухом
Они к земле, дрожавшей под конем.
И внятен был им, как подземным духам,
Рок день за днем.

Им слышалось нашествие незримых
Дружин за гранью глади голубой.
Так снова в стремена! Необоримых
Зовем на бой!

Сходились в полдень призрачные рати.
Далече разносился бранный гром.
А к вечеру уж нет безумных братий:
Уж – за бугром!

Яснее дня был взор их соколиный,
И не напрасно воля их звала.
Примчались ли буйною былиной
Во град из золота и стекла?

ПРИЗЫВ

Валерию Я. Брюсову

Давно ли в пущах безответных,
И в недрах гор, и в лоне рек
Витал народ существ заветных.
Кому смешон был человек!

Сей человек, столь закоснелый
В своей коре, в своих корнях –
Он чужд и мертв природе целой,
Вращаясь в безысходных днях.

О племя оборотней чудных,
Всему чужих, всему родных,
Как часто, средь мгновений скудных,
Я бредил о житьях иных –

О днях таинственной свободы
И в горних, там, и под землей,
И к вам, прельстителю природы,
Стремился дух ничтожный мой.

ДВЕ РАДОСТИ

Когда душа сорвется с высоты,
Куда взвилась она тяжелым взмахом,
Она сперва оглянется со страхом
На мир веселой, бойкой суеты.
Как ей не помнить горней красоты?
Но принята она в объятья прахом:

И прах ей сладостен, а в ней зачах он –
Цветок вершин и снежной чистоты.
Страдать невмочь нам, и к земле прижмется
Наш детский дух, и кровно с ней сживется,
И вот уж тесный угол наш нам мил.
Ах, если б праздник неземной потребности,
Как пастырь, что благословляет хлебы,
И пестрых будней игры осенил!

В крови моей – великое боренье.
О, кто мне скажет, что в моей крови?
Там собрались былые поколения
И хором ропщут на меня: живи!
Богатые и вековые ткани
Моей груди, предсердия и жил
Осаждены толпою их алканий,
Попреков их за то, что я не жил.
Ужель не жсались, слепые тени?
За что попал я в гибельный ваш круг?
Зачем причастен я мечте растений,
Зачем же птица, зверь и скот мне друг?
Но знайте – мне открыта весть иная:
То – тайна, что немногим внушена.
Через вас рожден я, плод ваш пожиная,
Но родина мне – дальняя страна.
Далеко и меж нас – страна чужая...
И там – исток моих житейских сил.
И жил я, вашу волю поражая,
Коль этот мир о помощи просил.
Не только кость и плоть от кости, плоти –
Я – самобытный и свободный дух.
Не покорить меня слепой работе,
Покуда огонь мой в сердце не потух.

ОБЕТОВАНИЕ

Из туманов и топей мшистых
Мы когда-нибудь да умчимся
За края морей золотистых,
Где давно уж в мечтах кружимся.

Наглядимся на тамарисы,
Разбежимся по странным взморьям,
А потом проникнем в край лысый,
К незапамятным плоскогорьям.
Что в тех странах свершится с нами,
На неизвестных лугах Памира,
Заодно с волшебными снами,
В праотчизне людского мира?
Обретем ли родник гремучий,
Где впервые жизнь закипела,
Где, под шорох кедров дремучий,
Няня рода людского пела?
Нет, змея, вся в бронзе узорной,
Из-под трав суровых восстанет,
Потрясет главой непокорной
И на нас внимательно взглянет.
Мы прильнем к ее кольцам гибким
И за ней поплывем без страха,
Вниз по травам крупным и зыбким
На волне воздушного взмаха.
Будет пышно гордиться небо
Глубиной и ширью лазури,
Но оно – не наша потреба:
Мы вручились мудрой лемуре.

В ЕЗДЕ

Размеры дальних расстояний,
Мне зрим ваш белоснежный смысл.
Вы совершенней изваяний,
Простор и время, беги числ!
Летят пробеги и прогоны.
За стрелкой часа дух следит.
Над родниками тайг – иконы,
И пахарь пашню бороздит.
Пускай леса порою тощи,
Мелеет полный гул дубрав –
В пустынях разрастутся рощи,
Земля насытит вволю нрав.
Величье дебрей самородных
Восстанет в рощенной красе.
И глас живой творцов свободных
Подтянет плугу и косе.

С КОНЕВЦА

Я – варяг из-за синего моря,
Но усвоил протяжный язык,
Что, степному раздолию вторя,
Разметавшейся негой велик.
И велик тот язык, и обилен:
Что ни слово – увалов размах,
А за слогом, что в слове усилен,
Вьются всплески и в смежных слогах.
Легкокрыло той речи паренье,
И ясна ее смелая ширь,
А беспутное с богом боренье
В ней смиряет простой монастырь.
Но над этою ширию ровной
Примошусь на уступе скалы,
Уцепившись с яростью кровной
За корявые сосен стволы.
Чудо-озеро, хмуро седое,
Пусть у ног ее бьется, шумит,
А за ним бытие молодое
Русь в беспечные дали стремится.
И не дамся я тихой истоме,
Только очи вперю я в простор.
Всё, что есть в необъятном объеме –
Всё впитает мой впившийся взор.
И в луче я всё солнце постигну,
А в просветах берез – неба зрак.
На уступе устой свой воздвигну,
Я, из-за моря хмурый варяг.

Вместе с Брюсовым Коневской работал над формированием «Собрания стихов» Александра Добролюбова (вторая книга стихов Добролюбова). Весной 1898 года Добролюбов покинул Петербург и ушел странствовать по России. Книга вышла в свет в издательстве «Скорпион» (М., 1900) с двумя предисловиями – Брюсова и Коневского. Коневской еще до своего знакомства с Брюсовым знал и высоко ценил творчество Добролюбова.

Александр Добролюбов родился в 1876 году. Отец, Михаил Александрович Добролюбов, – действительный статский советник, служил в Варшаве в должности неперменного члена Варшавского присутствия по крестьянским делам. После смерти отца в 1892 году вместе с семьей (мать и семеро братьев и сестер) переехал в Санкт-Петербург. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Ушел с третьего курса. Знал три языка: французский, немецкий, английский. Увлёкся поэзией и стилем жизни западноевропейских символистов: Бодлер, Верлен, Малларме, Метерлинк, Гюисманс. Проповедовал культ смерти и

самоубийства. Крайний индивидуализм, мистицизм, эстетизм. Взял за образец героя знаменитого романа Гюисманса «Наоборот» Дез Эссента. Жил в комнате, оклеенной черными обоями, курил опиум, гашиш. В обществе появлялся в черных кожаных перчатках на меху, не снимал их весь вечер. Известный литератор и мыслитель С. Н. Дурылин, друг Бориса Пастернака в 1926 году написал большую работу о Добролюбове: «Петербургский гимназист перечел и изучил всю новейшую европейскую поэзию на трех языках от Теофиля Готье, Эдгара По и Бодлера до Россетти, Суинберна, Вьеле-Гриффена, – тогда, да и теперь почти неведомых в России». А вот что писал о Добролюбове Владимир Гиппиус (поэт-символист и филолог, близкий друг Добролюбова): «Когда я в первый раз увидел А. М. Добролюбова, он меня поразил так, как никто до этих пор... Меня поразили его глаза: необыкновенно глубокие, темные, прозрачные и покойные... одевался в необычный костюм (вроде гусарского, но черный, с шелковым белым кашне вместо воротника и галстука); говорил намеренную чепуху. Садился посреди комнаты на пол... Его смуглое, вовсе не худощавое лицо стало вытянутым и желтым, от него всегда пахло удушливым, землистым запахом опия, как из могилы. Его комната была так продушена этим запахом, что я, просидев в ней полчаса, засыпал на диване. Он был пьян этим запахом каждый день». Из воспоминаний Л. Гуревича: «В обществе он чудил и любил говорить «пифически», иногда выражая нарочито дикими словами серьезную человеческую мысль».

Сблизился с Брюсовым. Во время первой встречи в 1894 году Добролюбов поразил Брюсова не только своими стихами, но еще более – оригинальной теорией литературной эволюции. Брюсов пишет в дневнике: «В субботу явился ко мне маленький гимназист... Он поразил меня гениальной теорией литературных школ, переменяющей все взгляды на эволюцию всемирной литературы, и выгрузил целую тетрадь странных стихов... выделял всякие странности, пил опиум, вообще был архисимволистом. Мои стихи он подверг талантливой критике и открыл мне много нового в поэзии».

В 1895 году Добролюбов издает свою первую книгу стихов «Natura naturans. Natura naturata» («Природа творящая. Природа сотворенная»). Стихи и прозаические отрывки. Издана на собственные средства, незначительным тиражом, в продажу не поступила. Книга принесла ему скандальную славу. Критикой встречена враждебно, отзывы резко отрицательны, стихи высмеяны. Таковы рецензии Буренина, Розанова, Вольнского. Буренин в статье «Литературное юродство и кликушество» высказал предположение, что автор, вероятно, уже давно «помещен на девятой версте и «выкликает» стихами и прозой именно оттуда». Вольнский: «Проза г. Добролюбова плоха, отрывочна и, в сущности еще более нелепа, чем его стихи». Тем не менее новаторство этой книги (структура, композиция, поэтика) предвосхитили чуть ли не все авангардные приемы новейших литературных направлений. П. П. Перцов отметил: «Первый сборник Александра Добролюбова, можно сказать, ошеломил критику и

публику, как свалившийся на голову кирпич. Все в нем пугало, начиная с непонятого заглавия...». А вот как охарактеризовал поэтику этой книги известный литературовед Ю. Орлицкий: «Важнейшее средство создания целого, используемое поэтом, – принципиальная полиметричность книги, включающей, наряду со стихами традиционного типа, и новаторские типы стиха (в первую очередь – тонику и верлибр), и прозу и вакуумные тексты». (Незаполненные текстом, чистые листы). Новаторство первой книги Добролюбова отметил и С. Н. Дурьлин: «Это первая попытка строить форму литературного произведения совершенно так, как строится форма музыкального произведения, – попытка поэта отнестись к речи так, как музыкант относится к мелосу...». Эти новаторские попытки Добролюбова полноценно реализовал Андрей Белый в своих знаменитых «симфониях».

По признаниям всех знавших его современников Александр Добролюбов был чрезвычайно цельная и волевая натура. Он не разделял творческое и жизненное: то, что писал, с еще большей силой и целеустремленностью делал в самой жизни и самой жизнью. По-настоящему он писал не на бумаге, а на собственной судьбе, как некую поэму самоосуществления. Первый с такой бескомпромиссной решительностью стал разрушать классическую традицию русской поэзии. Разрушать не ради самого разрушения, а в целях создания новых форм, расширив возможности стиха, прежде всего за счет возрождения форм русской народной поэзии. Экстремизм во всем, ничем не ограниченная свобода, отвержение морали, религии, норм поведения. Обладал огромной силой духовного воздействия, личность харизматическая, подчинял людей своей власти. Брюсов признается в письме к нему: «Я люблю вас всей душой или лучше всем сердцем, без рассуждений и с ненавистью». И жена Брюсова и сестра подпали под сильное влияние Добролюбова. Еще в годы учебы в университете стал главой кружка единомышленников. Один из них, жертва проповедей о самоубийстве, покончил с собой.

В 1898 году – духовный переворот. Из одной крайности в полярно противоположную, с присущим этому человеку максимализмом. Добролюбов порывает с божественной жизнью. Раздает свои вещи, книги и рукописи, отрекается от дворянского звания. Обращается к Иоанну Кронштадтскому, совершает паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Собирается постричься в монахи, служит послушником в монастыре на Соловецких островах. Через год покидает монастырь и отправляется странствовать по России. В крестьянской одежде, с посохом в руках бродил по деревням, записывая народные песни, заклинания, плачи и сказания. Ушел искать в народе самую последнюю, самую святую истину. В Поволжье становится главой секты «добролюбовцев» (секта «молчальников»), учение, близкое духоборам. Называл своих последователей «братками». Отрицание собственности, нищее житие, простой ручной труд, принцип «невидимого делания», независимая община земледельцев-крестьян – «свободных христиан». Написал «Манифест представителей ручного труда». Слагает песни и гимны для своего братства. В одной из этих песен есть и строка «Сестра моя

жизнь», которую Борис Пастернак поставил затем заглавием своего знаменитого сборника стихов. Со временем секта сделалась многочисленной (несколько сот человек). О своем перевороте Добролюбов так поведал в письме Владимиру Гиппиусу (май 1898 г.): «Раньше на словах и в мыслях, много позже на деле, овладели мной жестокий разврат, изысканные ощущения и доведенное до отвлеченности безумие конечного мира. Уже год совершался в глубинах моих новый поворот, и часто плакало сердце...». Через некоторое время появляется в Петербурге и Москве. Запись в дневнике Брюсова: «Он был в крестьянском платье, сермяге, красной рубашке, в больших сапогах, с котомкой за плечами, с дубинкой в руках».

В 1900 году при содействии Брюсова выходит вторая книга Добролюбова «Собрание стихов». Стихотворения, созданные Добролюбовым до «ухода» и после. Тираж 300 экземпляров, поступила в продажу незначительным количеством. Иван Коневской, автор вступительной статьи к этому сборнику «К исследованию личности А. Добролюбова» пишет: «... Выражая создаваемый им мир в словах, он более всего приблизился к той деятельности воли и ощущения, которая присуща человеческой природе в виде произвольного воображения... особое творчество, не художественное и не научное, а составленное из отражений и теней... Александр Добролюбов выбрал как наиболее целесообразный путь тайновидение и тайнодействие, то есть упражнения в тех состояниях души человеческой, которые были известны только чистым мистикам – новоплатоникам и агностикам». И как пример такого пути Коневской приводит стихотворение Добролюбова «Встал ли я ночью? Утром ли встал?». Сам Добролюбов называл свое видение мира «ментализмом». Брюсов в предисловии к этой книге отметил новации в стихосложении: «Сделана попытка освободиться от всех обычных условий стихосложения... Стих повинуется только внутреннему размеру настроения, а не внешним правилам». Отзывы критиков были не менее уничижительны, чем на первую книгу. Вольнский писал: «Поэзия Александра Добролюбова вовсе не есть поэзия, а скорее, – маниакальный бред замкнутой в себе и бесплодной души, лишенной таланта и живых взаимодействий с природою, с людьми, с искусством – тех настоящих, не фокусных «тайнодействий», из которых происходит художественное творчество». «Стихи Добролюбова сухи, вычурны и притом примитивно бессмысленны». Князь А. И. Урусов в опубликованном письме 4 июня 1900 г.: «Ну, а Добролюбов с Брюсовым, это уж – начистоту! Из клиники душевнобольных».

Третий сборник произведений Добролюбова «Из книги Невидимой» вышел в издательстве «Скорпион» в 1905 году. (Опять при помощи Брюсова). Тираж 400 экземпляров. Духовные стихи, гимны, молитвы, притчи, народное творчество, фольклор. Добролюбов так начинает свою книгу: «О языке без хитрых и ученых слов. Предупреждение так называемым образованным людям... живя среди всеми презираемых людей, я услышал их простой, глубокий язык и увидел, что он может высказать все так же и еще лучше, чем сухие слова образованных». В книгу включено «Письмо в

редакцию «Весов», содержит разделы: «Против романов», «Против стихов», «Против живописи и ваянья и архитектуры», «Против образования без веры и против всей мертвой жизни». Последний раздел: «В защиту только музыки и песни». «Из всех ваших искусств частью понимаю и признаю я в храме только одно – музыку и песню». Это была последняя книга Добролюбова. На многие десятилетия уход из литературы. Протест против образованного общества и людей умственного труда. Строжайший самозапрет на писательство и сочинение стихов. Признается в письме к брату (июль 1912 г.): «Несмотря на сильнейшее желание, не прикасаться к перу...». Рассылал письма писателям, Мережковскому, Минскому, Льву Толстому, Святополку-Мирскому, Андрею Белому, с призывом отказаться от литературы и «уйти» из общества. Сохранилось обращение к Андрею Белому: «От Александра Добролюбова. Брат Борис, немного ты знаешь меня. Я прежде принадлежал к вашей символистской школе в искусстве... Люди редко бывают искренни в стихах. Они изменяют слово ради наружной музыки. Брат, красота приходит только тогда, когда не заботишься о красоте, музыка приходит только тогда, когда не ищешь ее, радость приходит только тогда, когда ты мужествен и без нее. Это вечный закон!.. Ты продолжаешь Коневского, будь ему достойным наследником... Приближаются великие времена – только будем ли мы достойными работниками для этих великих времен?»

Добролюбов отрицал святость икон и самодержавной власти, убеждал крестьян отказаться от воинской службы. Жил без паспорта, не желая его иметь. Паспорт называл: «звериный зрак». Аресты, суды, тюремное заключение, психиатрическая клиника. В 1912 году исследователь русского сектанства А. Пругавин написал о Добролюбове большую статью. В ней говорится, что основа учения Добролюбова – постижение истины в молчании. Добролюбов учил: «Нужно сосредоточиться, нужно молча углубиться в свои переживания... Необходимо молча погрузиться в свои думы, всецело уйти в себя, в свой внутренний духовный мир...». По свидетельству знавших Добролюбова еще с юности, его глаза обладали особой силой воздействия. Дурылин вспоминает о своей встрече с Добролюбовым в 1905 году: «В белой длинной рубаше, подпоясанной истово и крепко, с внешним обликом крестьянина, с лицом поразительной красоты, он сидел за столом с одним из братьев. Речь шла о духовной жизни. Он слушал, почти не говорил. Говорили другие. И вдруг он останавливал на говорившем свои большие, прекрасные глаза с нежной твердостью и тихо предлагал: – Помолчим, брат. – Говорящий сразу замолкал. Вот когда молчание делалось действительно слышимым: было слышно, как все молчали, ... но только его молчание блистало как алмаз среди тусклой черноты нашего молчания».

После революции и гражданской войны секта распалась. Добролюбов нищий одиночка, кочевал по всей России, жил в Сибири, в Средней Азии, работал каменщиком, плотником, печником, маляром. Разочаровался в своем учении. Пишет в письме своим бывшим единомышленникам о том, что в итоге всех его духовных исканий пришел к окончательному выводу:

единственная истина и ценность – человеческая личность. «Я откинул всякое признание высшего существа свыше личности человека. Даже духовнейшее из таких познаний кажется мне одним из видов духовного или духовнейшего рабства... Свет, который я ощутил ясно внутренним взором своим, который я принимал за свет какого-то особого существа, – это был свет моей личности...» В 30-е попытка вернуться в литературу. Пишет одноактную драму «Пир в университетском городке Мадрида». Последние годы в Азербайджане, бесприютная, одинокая жизнь, впроголодь, истощение. Умер в 1945.

Александр Добролюбов стал легендарной фигурой. О нем сложился миф – поэт, постигший ущербность литературного творчества, ушедший из порочной городской культуры в народ, в жизнь. Уход в народ повторил за Добролюбовым другой поэт Леонид Семенов. Пример Добролюбова, возможно, повлиял и на окончательное решение Льва Толстого уйти из дома. И на его отречение от художественного творчества. С Толстым Добролюбов встречался трижды. Запись в дневнике Толстого (в сентябре 1903 г.): «Был Добролюбов, христиански живущий человек. Я полюбил его». 20 июля 1907 года Толстой записал в дневнике: «Нельзя проповедовать учение, живя противно этому учению, как живу я. Единственное доказательство того, что учение это дает благо, это – то, чтобы жить по нем, как живет Добролюбов».

О Добролюбове есть упоминания многих писателей. Ему посвящали стихи Блок, Брюсов, Клюев, Арсений Тарковский. Андрей Белый писал о нем: «... путь Александра Добролюбова: уже девять лет вместе с Власом идет он к «светлому граду новой жизни». Этот одинокий образ русского символиста, поборовшего нашу трагедию, не может не волновать нас: мы тоже пойдем, мы не можем топтаться на месте: но... куда пойдем мы, куда?». В романе А.Белого «Серебряный голубь» есть рассказ о декаденте, ставшем полевым странником – это о Добролюбове.

Запись Мережковского о встрече с Добролюбовым: «Я не сомневался, что вижу перед собой святого. Казалось, вот-вот засияет, как на иконах, золотой венчик над этой склоненной головой, достойной Фра Беато Анджелико». Мережковский даже сравнивает Добролюбова с Франциском Ассизским.

Блок посвятил Добролюбову свое стихотворение с эпиграфом из пушкинского «Жил на свете рыцарь бедный».

А.М.Добролюбов
А.М.Д. свою кровью
Начертал он на щите

Из городского тумана,
Посохом землю чертя,
Холодно, странно и рано
Вышло больное дитя.
Будто играющий в жмурки
С Вечностью – мальчик больной,
Странствуя, чертит фигурки
И призывает на бой.

В феврале 1906 года Блок писал И. М. Брюсовой: «У меня за последние годы все еще только готовится какое-то «отношение» к Добролюбову. Часто я закрывал глаза на него, иногда мне казалось воистину, что «А.М.Д. своею кровью начертал он на щите». (А.М.Д. – «Ave Mater Dei». «Славься, Матерь Божья». Слова католической молитвы. Буквы А.М.Д. совпадают с инициалами А. М. Добролюбова). И еще одно пересечение у Блока с Добролюбовым – сестра Добролюбова Мария, которая тоже стала легендой. Революционерка, член партии эсеров. Ее ранняя гибель (в 26 лет, самоубийство: протест против жестокости принципов революционного террора) поразила многих и стала общественным событием в России. Возможно, ее образ в стихотворении Блока «Девушка пела в церковном хоре...».

Борис Пастернак в письме Вересаеву в ответ на просьбу дать оценку стихам Добролюбова (20 мая 1939 г.): « В стихах Добролюбова (и на современный слух) остается ценным то, чем он дорожит больше всего и к выражению чего возвращается с учащенным упорством: понятие силы... одухотворенность добролюбовских стихов не попутное какое-нибудь их качество, но существенная сторона их строя и действия, и лишь как явление духа затрагивает она поэзию, а не прямее, как бывает с некоторыми порождениями последней».

Михаил Гаспаров о Добролюбове: «...самый дерзкий из ранних декадентов-жизнестроителей: держался как жрец, курил опиум, жил в черной комнате и т.д., потом ушел «в народ», основал секту «добролюбовцев», под конец жизни почти разучился грамотно писать...».

Добролюбов был до конца последователен в своих убеждениях, и тогда, когда эти убеждения у него менялись. Строил свою жизнь сначала по-символистски, затем с такой же подвижнической целеустремленностью по своему духовному учению. Он имел мужество отказаться от читателя – писать полностью непонятные, недоступные для читателя стихи, быть поэтом без читателя. «Печатать ни для кого, слишком для немногих». Добролюбов дает такое своеобразное определение поэзии и ее изменений (в пересказе слышавших из его уст): «Задача поэзии – изобразить видимое и чувствуемое в движении. Это аксиома. И вот движение, которое изображается поэтом, может быть изображено в целом ряде отдельных моментов. В каждом движении есть момент начальный, момент предельный и момент центральный. Момент центральный – это цельная сущность, объяснение всего акта данного движения. Им занималась классическая эпоха. Следующая эпоха изображала только конечный момент движения. Третья эпоха реалистическая, она стремится изобразить движение в целом, во всех трех моментах. Наконец, наш период – период символизма: мы изображаем только начальный момент движения, предоставляя остальное угадыванию». Добролюбов и называл свой поэтический метод «моментализмом».

В эстетике Добролюбова особое значение придается отдельному звуку. Его отрывок «Предание о зарождении языка: «... Мне стали нравиться слова, как цветы, духи. Я упивался мягкими согласными. Особенно полюбил я с тех пор «м». Так познал я разговор, вкусив от богини Афазии. Советую Вам

шествовать тою же запутанною прямее прямого дорогой глубин». (Афазия – нарушение речи, логического строя и смысловой связности). Звук в стихе приобретает самоценное значение. Идеал искусства для Добролюбова – музыка, все его стихи – попытка уйти из области слова в область музыки (вспомним декларации Фета и высказывание Чайковского о его поэзии: «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и делает смелый шаг в нашу область...»). Также у Верлена его знаменитое «музыка прежде всего»). Или вот самохарактеристика Добролюбова, данная им накануне «ухода»: «Неестественными нитями, словно неудачными путями, вьется, все развивается сдержанная, достойная смеха песнь моя. Много в ней некрасивого, и особенно все зрительное. Звуки же также самоуглубленны, изощренны и часто некрасивы в этих подробных изощренностях. Резкими, мелкими чертами сплетаются стулья, столы и книги для звуков, безмолвные звучные книги...»). В другом отрывке «Разлюбленные книги» Добролюбов говорит о себе как о поэте, о самоотверженности своего рыцарского служения: «Я видел раньше только Тебя, отчаянье разбило бы мой ум при одной мысли сухой о возможности другого. Ибо пред Тобою ходят все, о Искусство! Праведник Мира!» Добролюбов был этим самым «рыцарем странствующего ордена» по его собственному выражению. Рыцарь бедный. В наброске «К науке о прекрасном» он заявляет: «Важно и вечно с картиной зритель, не творец. О глубине его чувства, о знанье, пожалуй, – только об этом – заботьтесь. Творец же может быть сухим, восхищающимся насильно, работать для красоты, для мысли, из праздности, для друзей, лжив, искренен, тем и другим, может заботиться только об отделке слов. А искусство – искусство, оно не цель, не средство, и не опровергая ничего, чудеснейшим образом присутствует всюду».

Из стихотворений Александра Добролюбова

Встал ли я ночью? Утром ли встал?
Свечи задуть иль зажечь приказал?
С кем говорил я? Один ли молчал?
Что собирал? Что потерял?
– Где улынулись? Кто зарыдал?
Где? На равнине? иль в горной стране?
Отрок ли я, иль звезда в вышине?
Вспомнил ли что, иль забыл в полусне?
Я ль над цветком, иль могила на мне?
Я ли весна, иль грущу о весне?
Воды ль струятся? кипит ли вино?
Все ли различно? все ли одно?
Я ль в поле темном? Я ль поле темно?
Отрок ли я? Или умер давно?
– Все пожелал? Или все суждено?

НЕВСКИЙ ПРИ ЗАКАТЕ СОЛНЦА

Влага дрожит освежительно.
Лиц вереница медлительна...
Тонкие, мягкие пятна...
Шумы бледнеют невнятно.
Светлые башни. Вдали
Светлые тени легли.

Мутною цепью нависшие
Стены. Как призраки высшие,
Дремлют дома неподвижно.
Теплится ночь непостижно.
Зыблются краски... во сне
Зыблется лист на окне.

СВЕТЛАЯ

Горе! цветы распустились... пьянею.
Бродят, растут благовонья бесшумно.
Что-то проснулось опять неразумно,
Кто-то болезненно шепчет: "жалею".

Ты ли опять возвратилась и плачешь?
Светлые руки дрожат непонятно...
Косы твои разбежались... невнятно
Шепчут уста... возвратилась и плачешь.

Звездное небо, цветы распустились...
Медленно падают тусклые слезы.
Слышны укоры, проснулись угрозы...
Горе! цветы распустились!

МОЛЕБНОЕ

В одинокой горнице
Я склоняюсь в молении
Пред Великим Господом;
Поклоняюсь сладостный,
Словно цвет предутренний.

Словно цвет предутренний,
Мое сердце дрогнуло;
И зачем так боязно?
И зачем Ты встревоженный?
Не покинь бессильного
Средь степей голубеющих.

Средь степей голубеющих,
В одинокой горнице
Я боюсь очей моих,
Я боюсь очей моих
Моих рук нетрепетных.

Город и камня;
Нищая братия,
Плачьте, нищая братия!
Стены в туманах;
Молитесь боярам великим,
Знаменье творите.

Око мое непорочно;
Богу одному поклоняюсь,
Тихий цвет зарянице;
Нози мои белы,
Ходят по белым дорогам.

Нози мои белы,
Богу одному поклоняюсь;
Молитесь, нищая братия,
Молитесь боярам великим,
Плачьте предо мною,
Плачьте и молитесь.

Прощайте, птички, прощайте, травки,
Вас не видать уж долго мне.
Иду в глубокие темницы,
В молитвах буду и постах.
Иду в глубокие темницы,
В молитвах буду и постах.

Я друг был всякой твари вольной
И всякую любить желал,
Я поднял примиренья знамя,
Я объявил свободу вам.
Я поднял примиренья знамя,
Я братьями скотов считал.

Но вы живите и молитесь
 Единому Творцу веков,
 Благовестите мир друг другу
 И не забудьте обо мне.
 Благовестите мир друг другу
 И не забудьте обо мне.

Прощайте, пгички, прощайте, травки,
 Вас не видеть уж долго мне,
 Иду в глубокие подвалы,
 В молитвах буду и постах.
 Иду в глубокие подвалы,
 В молитвах буду и постах.

ЖАЛОБА БЕРЕЗКИ ПОД ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Под самый под корень ее подрезал он,
 За вершинку ухмыляясь брал,
 С комля сок как слеза бежал,
 К матери сырой земле бежал.
 Глядеть на зеленую-то радостно,
 На подкошенную больно жалобно.
 Принесли меня в жертву богу неведомому,

Срубили в начале светлой весны,
 Продали в великий праздник весны.
 Все порадовались листве моей,
 Никто не помог жалобе моей,
 Каждый ухмыляясь подходил,
 Каждый насмехаясь говорил...

Нет свидетельств, что Коневской и Добролюбов были лично знакомы, но оба учились на историко-филологическом факультете Петербургского университета в одни и те же годы, и тому и другому были близкими друзьями Владимир Гиппиус и Яков Эрлих, они могли посещать одни и те же литературные кружки и собрания в Петербурге. Оба общались с Брюсовым.

Судьбы Ивана Коневского и Александра Добролюбова мистичны и трагичны. Одаренные поразительными способностями, они словно бы принесены в жертву далеко уводящим тайным целям Поэзии. Один рано погиб, утонув в реке, как будто был позван и взят духами Природы, с которыми он говорил, как равный, в своих стихах. Другой рано оставил поэзию, тоже словно призванный на подвиг самоотречения – отречься от своего творческого дара, чтобы совершить духовный подвиг в самой жизни. Такие же жертвы – Веневитинов, Лермонтов, Грибоедов, Кольцов, Есенин,

Клюев, Гумилев, Хлебников, Маяковский. И Пушкин, конечно. И Блок. И Цветаева. Этот ряд можно далеко расширить. Их судьбы жертвенны. Священные жертвы Аполлона. Вот что сам Коневской писал о ранних трагических смертях Надсона и Гаршина: «Обоим суждено было попасть в число искупительных жертв, вечно требуемых историей в роковые минуты обновления жизни». Эти слова относятся и к нему самому.

Как сказал в свое время Кюхельбекер, еще одна такая жертва:

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию.

Но, может быть, следует задаться вопросом: а чем ценны эти два вспоминаемые здесь поэта непосредственно для нашего времени? Правомерно ли они поставлены в ряд перечисленных широко известных, великих имен? Может быть, они интересны только историкам литературы, критикам и литературоведам, элитарным знатокам и любителям поэзии? Созвучно ли творчество этих поэтов чувствам и думам, тревогам и чаяниям нашей эпохи? Или оно всего лишь анахронизм и не способно вызвать душевный отклик у ныне живущих? Думаю, что это не так. Современное прочтение их стихов утверждает обратное. Формы и приемы стихосложения могут устаревать и меняться, но не устаревает, не увядает сама поэзия. Если она есть, она говорит сама за себя, и ее ценность никому не надо доказывать.

Как выразился Фет:

Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.

Творческое наследие Ивана Коневского и Александра Добролюбова – ничем незаменимые ноты в единой симфонии русской поэзии, которая еще неокончена, еще будет продолжаться в сочинениях новых и новых поэтов, и эти две ноты необходимо участвуют в ее продолжении.

Н. И. Калягин

ЧТЕНИЯ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ. ЧТЕНИЕ 13

Некрасова сегодня проходят в школе и называют великим поэтом.

В прежней России, какой она была до февральской катастрофы, литератора Некрасова знали хорошо, но крупным поэтом не считали. Все понимающие люди в России (кроме единственного исключения, о котором я расскажу позже) понимали всегда, что обожаемый студентами и курсихами Некрасов – вообще не поэт. Такой это был, между понимающими людьми, секрет полишинеля.

Приведу классический текст А. В. Дружинина, в котором сказано о поэте Некрасове все главное, все необходимое.

Обстоятельный Дружинин начинает с описания чувств, которые испытывает дюжинный русский человек, подступившийся к сочинениям современников Некрасова – истинных поэтов (Тютчева, Фета, Майкова). Читая этих поэтов, дюжинные читатели «удовольствия испытывают очень мало, ибо, с одной стороны, не богаты чутьем на поэзию, с другой стороны, слишком самонадеянны, чтобы начать учиться сызнова. От поэтов, нами названных, они переходят к Некрасову. <...> И вдруг горизонт читателей проясняется, а сердца их трепещут от радости, как у ребенка, со скукой слушавшего увертюру оперы, но весело воспрянувшего, чуть поднялась занавесь и на сцене стали ходить люди, на двух ногах, с человеческими лицами. У господина Некрасова половина страниц (здесь Дружинин из дружбы привирает – следует читать: каждая страница. – Н. К.) совершенно понятна людям, даже ровно ничего не смыслящим. <...> Тут современный интерес, тут занимательный рассказ, тут печальная история, рассказанная так просто, как будто в прозе, там колкая насмешка, там железный стих, способный пробрать всякого человека. <...> Для людей с прозаическим складом ума, но все-таки порывающихся в область поэзии, половина трудов Некрасова есть перл, чудо красоты, великая находка! Над этими трудами они в первый раз могли сказать сами себе безо всякой неискренности: “Вот где поэзия, вот где мы все видим и понимаем!”».

Собственно говоря, на этом можно бы и закончить наш разговор о Некрасове, поскольку все остальные разговоры будут только разжевыванием и обмусоливанием бесспорных дружининских тезисов.

Но я понимаю, что любой русский человек «с прозаическим складом ума», окончивший среднюю школу и поэтому ничего не слышавший о Дружинине, а о Некрасове слышавший много лестного, спросит: «Почему я должен вашему Дружинину верить?»

Присоединю поэтому к дружининскому мнению ряд высказываний о Некрасове других знатоков дела.

Фет: «Тесная и грязная стезя, по которой пришлось пробираться Некрасову, может, независимо от прирожденного характера, объяснить его озлобление».

Фет еще: «Свободное искусство <...> требует от возникающего произведения собственного смысла независимо от какой-то внешней полезности, которую, очевидно, увлекался покойный Некрасов и так плачевно извратил вкус своих последователей».

В стихотворении, носящем характерное название «Псевдопоэту», Фет обращается к Некрасову прямо:

*Молчи, поникни головою,
Как бы представ на Страшный Суд,
Когда случайно пред тобою
Любимца муз упомянут.
На рынок! Там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца.
Там сбыт малеванному хламу,
На этой затхлой площади,
Но к музам, к чистому их храму,
Продажный раб, не подходи.
Влача по прихоти народа
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого: **свобода**
Ни разу сердцем не постиг...*

(В 60-е годы прошлого века построен был в Ленинграде новый продуктовый рынок, названный Мальцевским. Поскольку он помещается на улице Некрасова (бывшая Бассейная), а неподалеку от него возвышается памятник Некрасову, – то в народе этот рынок иначе, чем «Некрасовский», не называют. Никто и не знает, что он Мальцевский! Оцените же прозорливость Фета: тысячи и тысячи жителей Петербурга сегодня не только считают Некрасова великим поэтом, но и реально закупают снедь на Некрасовском рынке.)

Вспомним теперь ряд звучных и глубокомысленных стихов Никитина, так же непосредственно обращенных к Некрасову:

*...Как гроза, своим огненным словом
Ты царишь над послушной толпой.
Дышит речь твоя жаркой любовью,
Без конца ты готов говорить,
И подумаешь, собственной кровью
Счастье ближнему рад ты купить.
Что ж ты сделал для края родного,
Бескорыстный мудрец-гражданин?
Укажи, где для дела благого
Потерял ты хоть волос один!
.....
Нищий духом и словом богатый,
Понаслышке о всем ты поешь
И бесстыдно похвал ждешь, как платы,
За свою всенародную ложь.
Будь ты проклято, праздное слово!..*

Вспомним стихотворение Владимира Соловьева, так же обращенное к Некрасову (первоначально оно называлось «Поэту-отступнику»):

*Восторг души расчетливым обманом
И речью рабскою – живой язык богов,
Святыню муз – шумящим балаганом
Он заменил и обманул глупцов. <.....>*

Возвратимся к презренной прозе.

Петр Ильич Чайковский, отозвавшись о Фете как об одном из величайших лириков земли (в переписке с К. Р.), вспоминает попутно и о противостоящей ей «ползающей по земле поэзии» Некрасова.

К. Леонтьев: «Некрасов просто был подлец, который эксплуатировал наши модные чувства <...>, нашу зависть к высшим, нашу лакейскую злость».

Еще Леонтьев: «Фет – поэт, а Некрасов – тенденциозная, грубая и лживая дерзость».

Мы помним, что Некрасов всячески призывал на русскую землю то блаженное *времечко*, когда населяющее ее крестьянство обгешется, подучится – и заинтересуется литературой. *Белинского и Гоголя с базара понесет*. Николай Клюев, первый русский крестьянин, сумевший занять видное положение в литературе (оставшись при этом породистым русским крестьянином и не сделавшись безродным расхристанным российским интеллигентом), отзывался о Некрасове так: «Живописание Некрасова ничуть не выше изделий Творожникова, Максимова и при самом добром отношении – Богданова-Бельского. По мудрости он идет плечо с плечом с Демьяном Бедным».

Тот же Клюев в юбилейные дни 1927 года (50-летие со дня смерти Некрасова: почему-то в советском государстве подобные «похоронные» даты отмечались особенно широко) отзывался о юбиляре так: «Глухонемой к стройному мусикийскому шороху, который, как говорит Тютчев, струится в зыбких камышах, Некрасов как художник мне ничего не дал ни в юности, ни тем более теперь».

А вот Розанов, вспоминая о призывах Некрасова к учащейся молодежи «гибнуть безупречно» (то есть вступить в «стан погибающих», то есть стать бомбометателем), восклицает горестно: «О, Некрасов! Некрасов!!! Ты ходишь по шиколки в крови человеческой!»

Подобные выписки я мог бы продолжать бесконечно, но хватит, полагаю, и тех, что сделаны.

Каким же чудом попал Некрасов в великие поэты? Какой богатырь сумел возвести Некрасова на поэтический Олимп, все вышеприведенные критические стрелы отразив?

Никакой тайны тут нет. Богатыря звали – Корней Чуковский.

Потомственный одессит и ведущий журнальный критик предреволюционных лет, попавший после октябрьского переворота в вопиющие условия бесправия и нищеты, искал выход из создавшегося положения. Выход нашлся. Для переезда из русской литературы в литературу советскую Корней Иванович, как я уже говорил однажды, выбрал надежную *пару гнедых*: Некрасова и Авдотью Панаеву. Все-таки эта лихая пара была причастна к большой литературе: пересекалась так или иначе с Достоевским и Толстым,

Тургеневым и Фетом, Дружининым и Боткиным... Все-таки приятнее было заниматься Некрасовым и Панаевой, чем обязательными в первоначальные советские годы Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург!.. Все-таки Некрасова и Авдотью можно было нахваливать, «сохраняя осанку благородства»: можно было делать вид, что ты не за пайками гоняешься, продавшись с потрохами новой власти, но занимаешься наукой. Открытия совершаешь.

Впрочем, Чуковский не сам выдумал Некрасова – классика русской литературы. Подказали ему это «открытие» акмеисты, начавшие незадолго до февральской катастрофы поднимать Некрасова на щит. Для борьбы со стареющими символистами, со всеми их «гуманами» и «зорями», плотяной, земляной Некрасов очень даже подходил.

*Генерал Федор Карлыч фон Штубе,
Десятипудовой генерал,
Скушал четверть телятины в клубе,
Крикнул «Пас!» – и со стула не встал.*

Этими стихами искренне восхищался Гумилев. Действительно недурной, плотный анапест. Действительно эти недурные стихи символизмом даже не пахнут.

Но я не думаю, что Гумилев помнил какие-нибудь другие стихи Некрасова наизусть. Не следует вообще переоценивать интеллектуальный багаж Гумилева; не нужно слишком серьезно воспринимать «теоретическую базу акмеизма».

Акмеисты были прежде всего нахальные дети, очень талантливые мальчики и девочки. Эти милые забияки нападали на старших символистов сразу по нескольким направлениям: интересующее нас сегодня «некрасовское» направление атаки сводилось вкратце к следующему. «Символисты опираются на Тютчева и Фета. Некрасов выше Фета! Мы опираемся на Тютчева и Некрасова».

Недооценка Фета – родовое отличие всех акмеистов без исключения. К сожалению, они слишком серьезно отнеслись к высказыванию своего кумира Анненского о «немецкой бесстыльности» Фета... Но, повторюсь, не следует слишком серьезно относиться к детским оценкам.

Если бы Гумилев своевременно прочел слова Фета, затерявшиеся в одном из частных его писем: «Жаль, что новое поколение ищет поэзию в действительности, когда поэзия только запах вещей, а не самые вещи», то, думается, он смог бы тогда взглянуть на свой «акмеизм» строже... Впрочем, не изучавший ничего всерьез Гумилев был достаточно серьезен в своих лучших стихах. Да и не было, правду сказать, в лучших стихотворениях Гумилева никакого такого специального акмеизма.

Пронырливый Чуковский подметил своевременно, что в Некрасове, презираемом всеми образованными людьми, «что-то такое есть», раз Гумилев это видит. И при случае пустил гумилевское открытие в ход.

Прекрасно зная те отрицательные отзывы знатоков дела о Некрасове, которые мы сегодня вспоминали, Чуковский начинает их перелицовывать – приспособлять ко внезапно просиявшей миру марксистско-ленинской истине. В принципе он принимает все мнения знатоков, – но по-другому их трактует.

Хорошо «увлекаться внешней полезностью», хорошо, когда стих «волочитя по земле», хорошо, когда поэт бродит по щиколотки в крови... Этого же не было в поэзии до Некрасова! Это же – открытия!

Закончился весь этот филологический блуд к обоюдному удовольствию Некрасова и Корнея Чуковского. Первый был признан классиком русской литературы, последний стал Героем Социалистического Труда. Но я не вижу причин, по которым нам следовало бы сегодня, когда марксистско-ленинская истина отменена, относиться серьезно к тому «прошлогоднему снегу», каким являются фактически труды Чуковского о Некрасове.

Конечно, Некрасов – не поэт. Некрасов – литератор, который никогда не согласился бы с тезисом Майкова: «Муза не должна вас кормить».

Некрасов – загадочный и страшный человек.

Думаю, что Чезаре Ломброзо, взглянув на бледную физиономию «классика русской литературы», узнал бы в нем своего клиента. Некрасов по сути своей преступник: дерзкий, предприимчивый, сентиментальный (лучшие два стиха Некрасова, на мой вкус: «*Но и зубами моими // Не удержал я тебя*», – они обращены к любимой женщине). Некрасов не брезговал и прямой уголовщиной (вспомните, как наш поэт на пару с Авдотьей ограбил старуху Огареву: комар носу не подточит!.. Преступление для всех очевидное, а *привлечь* нельзя), но основные свои доходы Некрасов имел от издания революционно-демократических сочинений, заниматься которыми в царской России, как мы не раз уже замечали, было выгодно экономически.

В погоне за выгодой Некрасов способен был зайти очень далеко.

Вспомним Игнатия Пиотровского, молодого писателя, совращенного Некрасовым на «гесный» и «честный» путь нигилиста. Столкнувшись на этом пути с полицией, Пиотровский угодил в крепость на два месяца. Выйдя на свободу, Пиотровский попросил у Некрасова денег – в залог будущих революционно-демократических произведений (замечу в скобках, что несчастный Пиотровский не был бездарностью). Некрасов Пиотровскому денег не дал. 19-летний Пиотровский застрелился.

Авдотья Панаева пишет в своих воспоминаниях, что Некрасов не виноват в случившемся. У него была примета – не давать в день игры денег в долг. Просто неудачный день выбрал Пиотровский, чтобы попросить денег у Некрасова... Замечу на это: много ли было в неделе таких дней, в которые Некрасов не играл бы?

Фет не был причастен нигилизму, никогда не просил у Некрасова денег в долг, но печатался до поры до времени в некрасовских изданиях. И вот как отзывался Фет об обычных редакторских приемах Некрасова: «Разумеется, припев один: дай тексту и подожди деньги». Достоевский, печатавшийся всегда у Каткова, захотел однажды найти издателя потаровитее – и напечатал «Подростка» у Некрасова... Перемена издателя оказалась неудачной. Нуждающийся постоянно в деньгах, набирающий авансы в счет будущих текстов, Достоевский убедился вскоре, что с Некрасовым такие фокусы не проходят. «У Некрасова просить еще *не-воз-можно*; да и наверно *не даст*. Это не Катков, а ярославец».

После смерти Некрасова Достоевский посвятил его памяти четыре главки в «Дневнике писателя». В них он попытался найти ключ к загадочной личности поэта и отыскал его в следующих стихах:

*Огни зажгались вечерние,
Был ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.
В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубенка овчинная.
В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени, –
В кармане моем миллион.*

«Миллион, – восклицает Достоевский, – вот демон Некрасова!»

В Некрасове не было вульгарной страсти к «золоту, роскоши, наслаждениям», уточняет Достоевский. «Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и унижительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной <...>. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца». «Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого».

Некрасов действительно жил среди петербургского люда, оградившись от него каменной стеной. Он пробирался среди людей, как матерый волк: никому не смотрел в глаза, не любил никого. Любить он мог только революционно-демократических покойников (Белинского с Добролюбовым) да «мужика».

В общем, как замечает Достоевский, «демон осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел».

О Некрасове как о ярославце заговорил при мне однажды Кирилл Бутырин. Привожу (не дословно, конечно, но близко к тому) его пронизательные слова: «Все знают, что у поэта Некрасова был brutальный отец, развратный, грубый пьяница, и была святая страдалница мать. Но до чего же странно отразилось такое положение дел на поэзии Некрасова! Все лучшее в ней – бойкая народная речь, ладность, хватливость – от ярославца-отца. Все худшее – мрачная слезливость, вечное нытье, “пятна желчи”, о которых, применительно к некрасовской поэзии, писал уже в начале 50-х годов Аполлон Григорьев, – от матери-польки».

А вот суждение Розанова, проливающее дополнительный свет на поэзию Некрасова: «В нем удивительно много великорусского, даже ярославского: таким “говором”, немножко хитрым и нахальным, подмигивающим и уклончивым, не говорят, наверно, ни в Пензенской, ни в Рязанской губерниях, а только на волжских пристанях и базарах. И вот эту местную черту он ввел в литературу и даже в стихосложение, сделав и в нем огромный и смелый новый шаг, на время, *на одно поколение* очаровавший всех и увлекший».

Суть розановского высказывания (оставшаяся, возможно, скрытой от самого Розанова, не так уж и хорошо в поэзии разбиравшегося) в том и состоит, что Некрасов – смелый, предприимчивый и удачливый человек, но поэт он совсем слабый. Поэт он ничтожный.

Вспомним Дениса Давыдова, который первым ввел в русскую литературу местную краску («гусарская» тема), сделав тем самым «огромный и смелый новый шаг». Но никто же, кроме генералов, не считал никогда Дениса Давыдова великим поэтом. Все знают, что Денис Давыдов – поэт великого случая.

Вспомним Языкова, получившего от Бога (или, если угодно, от матери-природы) огромное поэтическое дарование, но близко не знавшего, что ему со своим дарованием делать. Тогда он поплелся по выбитым следам Дениса Давыдова, ввел в литературу новую местную черту («студенческая» тема) – и тоже попал в случай, тоже на одно поколение всех очаровал и увлек.

Некрасов, имевший от природы малое совсем поэтическое дарование, точно знал зато, что ему со своим дарованием делать: бежать, задрать штаны, по Невскому проспекту (подвывая на бегу, что эта-то дорога – единственно «честная» и невозможно «гесная»), распевать по ходу про всех своих «огородников», «коробейников», «бурлаков».

Естественно, он попал в такой случай, который не снился Денису Давыдову или Языкову.

Невидимым основанием для успеха явилась как раз «местная краска»: подмигивающий и уклончивый народный говор, подслушанный поэтом в детстве на волжских пристанях и базарах (а может быть, унаследованный непосредственно от ярославца-отца). Что же касается оснований видимых – увольте меня от дальнейших разговоров на эту неаппетитную и не интересную тему.

Представляю, как огорчится иной читатель, искренне влюбленный в поэзию Некрасова, столкнувшись с моими неприязненными отзывами. «Но это совершенно невозможно, – скажет он, – отказывать в звании поэта Некрасову, который создал превосходные печальные истории, рассказанные так просто, как будто в прозе, который сочинил превосходные железные стихи, способные пробрать всякого человека!..» Тут мой оппонент процитирует десяток-другой убойных некрасовских строк, а потом воскликнет: «По-вашему, это плохо?! Да эти строки – они вошли в русскую культурную сокровищницу, прикипели, так сказать, к народному сердцу! О чем вы вообще говорите?!»

Я говорю о том, что в нашей культурной сокровищнице (в одной из ее кладовок) содержатся стихотворные тексты, ничем не уступающие лучшим некрасовским: «*В лесу родилась елочка, // В лесу она росла...*», «*Ах ты, сукин сын, камаринский мужик...*», «*Он был титулярный советник, // Она генеральская дочь...*», «*Крутится, вертится шарф голубой...*» – при этом никто не называет Раису Кудашеву, Трефолева, Вейнберга и А. И. Маркова великими русскими поэтами. Ну так остыньте и вы в отношении к однотипному с ними поэту Некрасову. Тем более что ничего близко похожего на песни «*В лесу родилась елочка...*» или «*Шумел камыш, деревья гнулись...*» Некрасов (в плане прикипания к народному сердцу) не сочинил.

А. В. Осипов

Мое беспечное незнание

*Мое беспечное незнание
Лукавый демон возмутил,
И он мое существование
С своим на век соединил.
А. С. Пушкин*

В те далекие времена, когда мир был многолик, прекрасен и нов, я много ездил. И чтобы коротать время в пути, обычно брал из дома или покупал в вокзальном киоске какую-нибудь книжку. Чаще всего попадался небольшой сборник Пушкина или Лермонтова – в те времена этих поэтов часто печатали в самых разных изданиях. Читать дома стихи некогда – работа, быт, и поэтому поездку принимаешь с некоторым удовлетворением. Конечно, читал ради удовольствия, а в комментарии, а тем более в предисловие, никогда не заглядывал. И не задавался целью узнать, когда написано и кто издал. Читал и почти обливался слезами над вымыслом. Но мое беспечное незнание не могло долго продолжаться.

Когда это произошло, что я стал читать предисловия, – не могу сказать. Помню только, что от скуки. А потом и от любопытства. Все-таки гражданская позиция, свобода и всякое такое. И понеслось.

Как будто я попал в другой мир. Мир комментариев, статей Пушкиноведов, статей о статьях пушкиноведов, биографий не столько Пушкина, сколько тех, кто писал о творчестве Пушкина. Так мы, придя домой из оперы, уже не печалимся о гибели Ленского, но переживаем, как плохо прозвучала его ария, обсуждаем с друзьями, кто смог бы спеть лучше.

Перестал я наслаждаться, как прежде, поэзией, но стал задавать себе вопросы, захотелось узнать не только в каком году сеятель вышел из дома, но даже и во сколько. Стал задавать себе вопросы, но на некоторые ответов так и не нашел. Пару таких вопросов я и предлагаю читателям.

Вопрос 1. В каком году появились первые образы «Горя от ума»?

В первом выпуске альманаха «Консерватор» (Конфуций и другие) приведен отрывок из стихотворного послания Пушкина своему дяде Василию Львовичу:

*Почтен, кто глупости людской
Решит запутанные споры;
Умен, кто хитрости рукой
Переплетает меж собой
Дипломатические вздоры
И правит нашу судьбой.
Смешон, конечно, мирный воин,
И эпиграммы самой злой
В известных «Святках» он достоин.*

Это послание датируется 1817 годом. Александр Сергеевич уже вполне владел разными стилями, и, в частности, столь витиеватым. Но не вызывает сомнения, что в этом отрывке речь идет о Скалозубе – герое комедии Грибоедова. Не рано ли появился этот герой?

Википедия датирует появление замысла комедии в голове Грибоедова 1822 годом. Это позже даты, проставленной под стихотворением. Правда, Грибоедов, когда ему было двадцать лет, то есть в 1815 году, издал комедию «Молодые супруги», но она уж никак не может претендовать на право называться «святками». Была еще симпатичная комедия «Студент» с мольеровским сюжетом, написанная совместно с Катениным, а в ней персонаж Саблин. Но этот Саблин был вполне положительным героем и никоим образом не мог быть мишенью эпиграмм. Может быть, чуть раньше начала зарождаться идея комедии и стали вырисовываться первые образы? Это может быть, поскольку двадцать лет – замечательный возраст. Да и Пушкин пишет про Грибоедова тех лет то, что он вполне готов был к этому. Отзыв Пушкина хорошо известен, но не вредно его еще раз привести:

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе, и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств Он почувствовал необходимость расстаться единойжды навсегда с своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздною рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами.

То есть очень правдоподобно, что замысел комедии уже зародился до отъезда Грибоедова в Грузию. Но ведь Пушкин не пишет об этом. Да и Грибоедов не говорит ни о каком успехе своих эпиграмм:

Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставило меня портить мое создание, сколько можно было.

Таким образом, если и возникали идеи комедии, но во всяком случае говорить о ее популярности (то есть считать «святками») до отъезда Грибоедова на Кавказ не приходится.

Тогда взглянем на вещи с другой стороны. Автограф послания к дяде не сохранился. Первая публикация появилась в 1824 году в «Полярной звезде» – той самой звезде, которую, быть может, Пушкин имел в виду, говоря о сеятеле, вышедшем из дома довольно-таки рано. (То есть свободу этот сеятель воспел еще до того, как это делали редакторы «Звезды».) В этом номере альманаха были напечатаны стихи Баратынского, Дельвига, Батюшкова и многих других замечательных поэтов. Там же впервые увидела свет «Элегия»: *«Редует облаков летучая гряда, Звезда печальная, вечерняя звезда...»*

Но в этой первой публикации послания нет указанного отрывка с «дипломатическими вздорами». Там печатается только часть стихотворения, причем именно со строчки, начинающейся сразу после «святков». С тех пор эта финальная часть и рассматривается зачастую как отдельное, законченное стихотворение:

*Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах,
Вдали забав, и нег, и граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В тибурских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,
Не ведают, что скука, страх;
Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.
Счастливы, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!*

Поработала ли цензура? Кто теперь может сказать? Но очень непохоже на то, что кусок, который мы привели в самом начале, был более поздней вставкой. Совершенно незаметны «склейки». Скорее всего стихотворение следует датировать более поздним временем.

Вопрос 2. Что такое «хранительная стража»?

Стихотворение «Мирская власть» написано Пушкиным в 1836 году (5 июля – дата, которая зафиксирована в автографе).

*Когда великое свершалось торжество
И в муках на Кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животворяща Древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли, бледные, две слабые жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь Креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража? –
Или Распятие казенная поклажа,
И вы боитесь воров или мышей? –
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно Плоть Свою
Бичам мучителей, гвоздям и кошию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?*

Не вызывает сомнения, что образ, представленный в нем, является аллегорическим, но при этом он столь отчетлив, что версии, указывающие на непосредственный повод к написанию поэтической картины, вертятся вокруг него.

Павел Васильевич Анненков, подготовивший издание 1857 года, написал в примечании, что «первая мысль этого стихотворения была дана Пушкину, как мы слышали, французской гравюрой из эпохи известного конкордата между Наполеоном и папой. Гравюра изображала распятие с двумя часовыми из старой гвардии императора».

Николай Васильевич Гербель, подготовивший берлинское издание 1861 года сочинений поэта, дает еще более наивное объяснение: «Стихи написаны по тому случаю, что на выставке около картины Брюллова, изображавшей распятие, были поставлены часовые для предупреждения тесноты от толпы».

Петр Андреевич Вяземский при подготовке издания 1870 года предположил, что поводом послужил тот факт, «что в страстную пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах у плащаницы». На это есть, кроме всего прочего, то простое возражение, что распятие и плащаница – не одно и то же.

Дмитрий Мережковский в книге «Пушкин» расширил с помощью своего богатого воображения версию Гербеля:

Незадолго до смерти он увидел в одной из зал Эрмитажа двух часовых, приставленных к «Распятию» Брюллова. «Не могу вам выразить, – сказал Пушкин Смирновой, – какое впечатление произвел на меня этот часовой; я подумал о римских солдатах, которые охраняли гроб и препятствовали верным ученикам приближаться к нему». Он был взволнован и по своей привычке начал ходить по комнате. Когда он уехал, Жуковский сказал: «Как Пушкин созрел и как развилось его религиозное чувство! Он несравненно более верующий, чем я». По поводу этих часовых, которые не давали ему покоя, поэт написал одно из лучших своих стихотворений.

Далее идет само стихотворение и загадочный комментарий в стиле, созданном самим Мережковским:

Символ божественной любви, превращенный в казенную поклажу, часовые, приставленные Бенкендорфом к распятию, конечно, это – с точки зрения эстетического и религиозного чувства – великое уродство. Но не на нем ли основано все многовековое строение культуры? Вот что сознавал Пушкин не менее, чем Лев Толстой, хотя возмущение его было сдержанное.

Похоже, что здесь мы имеем дело с эффектом испорченного телефона, умноженным на эмоциональное воображение автора.

Существует также очень много описаний фона, на котором мог возникнуть эпизод, лежащий в основе стихотворения. Например: «негодующий протест против грубого вмешательства военной-полицейской силы во внутренний мир человека и – еще более – протест против отрицания со стороны самодержавия власти человеческих прав «простого народа»». (Измайлов Н.В. 1954.) Говоря о небольшом цикле стихотворений поэта, написанном летом 1836 года, тот же исследователь пишет:

Это было время, когда Пушкин, издатель «Современника», вел упорную борьбу с цензурой за направление и самое существование своего журнала, отбиваясь от нападений своих литературных врагов – Булгарина и Сенковского; время, когда он, писатель, гражданин и глава семьи, все сильнее чувствовал окружающую его ненависть «света», ощущал сжимающееся кольцо клеветы и предательства, все более задыхался в тягостной зависимости от русского самодержавия и вместе с тем – все глубже понимал и отрицал буржуазный строй Западной Европы и лжедемократию Соединенных Штатов Америки; время тяжелых раздумий поэта о своем положении и будущем, об отношении к самодержавной власти и к обществу, о свободе творчества и свободе мысли, стесненных и погрязших современным общественным строем.

Заметим, что это пишет зять главного обвиняемого по делу Платонова, человек, который сам только год как вернулся из лагерей и ссылки. Конечно, по сравнению с 19 веком напряжение вокруг Пушкина резко возросло.

Попробуем уменьшить это напряжение, отвлечься от этой «тягостной зависимости» и представить себе нормального взрослого человека в расцвете творческих сил. Что его может заинтересовать, кроме лжедемократии Соединенных Штатов? Корпускулярность материи? Гравитационные волны Вселенной? Вроде бы нет. Но вот то, что происходило в области государственного строительства, его интересовало. И не только его.

19 января 1833 г. Государственный Совет был созван в чрезвычайное собрание. На столе советской залы лежали 60 томов конченных изданий (Свода законов Российской империи). Сам Государь открыл заседание, объяснил дело, и в заключение, обняв Сперанского, снял с себя Андреевскую звезду и надел на него. Этот момент изображен на монументе императору Николаю.

М. Погодин. «Сперанский». РА. 1871

Это издание Свода законов в 1832 году с ежегодными дополнениями (в 1836 году вышло третье) мы и признаем за повод к написанию «Мирской власти». Во втором выпуске альманаха «Консерватор» приведена пара «охранительных статей» этого свода, главная часть которых сводится к следующему предложению:

Кто в публичном месте, при собрании более или менее многолюдном, дерзнет с умыслом порицать христианскую веру или православную церковь, или ругаться над священным писанием или святыми таинствами, тот подвергается:

лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от шести до восьми лет.

Эта ссылка в «Консерваторе» сопровождается цитатой из известного публицистического произведения Томаса Джефферсона «Заметки о штате Виргиния».

... наши правители могут иметь лишь ту власть над нашими естественными правами, какую только мы передали им. Прав свободы совести мы никогда им не передавали и не могли передать. За них мы отвечаем перед нашим Богом... Лишь одно заблуждение нуждается в поддержке правительства. Истина стоит сама по себе. Подверните мысль насилию – кого вы изберете при этом в судьи?... К чему приводит принуждение? Одна половина человечества превращается в дураков, а другая – в лицемеров. Поощряется мошенничество и обман во всем мире...

Незадолго до появления «Мирской власти» Пушкин пишет «Анджело».

*Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем, наконец, уже садятся птицы.*

В том же 1836 году в статье «Вольтер» Пушкин ссылается на некоего господина Рюфе корреспондента Вольтера, который упоминает «устрицу Лафонтена» – персонаж басни «Устрица и спорщики».

Шли два Прохожие по берегу морскому,
 И видят: Устрица большая на песке
 Лежит от них недалеко.
 «Смотри, вон Устрица!» – сказал один другому.
 А тот нагнулся уж и руку протянул.
 Товарищ тут его толкнул;
 И говорит: «Пожалуй, не трудися,
 Я подыму и сам: ведь Устрица моя».
 «Да, как бы не твоя!» –
 «Я указал тебе...» – «Что ты! Перекрестися!» –
 «Конечно, первый я увидел...» – «Вот-те раз!
 И у меня остер, брат, глаз». –
 «Пусть видел ты, а я так даже слышал носом».
 Еще у них продлился б спор,
 Когда б не подоспел судья к ним Миротвор!
 Он начал с важностью по форме суд допросом,
 Взял Устрицу, открыл
 И – проглотил.
 «Ну, слушайте, – сказал, – теперь определенье:
 По раковине вам дается во владенье;
 Ступайте с миром по домам».
 Все тяжбы выгодны лишь стряпчим да судьям.

Не столько скептически, сколько настороженно относился Пушкин к изданию Свода законов. С одной стороны, прогресс вроде бы. С другой – мнение Тацита: *«Гибнущее государство имеет множество законов»*.

С одной стороны, шаг в направлении построения конституционного строя. Какая же конституция без Свода законов? А ведь у России еще не было конституции. Как же так? Без конституции не примут в единую семью европейских народов. У Польши есть конституция, а у России нет.

С другой стороны, Пушкин явно симпатизирует патриархальному пониманию вины и наказания:

– *Иван Игнатьич!* – сказала капитанша кривому старичку. – *Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи.*

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

С одной стороны, выписаны до мельчайших подробностей меры наказания, а с другой –

*Мы дики; нет у нас законов,
 Мы не терзаем, не казим –
 Не нужно крови нам и стонов –
 Но жить с убийцей не хотим...*

Непонятно все это. Если правоведение – наука, то какие у нее аксиомы? Каковы должны быть основные положения этой науки и что такое «естественное право»?

ГЕРМАН ИОНИН

ОКТАБРЬ. СТО ЛЕТ.

(Заметки вымышленного Персонажа)

Мы и теперь спорим: революция или переворот... Но второй из этих синонимов – русский перевод первого из них. Заменяя и подменяя термин, мы ни на шаг не подвигаемся дальше. И какие бы *pro* и *contra* по этому поводу ни звучали сегодня, масштаб события остается неизменным. И столетие Октября само по себе с годами обнаруживает свой смысл. И любые оценки и переоценки возвращают к нему. И она, революция, и отдаляется от нас, и приближается к нам.

Да, дело не в том, как мы к ней относимся. Куда важнее то, как она отнесется к нам в ближайшие годы... Ее последствия живы. Ее приметы неумолимы. Нет, разумеется, никаких повторений. Грядет нечто новое. И оно в родстве с тем, что было. Попробуем разобраться. Пока не поздно.

У нас любят говорить о недавней революции 90-х годов. Лукавим. Это была контрреволюция. Разрушать легче, нежели созидать. Отчасти поэтому советская страна рухнула так легко и быстро. И вот мы третье десятилетие пытаемся и все не можем преодолеть последствия этой катастрофы. Лучшего памятника Октябрю нельзя и вообразить.

По сути, Октябрь – понемногу – совершается вновь. И в новых условиях. И в небывалых формах. И потому неузнаваемо. И потому неосознанно. И потому лишь отчасти. И не вполне. И так долго. И, кажется, безысходно.

А на самом деле – нам самим нужно переродиться. Вспомнить себя. А, вернее, явиться вновь. И мы вспоминаем – и сожалеем, что прошлое невосвратимо. Желаемое невозможно. И даже кто-то, утешая себя, полагает сейчас, что катастрофа 90-х была неизбежна. Ради обновленного преодоления. А оно, по мнению многих, уже началось.

Не удивляйтесь. Меня тут нет. Я вымышлен. Я Персонаж – наподобие смешного человека у Достоевского. Мысли мои совпадают с вашими или нет, – мне безразлично. Разумеется, никаких снов я не видел. И, может быть, не так уж смешон. Вероятно, и выдумывать меня было незачем. Но так получилось.

Во всяком случае, несмотря на нынешнее «все дозволено», я свободнее вас. И добровольно позволил себе отказаться от того, что сейчас – обязательный стереотип. Да, я не очень-то современен. А почему-то предполагаю, что многие, очень многие будут согласны со мной. Потом. Ну, ладно. Хватит. Я возвращаюсь. Позже сверим наши часы. И выясним, насколько, может быть, я ошибся...

Октябрь. Октябрь...

Сам он в родстве с другими событиями века. В России и в мире. С двумя мировыми войнами и гражданской войной. Причем гражданская война для меня – апокалипсис всего нашего бытия. Страшнее ничего быть не может.

Она продолжение 1917-го года. Она обнаружение мирового смысла невиданной и до сих пор не понятой эпопеи. Но то, что завоевано тогда, уже никто никогда не отменит.

И вот недаром об Октябре 17-го мы пишем в феврале нового года. Тогда, сто лет назад, как сейчас, объединились против нас европейские государства. Вечные соседи и среди них недавние союзники. И как теперь, тогда мы, россияне, готовы были пойти против самих себя.

Тогда пошли, а теперь почти готовы пойти.

Неверно, что в гражданской войне не может быть победителей. В той войне были. Те, кто защитил нечто большее, чем рожденную в Октябре советскую власть. Позднее победа на новом витке истории подтвердилась Великой Отечественной войной.

Старая истина. Вновь нужно было выстоять перед всей Европой. И вновь победа. Нравственная и воинская. И опять она оказалась больше, чем любая другая, возможная и невозможная в мире, победа. Она, по-моему, от начала и до конца, ниспослана ходом истории. Потому и увлекла за собой освобожденные от фашизма европейские страны.

Чувствуете, выдуманный Персонаж возвращает нас к недавней идеологеме? Потому что она, идеологема, оказалась верна?.. Никакие факты и возражения уже ничему не помогут. И, главное, внутренне вы согласны. Ну, отбросьте ложный и лживый стереотип. Не только логика Персонажа, но и события нынешних дней возвращают вас на сто лет назад.

И сейчас, мы чувствуем, готово повториться то же самое. И другие правительства, под эгидой нынешнего, а быть может вчерашнего хозяина мира, у нас на глазах, идейно и вооруженно по-прежнему объединяются – против страны Октября. А на нашей Украине – та же гражданская война. Внутри еще недавно одного народа. И снова эта война – эпизод мобилизации других государств против нас. И только одно отличие. Теперь впервые мы даем бой на чужой территории (Сирия).

Я, Персонаж, не статистик. Интуиция и свобода от лишнего знания. И на мою сторону понемногу становится все больше и больше тех, кто себя зовут россиянами. А те, кто еще не понял, скоро станут изгоями. И я же сам должен буду их защищать. Просто, по-человечески. Сам не отступая от побеждающей правды.

Итак, Сирия... В схожей роли Россия выступала, повергнув не только Гитлера, но и, прежде, других врагов и завоевателей... Европа уже прежде была спасена Россией. Об этом – в письме к Чаадаеву Пушкина. И в «Скифах» Блока. Спасая себя, спасала других. И до сих пор и впредь наперекор любым агрессиям у нас будет поднято знамя нашей отечественной войны.

Только так, только в такой связке я, Персонаж, рассматриваю и понимаю революционный Октябрь. И оцениваю, казалось бы, враждебный мне советский период отечественной истории. Весь он гражданская и отечественная война. И разумеется, постсоветское время и нынешний этап в

условиях нового мира и новой, вполне возможной или уже идущей третьей войны мировой.

Я, Персонаж, литератор. И подобное осмысление истории имеет аналог с историей литературы. Но об этом аналоге потом. Придет осознание неотменяемой правды. И увидим тогда, как развеются многие новомодные литературные мифы.

Видите, в этой статье Персонаж торжествует. Именно тем, что он – из тех, кто мыслит – сейчас почти один против всех. А тем не менее, эти все, что бы ни говорили вслух они сами и все вокруг, наедине с собой, говорят себе то же, что он, против других идущий и выдуманный.

И при этом он слышит и знает наши аргументы против себя.

1.

Вот один аргумент. Предлагаемый подход вроде бы не содержит в себе ничего нового. И вся наша публицистика и все дискуссии на телевизионных каналах уже освоили связку мировых событий. Но роль Октябрьской революции по-прежнему остается непонятой или заведомо оболганной. Значит, наша тема заново требует к себе иного внимания.

В чем причина вечных и никогда не исчерпанных споров? Ну, разумеется, прежде всего здесь важно столкновение уже навязших в зубах различных политических и иных трактовок (либеральная, коммунистическая, православно-патриотическая, монархическая и мн. др.). Правда факта, в разной степени, присуща каждой из них. Но в любом случае мы видим тенденциозный подбор доказательств. Что-то выдвинуто на первый план, что-то «забыто». Полная фактическая аргументация едва ли доступна (многое не выявлено, а многое уже никогда не будет открыто). Тенденциозная верность идее тоже не новость. А сознательно допущенная неполная правда – это ложь, даже если она обоснована сокрушительным количеством подтверждений.

Где же выход?

Кто-то уже приводил такую аналогию. Когда вплотную видишь руины, каждая подробность, если дорисовывается до целого, то ложится в основу еще одной версии. А если взглянуть на руины с птичьего полета, отдельные части выстраиваются в картину единого целого, и руина уже сама надстраивает себя. И тогда дорисовывать целое легче. Конечно, ошибки возможны и здесь. Но аргументом становится выявленная целостность, и порою даже утраты деталей не так заметны. Их тоже можно дорисовать, и уже без особых ошибок.

Победа красных в гражданской войне – это разрешение первой мировой войны и качественный итог нового этапа революции. Поэтому при всех утратах и насилиях, которыми катастрофы сопровождаются, победа несет в себе положительный исторический смысл. Да, он далеко не всеми признан. Но его, хотим, не хотим, надо признать. Точно так же несомненно, как исход в Великой Отечественной войне. Еще раньше, убежденный противник советской власти и революции, Николай Бердяев, в целом, со многими оговорками, сделал такое признание в книге «Истоки и смысл русского

коммунизма» (задумана в 1933, изд. в 1937 гг..) Полезно сравнить эту книгу с брошюрой «Духи русской революции». Мы видим, какая разница в оценках и в тональности!

Гражданская война переросла в мировую войну на нашей территории, если учесть поддержку белых западными державами, участниками первой мировой бойни. И не только белые, но и державы Запада в этой схватке потерпели полное поражение. Трудно оспаривать такую реальность. Фашизм – своеобразная попытка реванша. И опять поражение. И вновь победа революционной России. Как бы ни оспаривали положительный исторический смысл нашей победы, правда на стороне итогов и завоеваний Октября. Хотите, не хотите, фатальная правда. Уже потому, что на нее сейчас ополчился весь ложно цивилизованный мир.

Казалось бы, вот она – изоляция. Но в массе своей народ чувствует в себе прежнюю, былую опору. И потому остается народом. И в нем по-новому оживает не только чувство правды, но и правда факта. И опять поражения, поражения и в них наша победа. И новое подтверждение столетнего Переворота.

Но вот уже в миллионный раз очень серьезное возражение. Победа – благодаря Октябрю или вопреки ему? Pro и contra известны. И вновь нужен целостный метод и взгляд. И вновь перед судом истории предстает знакомая коммунистическая версия. Победа и поражение большевизма. И, кто знает, быть может, и опять в итоге неизбежно обновленное возрождение коммунистической веры?

Казалось бы, сама идея, со всей очевидностью, рухнула в 90-е годы. Но вместе с ней рухнул и Советский союз. И целая Россия оказалась в прежней опасности, как ровно сто лет назад.

И чтобы одолеть эту опасность, – грядет, на нашей российской почве, новый опасный виток изоляции всех, кто против того, во что мы верили семьдесят лет. И многое из революционного и советского опыта невольно, в измененных смыслах и формах потребует возвращения. А литературная жизнь пойдет параллельно этим реальностям, по возможности отражая их.

Итак, неужели мы, при всех неожиданных ипостасях столетней правды, увидим грядущую победу нового Октября? И при том никакой реставрации? Или это иное, серьезное невообразимое обновление/искушение, которое тоже нужно осознать во всей полноте?

Во всей полноте – это значит не боясь кричащих противоречий. Не так ли? Они признак жизни? Пусть они будут. Лишь бы интуитивное чувство правды не покинуло нас. Правды целого в пространстве и времени.

Персонаж продолжает заметки свои.

Да. Теперь против Октября пытаются направить возрожденную православную веру и вытянутую из прошлого идею монархии. Президент – монарх? Но поражение белых, среди которых тоже не все монархисты, ясно отмечает эту неправду.

А вот с православием дело сложнее. Тут все иначе – в основе.

И мой Персонаж идет против попыток подмены. У него свои основания. И не надо выдумывать. Признаемся. Кое-что из его биографии. Он шестилетним ребенком уже был православным. Да, так было. Могу доказать. И, главное, он не скрывал своей веры. И все, о чем говорят сегодня, пережил и в те сороковые, и в те пятидесятые годы. И тогда нашел решение, о котором, кажется ему, до сих пор не знает никто.

И теперь он, пройдя столько десятилетий, решается громко объявить о том, что он тогда пережил. Тем более. Его чувства и мысли совпадают с тем, что переживал тогда целый народ. Втайне. Не говоря вслух.

И все-таки и тогда Персонаж сделал свой выбор сам, а вовсе не потому, что подчинился чему-то извне. Сам и по-своему.

И об этом он обязательно скажет. Сжато и откровенно. И может быть, станет он тогда не таким уж выдуманным и смешным.

И всю жизнь он пытался написать об этом. И вот не получалось никак. А ведь это главный вопрос. И что? Неужели теперь пришла пора нарушить молчание?

2.

Персонажу трудно. И все-таки он предварительно проговорит нужные формулировки.

Да, конечно...

Вожди октябрьской революции, вслед за К. Марксом, в основу истории полагали классовую борьбу. Но придется напоминать: Маркс решал вопрос о борьбе классов исторически. Теоретик учил: в грядущем будет создано бесклассовое царство свободы. В этом же смысле наш Ленин строил свою теорию государства как временной формы, с последующим его отмиранием. Также должно было отмереть имперское политическое насилие.

И что же мы видим на практике? Преодоление классовых разграничений и борьбы классов в какой-то мере состоялось в Советском Союзе (новая общность – советский народ). А после того как СССР рухнул, выяснилось: классы (уже другие!) остаются реальностью. И борьба между ними разворачивается тут же у нас на глазах. И отсюда обоснованность новых и новых революций. Само это слово становится модным. Разумеется, с отрицательным знаком. И мы это видим и признаем, но не делаем исторических выводов. Потому что, повторяем, Октябрь в принципе победил. И вот нынешняя коммунистическая партия о возможности еще одной революции в России мудро молчит. Кругом грозы, бури, перевороты. А у нас, видимо, все уже было? Зачем вновь то, что уже совершилось?

А если это не так? Что если и сейчас, по существу, еще только совершается новый Октябрь? Да, Октябрь – без революции? Гроза, но без катастрофы? Или, как мы уже говорили, все это есть в новых, неузнаваемых формах?

И теперь. Не менее серьезный и еще более трудный вопрос о связи этой новой революционной идеологии и традиционной российской духовной культуры.

Материализм – идеализм, атеизм – религия (прежде всего – православие), идеологический диктат и свобода. Проблемы необъятные и уже неисчислимо и, казалось бы, полно освещенные. А на самом деле готовятся новые прорывы, исследования, озарения?

С материализмом вроде бы мы разделились. А в действительности? Все надо заново?.. Он, материализм, имел установку на научное познание. Он в основе своей одна из гипотез. Ибо до сих пор не объяснен переход от материи к сознанию. А сознание?.. И вот ничего не выходит: неужели эта версия – из числа вечных гипотез? Как и идеалистическая – она ведь не объясняет изначальный генезис духовных начал... И что? Должны существовать обе системы? Насильственное предпочтение одной из них антикультурно?

Вот оно, уже давно явное первое идеологическое поражение Октября. Но потенциально оно и сейчас вбирает в актив культуры все ценное, что несет в себе атеизм. Таким образом, поражение и все же не вполне поражение.

Из сказанного понятна необходимость присутствия в духовной культуре религиозного компонента, который находится в сложном соотношении с научным. Это вторая поправка к идеологии Октября. Поражение тоже неполное, ибо при таком подходе оказывается, что материализм – другая религия, придающая материи все атрибуты божества.

Этот идеологический «недосмотр» атеистического материализма имеет огромное значение. Здесь полемика Н. Бердяева с Лениным была бы чрезвычайно плодотворна, выявляя явные недостатки атеизма и вместе с тем раздвигая религиозный компонент в системе духовной культуры. Ну, разумеется, речь идет не о конфессии, которая вообще выводит религию за пределы культуры, ибо вера для верующих, несет в себе нерукотворное начало, откровение. Но атеизм, всемерно, позитивистски усиливая научную основу культуры, объективно способствует утверждению паритета религии и науки. Таким образом, и Ленин, и Бердяев почти в равной степени правы и неправы.

Вопрос о паритете религии (в широком смысле), науки (тоже в широком смысле) и искусства не стареет. И до сих пор он по-настоящему не поставлен. «Паритетная» постановка его исключает крайности, в которые, как правило, мы любим впадать. Идеология – определенный срез духовной культуры, который не должен ее подменять. Революционная идеология и ее развитие в советский период ярко выявила отступление от этого, тогда еще не заявленного (или не осознанного) принципа. А изучение культурного противостояния Ленина и Бердяева в таком аспекте помогло бы прояснению путей духовной победы будущего.

Практически этот объективный закон действовал и неосознанно давал о себе знать по-разному на разных этапах развития советской и постсоветской литературы. Он многое определяет и может определить для становления нового, еще небывалого искусства слова. И новых путей оценки его. Здесь важен учет идеологических установок и свобода от любого, самого общепризнанного идеологического диктата. Полезно соотнести этот подход с нашими «любимыми» и до сих пор «вечно живыми» партийными установками.

Коллективизм, соборность и персонализм. Здесь версия Н. А. Бердяева, если бы его вовремя слушали, была бы чрезвычайно плодотворна для развития советской культуры, литературы и новой социальности. Бердяев провозглашает приоритет личности, которая, в отличие от индивидуальности, нацелена на свободу, на преодоление так наз. «объективации». Соборность для Бердяева – гарант подобной свободы.

Творчество – внутреннее условие личностного освобождения. Здесь у Бердяева очень много верного, важного для решения проблем коллектива и личности. Церковь, по Бердяеву, тоже подвержена объективации. Философ мог бы внести в коммунистическую доктрину важные поправки. Он верно улавливал слабые моменты теории коммунизма. Но и сам впадал в крайности. Отсюда его выход в ненавистный Ленину мистицизм и др.

Да, такой диалог был бы возможен. Он не состоялся. А что сейчас? А что в будущем?

И тут мы подходим к вопросу о том, как, без реставрации пережитого, выправить ход поступательного движения истории. То, что такая попытка будет испробована, вполне вероятно. И все дело в том, как ее осуществить без перекосов и крайностей. Иными словами, как усвоить главный урок истории, не допуская заведомого отступления от верного пути, от которого мы, как показывает опыт, отступали, даже когда он вроде бы теоретически был вполне ясен. Порой кажется, что подобные отступления – естественная форма движения вперед. И так, одна ложь против другой дают правду? Но правда ли это (спрашивал Достоевский в «Дневнике писателя»)?

Тридцать лет нашей контрреволюции. Срок недопустимо огромный. После опыта девяностых годов никто не захочет и не сможет его повторить. Да и вообще – не будет никаких повторений. И память о нем никогда не иссякнет.

Сейчас нужно признать – капитализм на российской почве *провалился*. А вот социализм и коммунизм, несмотря на чудовищные и явно неверные формы осуществления, напротив, обещает свои новые достижения. Много, почти все, можно и нужно сделать иначе. И что же? Кому-то хочется попытаться вновь?

Здесь корень ностальгии по советскому прошлому. Не повторять его, а, избегая прежних ошибок, в новых условиях и совсем по-новому пройти тот же путь. К иному итогу. И что же? Такое возможно? Оглянитесь. Число думающих так растет. И, может быть, скоро в большинстве своем люди это осознают и примут. И не только россияне. И может быть, новое осознание иприятие станут исторической силой?

3.

Не будем спорить о том, насколько реальна эта фантазия. Такой прием. Свобода воображения. Да, вообразим. Вот мой Персонаж. И не историк. И не политолог. И не политик. А, допустим, герой какой-нибудь выдуманной повести. Не больше того. Герой. Наивный и, слава богу, свободный от любых ограничений и поправок здравого смысла.

Вы понимаете, реальность ныне уже настолько абсурдна, что персонаж в ответ может позволить себе. Нечто подобное. Любой встречный абсурд. При одном условии. Он будет за действительность выдавать желаемое. А там посмотрим. Вдруг оправдается.

Между прочим, каждый из нас использовал этот прием. Забыли? Приводишь мысль в порядок и невольно воображаешь... Писатели – чаще всего. Умение вернуться к хорошему началу, к тому, от чего началась ошибка. И не обязательно самое начало шахматной партии. Хотя можно и так.

Начало. Ты совершенно чист. И пока не сделал даже первого хода. Или уже понял. Первый ход безупречен. И что бы ни было дальше, нужно вновь с него начинать. Много, много раз. Бесконечно, бесчисленно. И только с него.

Подумай. Такое вполне возможно. Он. Твой изначальный чистый момент всегда наготове. Вспомни. Оглянись. И ты себя именно так поправлял много раз. Вот он, момент чистоты и правды. И пока еще нет никакой вины. И пока еще нечего поправлять. А ты уже поправляешь.

Удивительный парадокс. Подобное порой бывает в политике. Именно в ней. Ты начинаешь совсем новое дело. И ни одной глупости. И ни одного преступления. Нет за тобой. Конечно, политику труднее всего запомнить такие минуты. Но ты оглянись.

А у народов бывают? Подобные годы, и дни, и минуты? Подобные рубежи? Или у них отсутствие осознания и есть постоянное, неизменное почти состояние той невинности. И вот получается – силы, творящие историю, ни в чем не виноваты. И могут заново начинать в любую минуту. Или, может быть, они всегда жертвы?.. И не больше того?

И в самом деле: где центр любого сознания человеческих множеств, которое ответственно за все преступления национальной истории. Классовое сознание? Биологическое? Расовое? Совпадение воле, хотений – причина того, чего никто не хотел? Так? Еще и еще раз... Те же софизмы?

Не прерывай мысли. Она и есть этот центр. И пока ты в самом начале. И уже в миллионный раз заново проходишь тот же путь размышлений. И ты еще пока ничего не совершил из того, что нужно было бы поправлять. Все правильно. И не мешай самому себе.

И не забывай. Ты Персонаж пока еще не написанной, не созданной эпопеи. Тебе доволена любая, самая детская мысль. И пока она еще не родилась, ты чист, и нет за тобой никакой вины. Но как только первая ошибка. Будь беспощаден к себе. И начинай вновь с этого мгновения невинности и чистоты.

Итак, прежде всего... Революция, в жизни человеческих множеств, народов – это и есть центр осознания. Многие думают сходно, составляют силу. И уж если что-то не получилось, новая революция, новый центр. То же самое – заново.

Вот, все очень просто. Есть о чем подумать. И где же она – твоя беспощадная мысль? То, что считают стихией, трагедией, катастрофой – момент осознания для целых народов и классовых сил – простите, вынуждены употребить забытое выражение.

Оно забыто. Но смысл у него сегодня совсем другой. И мы не будем сейчас уточнять. Но мы чувствуем, – и достаточно. И по крайней мере, Персонажу нечего поправлять.

Ну, смелее. Еще и еще один шаг – по тому же пути.

Быть может, мы подбираемся к мыслям самым опасным, какие только могут быть и бывали. Но пока еще этих мыслей нет. Персонаж на пороге открытия. И он вполне понимает весь ужас нового шага. Тем более – вот он, сегодняшний момент российской истории...

Уже не только твой Персонаж. Но понемногу нация россиян, или, по крайней мере (скажем осторожнее), большинство российского населения близки к тому, чтобы почувствовать и пережить именно то, что уже теперь знает наш Выдуманный или ты сам, ты, тот, кто сейчас размышляет.

Нет, нет. Мы далеки от мгновения или момента, с которого надо бы начинать. Мы далеки. Но он, этот момент, сам стремительно приближается к нам. И нужно, чтобы где-то и кто-то помог. И взял на себя труд осознания. Вот, хорошо. Ну... Теперь чувствуешь или нет?

Странно, странно. Уже в литературе был такой Персонаж. Он проговорился однажды. И эта его оговорка... многого стоит. И мы читали. Раз и другой. Неисчетно. И пропускали. И вместо озарения – пустой пробел. А там как раз мгновение, с которого надо было бы начинать... И беспощадный пример тому – как мы, озаренные правдой, вдруг тут же совершали подмену.

И это произошло с целым народом или с теми, кто брал на себя миссию выражать самосознание нации (были такие!) и как они, изменив правде, сотворили с целой страной то, что мы видим, и почему Россия стала такой, как сейчас.

Да, был такой персонаж. В литературе... И у него своя история. И свое продолжение. Но Персонаж только на ту минуту, когда он проговорился и незаметно для нас выказал великую правду. Ее. Ту, которая в нас была. И которой мы изменили.

Выказал. И тут же посмеялся над ней. И не то слово. Не посмеялся, а много хуже. Пока не подберу точное выражение. Оно есть у меня. Однако сейчас мы не пойдем. Если я впишу его в эти строки...

Проговорился Черт. А Персонаж... Он совсем другой – он тот, кого Черт не смог обмануть. Попробуем. Восстановим ошибку. И, может быть, – хотя бы словесно! – избежем совершенной подмены.

4.

Помните, Черт говорит Ивану тривиальные вещи... О том, что «новые люди», желая разрушить все, думают начать с антропофагии. Он их одобрительно поправляет: «Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо только разрушить в человечестве идею о Боге». Это все тривиально. И потому Черт продолжает.

А, может быть, шепчет он, и не придется разрушать. Ведь человечество, когда-нибудь (он в это верит) все поголовно отречется от Бога («этот период, параллель геологическим периодам, совершится»). «Тогда падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое...»

И сейчас мы повторяем эти слова Черта как аксиому и без конца, и этими формулировками «разоблачаем» нашу революцию и наш советский период отечественной истории. Черт предсказал, но все равно – тривиально. И вот, наконец, он добирается до самой сути. И в его словах вдруг то, что мы, читатели, пропускаем....

Да, – иронизирует Черт, – при таком безбожном мировоззрении, «люди совокупаются, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире». Счастье, радость – хорошо, а как же смерть и бессмертие души? А как же прежняя нравственность? Не торопитесь. Вчитаемся глубже.

«Да, всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды». Вот и ответ!

И это еще не все... А если, – добавляет Черт, – каждый полюбит, и «без всякой мзды», «то все решено, и человечество устроится окончательно». Вот где уже нет никакой тривиальности. Черт проболтался. Здесь он уже не воплощение самого худшего и пошлого, что есть в Иване Карамазове. Здесь он выражает своей оговоркой то, что делает Ивана носителем идеи, которую М. Бахтин мог бы назвать «моделью мира».

Но самое интересное то, что эта модель уже знакома России. И мы знаем (или должны знать), что именно она «перевернула мир» и обозначила и определила советский период как величайшую кульминацию мировой истории. И кульминация эта совершилась именно здесь, тут, на нашей земле.

И вот именно благодаря этой идее Иван Карамазов – герой Достоевского, он тот, кому автор отдал свои самые заветные и скрытые мечты и надежды.

В самом деле, если смертный человек, призванный создать царство Божье на земле, даже без идеи бога возлюбит брата своего «уже безо всякой мзды», то тогда ему и впрямь можно все позволить. И даже Христос тогда склонился бы перед таким человеком. И вот. Если так произойдет со всеми, то человечество и впрямь «устроится окончательно». А ведь мы уже были на этой вершине...

Что же случилось? Черт лучше всего может нам объяснить. И его злорадство перекроет все наши сегодняшние «проклятия» Октябрю.

Да, период почти поголовного отречения от идеи бога тогда наступил. А вот люди – каждый! – все же не возлюбили брата своего «уже без всякой мзды». Нет, возлюбившие были. Достоевский сказал бы: народ, в массе своей, в какие-то мгновения состоял из таких людей... . Целый народ, он, тот, кто сделал выбор в гражданской и отечественной войне.

И тут же, поднявшись на вершину, люди одновременно совершили подмену. И постепенно, десятилетие за десятилетием, весь народ ее совершал. И процесс этот идет у нас на глазах. И мы в нем участвуем. Несмотря на то, что вроде бы вернулись к идее бога. И оказывается, такое возможно.

Еще бы... Черт всегда рядом. А где же тот человек, смертный и любящий? Где он? Где она, оговорка Черта? Слышите его смешок? Вы, даже те, кто сегодня обрели изначальную веру?

Иными словами, где наш Персонаж? Призовем его снова, хотя бы на время.

Он говорит нам: причина катастрофы – наше неверие в Человека. Попробуем сформулировать: Богу нужна именно такая вера. Не в него самого, не в Бога, а в Человека. Именно эта вера. Потому что именно она и есть наш единственный Бог.

Если такой веры нет, Черт победил. И недаром он у Достоевского так запредельно злораден. Ибо нашел дьявольски точное слово. О том, как мы, почти уже воплотив идею Человека, «смошенничали»...

Точно. И это мошенничество было особым, ибо оно потребовало «санкции истины», без которой «русский современный человек» и «смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил».

Не будем спешить. Здесь нужно разбираться подробно. И только тогда, быть может, мы ответим Черту, и не впадем в безумие Ивана Карамазова. И отстраним его от себя. И сами себя от себя отстраним. И вернемся к себе.

Итак, вера в Человека, та, которая и есть вера в нашего Бога. На всех этапах отечественной истории. Вера, которая, осознанно или неосознанно, несмотря на все испытания и катастрофы, охраняла нас более тысячи лет.

Давайте, поговорим на пророческом языке литературы (в этом смысле – у нас есть своя Библия). И это язык искусства слова. Язык Персонажей. И не таких, как в этой статье. А исполненных подлинно художественной силы. И все же – рассмотрим их под знаком того, что на секунду осознали сейчас.

Еще и еще раз. Что произошло? Почему, по видимости или окончательно, Черт победил? И действительно ли это победа?.. Или подмена? Которой можно было бы избежать, если бы мы условно, или хотя бы мысленно, вернули тот рубеж, откуда можно было бы вновь начинать единственно верный и единственно ожидаемый Богом исторический путь.

Но – увы! – уже тогда одновременно с верой жило наше неверие. И все же...

Сколько замечательных людей породила та, уже бывшая в истории, послеоктябрьская эпоха. И в гражданскую войну появлялись такие люди. Да, они, такие, те, кто сегодня, кажется, даже не могут присниться. Или еще снятся порою.

Мы всячески пытаемся их сейчас оболгать. И теперь, в 2018-й год. Но они были. И целый народ жил их верою и, повторяем, сам становился таким. И родилась послеоктябрьская эпоха. И ради такой веры было все. Даже самые страшные испытания и преступления.

Помните у Тургенева, из его стихотворений в прозе? Там девушка и на преступление готова. «Дура! – проскрежетал один голос ей вслед. Но тут же. «Святая!» – отозвался другой.

Достоевский идет дальше. Его Черт воссоздает ход мысли «юного мыслителя» (Ивана Карамазова и подобных ему): «Так как Бога и бессмертия все-таки нет» (а в массе своей люди не возлюбили друг друга), «то новому человеку позволительно стать человеко-богом даже хотя бы одному в целом мире... и с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду раба-человека, если оно понадобится... «все дозволено» и шабаш!»

Вот в чем, по логике Черга, состоит наше мошенничество. Прикрываясь притом «санкцией истины» (безупречно сияющей идеей «светлого будущего»). Мы совершили его. Именно эту истину мы мошеннически «возлюбили» в течение века. И постепенно любовь истощивала себя, потом оставалась лишь видимостью. И кончилась наконец...

А теперь на помощь пришла отвергнутая недавно вера в Бога, при отсутствии надежды на Человека. И вот прежние люди исчезли... Вернулся человек-раб. И Черт очень доволен. Потому что наше неверие – исток и корень всех наших нынешних абсурдов и любой из нынешних бед.

Мы потеряли ту высоту, которая, может быть, и не будучи осенена окончательной истиной, все же несла в себе нетленный свет духовного подвига, за который может проститься даже неверие в Бога. Ибо это любовь безо всякой мзды, любовь, которая могла бы окончательно устроить все человечество.

Она, эта любовь, и сейчас готова прийти нам на помощь. Слышите, что она обещает? Победу над смертью. Преодоление того, что, кажется, нельзя одолеть и поправить.

«Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своей и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресений, и примет смерть гордо и спокойно, как бог... Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную...»

Да, повторим, в этих словах нет санкции окончательной истины, но тут обозначен подвиг, до которого может подняться Человек. И такого Человека Бог (если он есть) примет. И при этом откроет ему новые, может быть, еще более ослепительные тайны.

Впрочем, если верить, и сам человек предназначен их открывать.

Неужели на этот рубеж, опровергая злорадство искусителя, мы могли бы вернуться?

Пока лишь мысленно, разумеется. Но это и есть подаренное нам, единственно возможное сейчас наше начало начал. Что же? Вновь несбыточная мечта? Чистая вера в пустыне горького, непоправимого опыта? Или возможность, возвратясь на единственно верный путь, «жить, не засоряясь впредь»?

Во всяком случае, Достоевский, вполне искушенный в страшных реальностях человеческой жизни, допускал такую возможность. И заранее знал, что это удел – «смешного человека». Рассказ о таком Персонаже у Достоевского хронологически предварял главу о Черте. Сначала во втором томе «Дневника писателя» (1877), а уж затем и в последнем, незавершенном романе о Карамазовых.

Достоевский «знал», кто такой «смешной человек».

Вспомним: «гнусному петербуржцу» в момент, когда стало уже совсем

«все равно», приснилось, что он попал на изумрудную планету, двойник Земли, где жило человечество, не знавшее грехопадения. И там он, принеся в себе заразную «грихину» своего земного опыта, развратил всех безгрешных инопланетян и они стали во всем подобны землянам. И тут же, проснувшись, герой рассказа отрекается от мысли о самоубийстве, отрекается ради благой вести, которую он узнал.

Там, на изумрудном двойнике земли, они, люди, зараженные одним из нас, решились и сами захотели уподобиться нам. И уподобились. Но теперь мы могли бы уподобиться им, тем, какими они были до грехопадения. Смешной человек видел, какими были они.

Видел, и для него это истина. Пусть ее узнают земляне. И если, узнав это, они захотят, все и сразу, то смогут, по образу сна, вернуть свой «золотой век».

Там герой рассказа развратил всех. Здесь он, рассказом о своем сне, быть может, всех спасет. Сначала пусть узнают, а потом, если захотят, все устроится. Это смешно? Конечно. Ибо для трезвого скептика смешна почти всякая вера. А уж особенно какая-то «вера в человека». Но ведь в ней и все спасение наше.

Так у Достоевского.

Кстати, в рассказе «Сон смешного человека» у жителей «изумрудной планеты» нет какой-то особой религии, веры в персонального Бога. «Золотой век» безбожен, потому что Бог в людях, пока они не совершат грехопадения. Помните сон? Они и смерть принимали спокойно. Они относились друг к другу так, как хотели бы, чтобы другие относились к ним самим. Вот и все. Одна только эта заповедь. Исполни ее, и все устроится «в один день, в *один час*»...

Нет, скепсиса у смешного человека достаточно. Он знает, что этого никогда не будет. И даже в его сне люди не удержались... И не только потому, что они узнали о гнусной петербургской жизни, а потому что они узнали и захотели сами свободно попробовать, испытать на себе эту жизнь. Ну а теперь пусть земляне и петербуржцы узнают о том, что золотой век возможен. Пусть узнают и пусть захотят.

И это уже не смешно. По Достоевскому – реально. Потому что отвечает природе человека и потому что возможно.

И вот, написав такой рассказ, он создает главу о Черте, куда все-таки включает благою весть о новом, небывалом, будущем золотом веке.

Повторим: смешной человек при этом не проповедует веру в персонального Бога, он благовествует о возможностях человека, в которых воплощается Бог.

При этом Черт «проговаривается» о том, будущем этапе истории, когда люди уже не останутся наивными невинными детьми. У них за плечами станет вся гнусная, греховная земная жизнь и, с другой стороны (если продолжить Достоевского сегодня), у них за плечами окажется катастрофический (или спасительный?) наш Октябрь 17-го года и его кровавые последствия.

О! Роман «Братья Карамазовы» нужно теперь не только читать или

перечитывать, но и дописывать... мысленно. Алеша Карамазов не Иван. Он уже любит ближнего своего «безо всякой мзды», но он, даже веруя в персонального Бога (завет старца Зосимы), возможно, по замыслу Достоевского (одна из версий!), пойдет и на царевубийство?... Т. е. он окажется одним из предшественников нашего «столетнего» Октября?.

Да, роман не завершен. Он на середине. Но и в написанных главах Алеша в чем-то близок Ивану. Нет, ему не грозит встреча с Чертом и безумие. Но вспомните возглас «Расстрелять!» (в момент рассказа о генерале, затравившем ребеночка собаками) и его поцелуй Ивану, «повторивший» поцелуй Христа Великому Инквизитору....

Да, несомненно. Черт «предчувствует» Алешу и тщетно пытается искусить его так же, как Ивана. Видимо, тщетно. И недаром в главе «Черт» появление Алеши (стук в раму окна) прерывает галлюцинацию брата.

Но и сам поцелуй Ивану (и Великому Инквизитору) несет в себе много значений и смыслов. В своей поэме Иван, быть может, полагал, что Христос этим поцелуем признал правоту Инквизитора.

Однако ведь недаром старец Инквизитор отрекается от замысла сжечь плененного еретика. Недаром он отпускает узника, и повеление («...ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!») звучит как молитва. Еще бы. Инквизитор, после поцелуя Христа, понял: этого пленника сжечь нельзя. Голгофа уже была. А Пленник придет. Потому что это подлинно он, Христос.

Глава «Черт» «скольцовывает» евангельскую тему «Братьев Карамазовых». После тайной победы Христа черт уже не может успокоиться. Но, если Иван ввергнут в безумие (тоже знак несогласия), то Алеша для него недоступен уже никогда.

Трудно усомниться. Алеша пройдет все искусства и по-своему, по-особому, фантастически останется верен себе. И знак этой верности – наш страшный Октябрь.

Тогда Черт вроде бы уже был побежден. Но он победил сейчас. Через сто лет. И его появление (наша эпохальная галлюцинация!) более часто, нежели духовное возвращенье Христа. Напомним: Черт всегда рядом. И наш скепсис, вытесняющий веру в человека и в Бога, вроде бы нашептан врагом. Вроде бы, ибо враг внутри. Он мы сами. Он наша галлюцинация. До сих пор. Незримо и повседневно.

А страницы Достоевского, при всем их ужасе, дают опору. Черт «проговаривается». О Макаре Девушкине, о князе Мышкине, об Алеше. О тех удивительных людях, благодаря которым человечество устроится. Если они не совершат подмены и не изменят себе.

А теперь их нужно обнаруживать. Но как? Они были у нас, есть и будут. Или это иллюзия? Новый самообман?.. То, что «после постмодернизма»? Или это наш общий выдуманный Персонаж?

Геннадий Муриков
Загадка Крыма



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Василий Чернышев

ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ

(Опыт беглого исследования упрямого критика)



Геннадий Геннадиевич Муриков

Загадка Крыма

Почему последние три-четыре года так много и активно не только внутри нашей страны, но и на международной арене обсуждается вопрос о присоединении Крыма к России? Думаю, что дело не только в том, что Украина утратила часть якобы своей территории (которая до 1954 года ей никогда не принадлежала). Корни вопроса о Крыме уходят гораздо глубже. Вот об этом мы и поговорим. Для начала немного истории.

Крым как геополитическая территория, естественная для России, поскольку без этого невозможно было контролировать территорию Чёрного моря, отошёл к России в 1783 году после отречения последнего крымского хана Шахина Гирея в результате военной кампании князя Потёмкина 1782-83 гг. по «усмирению Крыма» 1782 – 1783 гг. На присоединённой территории в 1784 году была образована Таврическая область¹, а князь Потемкин получил почётное звание Потёмкин-Таврический. В 1791 году по Ясскому мирному договору Османское государство признало Крым владением России. С той поры никто не прибегал к военной силе, чтобы оспаривать его принадлежность к территории России за исключением событий Крымской войны 1853-56 гг., когда так называемыми союзниками – Англией и Францией – удалось добиться запрещения присутствия военного российского флота в Чёрном море.

Обратим внимание, что исторически Таврическая губерния была неразрывно связана с Новороссией, то есть территориями северного Причерноморья, также никогда не входившими в состав Украины, в которую исторически входил и Крым.

Согласитесь, уважаемый читатель, что ситуация несколько схожа с событиями 1990-х годов и с настоящим временем.

Излагать историю Крыма, какой бы она ни была интересной, не входит в нашу задачу. Обратимся к событиям XX века. Для начал а приведём Протокол №41 заседания Президиума Верховного Совета РСФСР 5 февраля 1954 г.

О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР

Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета РСФСР

постановляет:

Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

Настоящее постановление внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М.Тарасов

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И.Зимин²

К этому вопросу мы ещё вернёмся.

Современный читатель может удивиться: каким это образом советская власть в лице Н. С. Хрущёва связала понятия Крым и Украина? (Известный французский писатель Л. Селин называл последнего не иначе как Хрю-Хрущёв. – Г.М.) О том, откуда произошла Украина и какова её естественная территория, я подробно писал в статье «Миф об Украине»³ Это Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская и некоторые другие губернии, общее количество которых колебалось от 5 до 7 по разным источникам. Печальная история украинской рады, провозгласившей самостоятельность Украины в начале 1918 года, которую немецкие оккупационные власти разогнали примерно так же, как Ленин Учредительное собрание, по общему принципу: караул устал, – общеизвестна. Дальше происходила смена власти П. Скоропадского, объявленного немецкими властями гетманом Украины, С. Петлюры, а также разного рода «красных» обновителей Хохляндии во главе с Х. Раковским, Г. Пятаковым и др.

Большевики наступали со стороны Харькова по мере отступления немцев после их поражения в Первой мировой войне в ноябре 1918 года. Поэтому Харьков был объявлен столицей Украины и являлся ею до 1934 года.

Появилась острая проблема, куда девать Крым. В романе И. С. Шмелёва «Мёртвое солнце» и «Окаянных днях» И. А. Бунина подробно описываются трагические события, происходившие в 1921 – 22 гг. после эвакуации армии Врангеля. Тогда большевистские руководители во главе с М. В. Фрунзе и Р. С. Землячкой при посредстве еврейско-венгерского националиста Матэ Залка (Бела Франкл) устроили в Крыму настоящий погром среди офицеров, отказавшихся от эмиграции, и значительной части мирного населения. По разным данным было убито от 50 до 100 тысяч человек. Можно сказать с определённой долей уверенности, что русское население Крыма понесло невосполнимые потери. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И – уже при советской власти – Крым стали заселять украинцы. Но это движение было хаотическим и поначалу почти незаметным. На самом деле большевики готовили Крым для другой более важной цели. Вот что пишет об этом известный журналист и политолог Андрей Караулов.

«Зимой 21-го Владимир Ильич закладывает земли Крыма Рокфеллеру. Берёт под Крым кредит – пятьдесят миллионов долларов. Спасает страну от голода. Но существует и хозяйственный момент: кредит взят у Рокфеллера, в его банке на четверть века, проценты – дикие, но первая (и полная) выплата – только 46-й год. А не будет у вас денежек, значит – отдавайте Крым! На это и расчёт. Плюс – подоспела идея Израиля.

Пусть, значит, Израиль будет в Крыму! И американцы жёстко призывают Сталина к порядку!

Ситуация совершенно непростая: Рокфеллер под Крым выпустил акции. Своими деньгами он никогда не рисковал. Не привык. Привлекал частные капиталы: Маршалл (...), семья Рузвельта... Элеонора Рузвельт, супруга Президента приобрели большой пакет акций... – и на этом вот фундаменте с Крымом начнутся позже известные нам всем проблемы» (Караулов А. В. «Русский ад – 2: Встреча с дьяволом», М. «Алгоритм», 2011, с. 249).

Можно подумать, что это просто художественный вымысел, дескать, мало ли что придумает писатель. Но дело далеко не так просто. И, судя по всему, все эти данные являются чистой правдой.

По плану создания в Крыму Еврейской республики после заключения упомянутого договора «в 1922 году в Крыму создали Агро-Джойнт, организовали 186 колхозов. Евреи поехали отовсюду (...) В ноябре 1923 года Абрам Брагин – руководитель еврейской секции РКП(б) – подготовил для Политбюро проект решения по созданию в Крыму уже не автономной, а полноценной советской социалистической еврейской республики. Проект получил имя “Крымская Калифорния”. В итоге поселенцам выделили под него 132 тысячи гектаров земли. (...)»

Интересное свидетельство приводит публицист М. Лобов: «В 1929 году между РФСР и организацией «Джойнт» был заключён договор. Документ, носивший красивое название “О Крымской Калифорнии”, содержал в себе обязанности сторон. «Джойнт» выделял СССР по 1,5 млн. долларов в год (до 1936 года было получено 20 млн. долл.), и под эту сумму ЦИК оставил в залог 375 тыс. гектаров крымской земли» («Ецируг. Литературный альманах» 11, СПб, 2017, стр. 85).

В ОЗЕТ – Общество землеустройства евреев-трудящихся – входили не только евреи. Членом правления, например, Московского отделения был пролетарский поэт Владимир Маяковский и его любовница Лиля Брик. В стихотворении 1926 г. “Еврей (Товарищам из ОЗЕТА)” он разъяснял, что евреям отдают под колонизацию не курортные уголки Крыма, а чрезвычайно сложные для жизни районы степной части полуострова». Приведём это стихотворение полностью для более ясного понимания данного вопроса.

Бывало,
 начни о вопросе еврейском –
 тебе
 собеседник
 ответит резко:
 – Еврей?
 На Ильинке!
 Все в одной
 линийке!
 Еврей – караты,
 еврей – валюта...
 Люто богаты
 и жадны люто.
 А тут
 им
 дают Крым!
 А Крым известен:
 не карта, а козырь;

на лучшем месте –
дворцы и розы. –
Так врут
 рабочим врагов голоса,
но ты, рабочий,
 но ты –
ты должен честно взглянуть в глаза
еврейской нищеты.
И до сегодня
 над Западным краем
слышатся отзвуки
 стонов и рёва,
Это, "жидов"
 за бунты карая,
тешилась
 пуля и плеть царёва.
Как будто бы
 у крови стока
стоишь
 у столбцов статистических выкладок.
И липнет
 пух
 из перин Белостока
к лежащим глазам,
 которые выколоты.
Уставив зрачок
 и желт и огромен,
глядело солнце,
 едва не заплакав.
Как там –
 война
 проходила в погроме:
и немец,
 и русский,
 и шайки поляков.
Потом демократы
 во весь свой мах
громили денно и ночью.
То шел Петлюра
 в батарейных громах,
то плетью свистела махновщина.
Ещё и подвал
 от слезы не высох, –
они выползали,
 оставив нору.

И было
 в ихних Мюр-Мерилизах
гнилых сельдей
 на неполный рубль.
И снова
 смад местечковых ям
да крови несмытой красная медь.
И голод
 в ухо орал:
 – Земля!
Земля и труд
 или смерть! –
Ни моря нет,
 ни куста,
 ни селеньца,
худшее из худших мест на Руси⁴ –
место,
 куда пришли поселенцы,
палаткой взвив
 паруса парусин.
Эту пустыню
 в усердии рьяном
какая жрала саранча?!
Солончаки сменялись бурьяном,
и снова
 шел солончак.
Кто смерит
 каторгу их труда?!
Геройство – каждый дым,
и каждый кирпич,
 и любая труба,
и всякая капля воды.
А нынче
 течет ручьева лазурь;
и пота рабочего
 крупный град
сегодня
 уже
 перелился в лозу,
и сочной гроздью
 повис виноград.
Люди работы
 выглядят ровно:
взгляни
 на еврея,
 землей полированного.

Здесь
 делом растут
 коммуны слова:
узнай –
 хоть раз из семи,
который
 из этих двух –
 из славян,
который из них –
 семит.
Не нам
 со зверьими сплетнями знаться.
И сердце
 и тощий бумажник свой
откроем
 во имя
 жизни без наций –
грядущей жизни
 без нищих
 и войн!

Между тем, евреи вовсе не считали, что, находясь в Крыму, они будто бы попали чуть ли не в концлагерь, где существуют «чрезвычайно сложные для жизни районы». Дело было далеко не так: «Восток нас не устраивает, он требует энергии русского-пионера, а евреям нужны уже обжитые районы – Украина, Крым, и хорошо бы ...Крым присоединить к Украине, так как с украинским правительством легче практически вести дело» (С. Любарский – руководитель плановой комиссии украинского наркомзема и представитель Агро-Джойнта в Украине). (Цит. по: Крымская Калифорния – Традиция traditio.wiki).

Около Джанкоя с 1923 года начинают появляться еврейские поселения. И тогда же советское правительство планирует массовое переселение евреев в Крым. Для чего, собственно, создаётся вышеупомянутая организация ОЗЕТ. Активную помощь переселенцам оказывает международная организация Джойнт, которая перечисляет им десятки миллионов долларов ежегодно, причём они поступают им непосредственно, минуя государственные организации, а значит, эти средства никакими налогами не облагались и вкладывались в развитие еврейской экстерриториальности помимо госбюджета.

Другой источник сообщает: «С 1922 г. Джойнт выдавала кредиты советскому правительству России по \$ 10000 в год в течение 10 лет под залог крымских земель (всего \$ 100 000). Были оформлены векселя за подписью Правительства России, т.е. должником была Россия. Срок погашения долгов или передачи Крыма евреям США в случае непогашения деньгами – 1945 – 1954 гг. Сталину очень не хотелось отдавать евреям Крым и юг России по советским долгам для строительства Израиля». (Цит. по: <https://masterdl.livejournal.com/569771.html>).

Дело в том, что уже начиная с 1922 года, после того, как Крым был «зачищен» от белогвардейцев и чуждых элементов, о чём говорилось выше, его начали заполнять евреи-переселенцы – около 100 тысяч. Само собой разумеется, что возникали конфликты между евреями-переселенцами и местным крымско-татарским населением. Эти процессы продолжались и после смерти Ленина. Судя по всему, для определённого урегулирования межнациональных конфликтов в 1934 году Сталин принял решение о создании на Дальнем Востоке Еврейской автономной области. Она существует и до настоящего времени. Ни один руководитель советской России, включая Путина, не решился её ликвидировать, хотя количество еврейского населения в этой внутренней организации минимально. Статистика свидетельствует: в 1939 году русских в ней было 68,93%, евреев – 16,34 %; в 2010 году русских – 90, 73%, евреев – 0,92 %.

По определённым свидетельствам, создание еврейской автономии в Крыму поддерживалось частью высшего партийного руководства того времени. Еврейское телеграфное агентство (ЕТА) 20 февраля 1924 года сообщало, что проект переселения евреев в Крым одобрили члены Политбюро Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, кандидат в члены политбюро Н. И. Бухарин и председатель Госплана СССР А. Д. Цурюпа. Обратим внимание, что в этом списке нет Сталина – в то время генерального секретаря ЦК КПСС, нет председателя Совмина А. И. Рыкова. А почему? Неужели некоторые члены политбюро голосовали против? Мы прекрасно знаем из истории ВКПб – КПСС, что решения такого рода в основном принимались единогласно. Здесь также отсутствует упоминание фамилии В. Молотова, точка зрения которого по этому суждению неизвестна. Если припомнить, что жёны Рыкова, Бухарина и Молотова были еврейками, то многое переходит на другой уровень понимания.

Обратимся к событиям 1921-22 гг. «Массовый голод во время Гражданской войны в России на территориях, контролируемых большевиками, известен как голод в Поволжье, в связи с тем, что регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наиболее длительно и массово. Пик голода пришёлся на осень 1921 – весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года. Согласно данным официальной статистики, голод охватил 35 губерний (Поволжье, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь) с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов (по официальным советским данным – 28 миллионов).

Число жертв голода составило около 5 миллионов человек. В ходе борьбы с голодом большевистское правительство впервые приняло помощь от капиталистических стран⁵.

В это время Ленин лично обратился к Рокфеллеру с просьбой помочь ему якобы в борьбе с голодом – выдать 50 млн. \$: ни много ни мало – под залог Крыма. В это время цена золота держалась около 100 лет до 1933 г. на уровне

20 \$ за тройскую унцию (полтора доллара за грамм золота). Это надо иметь ввиду для сопоставления современного курса доллара относительно золота. Сейчас грамм золота стоит приблизительно 90\$, то есть его цена выросла в 60 раз и соответственно золотое обеспечение доллара снизилось по сравнению с 1920-ми годами в 60 раз.

5 сентября 1930 г. решением Крымского ЦИКа Фрайдорф⁶ становится центром еврейского национального района. В 1931 г. ОК ВКПб и Крымское правительство в своих решениях констатировали, что «еврейское переселение в Крым себя политически и хозяйственно оправдало».

Обсуждение «Крымского проекта» было включено даже в повестку дня Еврейского конгресса США, состоявшегося в Филадельфии, на котором присутствовали будущие президенты – Г. Гувер и Ф. Рузвельт. Председатель Комитета по землеустройству евреев в СССР (КОМЗЕТА) Смидович П. Г. заявил от имени советского правительства: «В обмен на кредиты в СССР будет проводиться колонизация Крыма евреями».

В 1926 году в СССР приехал руководитель еврейской благотворительной организации «Джойнт» Джеймс Н. Розенберг. В результате встреч с руководителями страны после смерти Ленина была достигнута договорённость о финансировании им мероприятий по переселению евреев Украины и Белоруссии в Крымскую АССР⁷. Помощь оказывали также Французско-еврейское общество, Американское общество помощи еврейской колонизации в Советской России и др. 7 апреля 1926 года состоялась Всекрымская еврейская конференция. 11 апреля в газете «Красный Крым» были опубликованы основные положения прозвучавшего на языке идиш выступления представителя Отдела национальностей ВЦИК тов. И. М. Рашкеса, который сказал: «Мы стремимся создать сплошную земельную площадь с автономией в перспективе не для концентрации всемирного еврейства, а в целях устройства на земле 3-х миллионов евреев СССР».

Дальше последовали многочисленные договоры с организацией «Джойнт», с Рузвельтом, Маршаллом, Рокфеллером, Макартуром и др. Резко против организации еврейской автономной республики выступил татарин Вели Ибрагимов, настаивавшей на праве крымских татар проживания в Крыму. В ходе сталинских репрессий он был расстрелян.

После начала советско-германской войны вопрос о Крыме приобрёл другой статус. Мало того, что стратегически Крым всегда рассматривался как рубеж между Россией и Турцией. Перед Гитлером встал вопрос, откуда в Крыму появились евреи. Дело в том, что кроме упомянутых евреев-переселенцев в Крыму издавна существовала группа евреев, так называемых караимов, которые не признавали Талмуд и по происхождению считались тюрками. При оккупации Крыма немцами в 1942-43 гг. была создана специальная комиссия для рассмотрения этого вопроса. В связи с её решениями караимы не подвергались репрессиям, в то время как еврей-переселенцы были уничтожены.

Как мы уже писали, колонизация Крыма евреями, начатая в начале 1920-х годов после так называемой «зачистки» Крыма, в середине 1930-х годов

приобрела несколько иную окраску. В это время советское правительство потеряло интерес к увеличению численности Еврейской автономной области. «Крымский проект», казалось, канул в Лету. Отделение «Джойнт» в СССР было закрыто по Постановлению Политбюро ЦК ВКПб от 04 мая 1938 года. Заметим, что именно в это время происходила самая кровавая расправа Сталина с военной оппозицией, жертвами которой стали многие представители высшего командования и маршалы Красной армии – Уборевич, Якир и др., – некоторые из которых принадлежали к еврейской национальности.

В апреле 1942 года был создан ЕАК – Еврейский антифашистский комитет, – который возглавил режиссёр С. М. Михозлс (Шлиома Михилев Вовси). Важную роль в работе комитета принимала Полина Семёновна Жемчужина – жена В. Молотова, разумеется, тоже еврейка.

В наше время никто из евреев не претендует на создание в Крыму еврейской республики, хотя бы в рамках автономии. И это связано с тем, что было создано государство Израиль на так называемой исторической родине евреев. Сталин принял предложение Бен Гуриона о Палестине. Суть вопроса состояла в том, что это была территория, подмандатная Англии, и срок мандата истек в 1948 году. Все будущие руководители государства Израиль, начиная с Голды Меир (урождённая Мабович, родилась в Киеве), были участниками ЕАК. Голда Меир – по некоторым сведениям подруга жены Молотова Полины Жемчужины, по убеждениям была социал-демократкой. В 1921 году она с мужем Меерсоном эмигрировала в подмандатную Палестину. СССР первым признал Израиль де-юре. После образования Израиля Голда Меир в 1948–49 гг. была послом Израиля в Москве. В то время сионистская идеология считалась максимально близкой к марксистской, что, по сути, является чистой правдой.

Надо отметить, что переселение в Крым отнюдь не было благом для рядовых евреев. Точно также, как и другие народы, еврейский народ приносился в жертву политическим устремлениям сионистов. Бывший председатель «Лиги за иудаизм» в США Рабби Элмер Бергер на пресс-конференции в Лейденском университете (Нидерланды) 20 марта 1968 г. говорил: «Сионистский тоталитаризм, который пыгается подчинить себе весь еврейский народ, делает это путём насилия, превращая этот народ в такой же, как и все другие».

Эти суждения были очень распространены в советскую эпоху после арабо-израильской войны. Суть вопроса вовсе не в отрицательном влиянии сионизма, а в том, что претензии евреев на определённые, якобы освящённые богом территории, ничем не подтверждалось. Тем более это относится к Крыму.

В 1946 году после ленинско-рокфеллеровского договора наступило время проведения двух операций: либо отдать США Крым с еврейской диаспорой, либо вернуть 50 млн. \$, стоимость которых неизмеримо возросла за годы войны.

Почему одна из итоговых конференций по поводу Второй мировой войны происходила в Ялте? Проблема «Ялтинского предательства» в настоящее время широко обсуждается в прессе. Именно в Ялте в феврале 1945 года «союзники» продали Сталину русских воинов, воевавших на стороне Германии. Но вопрос о Крыме оставался ещё не решённым. Современные историки снова обращаются к этой теме. Например, Порфирий Иванов в материале «Белая куропатка» обратил внимание на то, что «в феврале 1952 года второй секретарь Московского горкома КПСС тов. Фурцева получает необычный приказ – составить списки лиц еврейской национальности, проживающие в городе. Для депортации. Назывался конечный путь высылки московских евреев – Новая Земля. И не только московских». Это звучит почти невероятно, но, тем не менее, по информации историка Порфирия Иванова: «Накануне в центре Москвы прошли два многотысячных митинга – до 50-ти тысяч человек в каждом – советских граждан еврейской национальности с требованием передать Крым для переезда туда государства Израиль». Правда это или нет?

ИНТЕРНЕТ

«На встрече с Гарриманом в ноябре 1945 года Сталин напомнил ему о том, что Еврейский конгресс в Базеле в 1897 году принял решение о создании в еврейского государства в Палестине. Надо отметить, что Еврейский конгресс принял это решение не от хорошей жизни, поскольку на пути реализации более предпочтительного крымского еврейского проекта стояла Российская империя. Против создания еврейского государства в Палестине выступали англичане, которые во время Первой мировой войны оккупировали Палестину, а в 1918 году по мандату Лиги наций официально закрепили эту территорию за собой. После окончания Второй мировой войны американцы и их британские союзники делали все возможное, чтобы **не допустить** создания еврейского государства на территории Палестины, поскольку в этом случае «Крымский еврейский проект» потерял бы свое значение.

Стремление евреев в 1945 – 1946 годах к созданию независимого государства Израиль жестоко подавлялось. Англичане массово расстреливали палестинских евреев, натравливали на них своих арабских союзников, создавали для евреев невыносимые условия жизни, мало чем отличающиеся от условий жизни во время немецкой оккупации, всеми способами выдавливали евреев из Палестины. Но, несмотря на это, евреи продолжали вести с англичанами тяжелую и кровавую войну за независимость, получая военную поддержку лишь от Советского Союза. Вопрос стоял прямо. Если палестинские евреи выстоят, то «Крымский проект» утратит свое значение. А если не выстоят, то американцы будут продолжать давить на «Крымский проект», как на большую моль. Победа палестинских евреев и создание государства Израиль в 1947 году стала возможной только лишь благодаря военной помощи Советского Союза, который не только через третьи страны поставлял евреям Палестины оружие и боеприпасы, включая артиллерию,

гаубицы и танки, но и направлял военных инструкторов и добровольцев из числа советских евреев.

После создания государства Израиль Сталин полагал, что в крымском вопросе навсегда поставлена жирная точка. Однако остались векселя, по которым вся крымская земля была разделена на паи, которые в 1954 году согласно договору от 1929 года должны были превратиться в **собственность американской элиты**. Передача Хрущевым Крыма в состав Украины была домашней заготовкой Сталина, чтобы аннулировать обязательства Советского Союза по вышеуказанному договору. Дело в том, что векселя, подписанные советским правительством от имени РСФСР, несмотря на создание Израиля в Палестине, сохраняли силу. Лишь передача крымской земли из юрисдикции РСФСР в юрисдикцию какой-либо другой союзной республики де-факто аннулировала обязательства по векселям. В этом случае крымская земля как бы уже не принадлежит той стороне, которая подписывала векселя.

В 1954 году казалось, что «Крымский еврейский проект» закрыт навсегда. Однако с развалом Советского Союза вновь появились проекты по созданию в Крыму второго еврейского государства, которые, правда, не встретили активной поддержки мировой еврейской элиты. В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, **«Крымский еврейский проект» навсегда канул в лету**. Но в то же время, после майдана в Киеве, когда Украина стала трещать по швам, влиятельные еврейские организации заговорили о создании Нового Израиля, или так называемого **«Небесного Иерусалима»**, на территории **пяти областей южной Украины**. Судя по израильским средствам массовой информации, еврейская элита к проекту создания Нового Израиля на территории распадающейся Украины относится весьма серьезно (смотрите статью «Создание Нового Израиля на территории Украины»). Однако, как «Крымская весна» 2014 года встала на пути «Крымского еврейского проекта», так и проект **«Новороссия»** возможно также встанет на пути создания Нового Израиля на территории южной Украины. Хоть проект «Новороссия» кремлевской либеральной властью и был закрыт, но он все же еще продолжает жить в умах русских людей, и при первой возможности готов вновь возродиться с новой силой, как бы этому не противились в Кремле.

Цит по: <http://antisionizm.info/Pochemu-ne-sostoyalsya-proekt-sozdaniya-evreyskogo-gosudarstva-v-Krimu-1629.html>

Необходимо обратить внимание на то, что при создании ООН после Второй мировой войны Сталин зарезервировал для Украины место самостоятельного члена ООН и тем самым как бы поставил её в ряды самостоятельных государств на мировом уровне. Возможно, присоединяя Крым к Украине, Хрущёв пытался сбросить крымскую проблему, хотя бы в её финансовом выражении, на некое новое квазисамостоятельное государство. Впрочем, мы этого не знаем, как не знаем и того, были ли выплачены упомянутые «долги» за Крым – когда, кому и в каком размере.

Может быть, кому-нибудь из читателей этой статьи это известно. Тогда автор и редакция просят поделиться информацией.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Область была создана именованным указом Екатерины II сенату от (8) 19 февраля 1784 года «*Об устройстве Таврической области*», на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область, на части территории бывшего Крымского ханства, с центром в городе Карасубазар, но в том же году столица была перенесена в Симферополь. (Цит. по Википедия).

² ЦГА РСФСР.Ф.385.0П.13.Д.492.Л.1-2. Подлинник.

³ См. журнал «На русских просторах» №

⁴ А Соловки? А Колыма? Лучше? – Г.М.

⁵ Цит. по: <https://ru.wikipedia.org/>

⁶ Фрайдорф — изначальное название села Новосельцы в Красногвардейском районе Крыма (до 1944 года) и посёлка городского типа Новосёловское в Раздольненском районе Крыма (до 1944 года).

⁷ Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика автономная республика на территории Крыма, существовавшая в 1921—1945 гг. в составе РСФСР и в 1991—1992 гг. в составе УССР (Украины).

В. И. ЧЕРНЫШЕВ

ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ

(Опыт беглого исследования упрямого критика)

Читаю статью Геннадия Мурикова о Бжезинском. Он пишет: «Цель моей статьи – всего лишь расширение информационного поля. [Я копал целину, расширяя свой огород, и знаю по мозолям и боли в спине, насколько это безжалостный труд.] *Наш читатель должен знать врага в лицо, но не только врага, "ближние наши" должны знать все обо всем!*» – заявляет Геннадий Муриков.

Слава богу, есть теперь у меня и единомышленники, а не только *Ильич*, призывавший "загрузить свою память и мозг – как вульгарно он выражался! – всем тем, что выработало человечество", – но его призыв был двусмысленно лжив, слишком много лжи, слишком много суесловия, слишком много идеологического пересыпания из пустого в порожнее, от напыщенных восхвалений богов и вождей в газетах с названием «Правда» до «Игры в бисер».

Итак, читайте глиняные таблички, папирусы, рукописи поэтов, самь-издатские книги, жизнь воистину коротка и неповторима, и прежде чем строить узкоколейку в жуткий мороз для подвоза дров к Киеву, как Павка Корчагин, надо было бы прочитать «Политику» Аристотеля. Но чтобы нам не пришлось и в новом веке строить такую же узкоколейку, будем читать Геннадия Мурикова.

Каковы же его отличительные свойства?

Я как-то уже говорил о том, что «критик должен быть или *всеобщ* (объективен) или *личностен* (субъективен) и не смеет жертвовать истиной ради возвышения партии, к которой он принадлежит». И в этом месте выскажусь подробнее. Критик, как и поэт, вообще не должен принадлежать к какой-то партии (или обязан забыть об этом: учиться у врача – он лечит и пленного вражеского солдата, и притом так же добросовестно, как и своего). Вопреки бредовым идеям недоучившегося гимназиста Ульянова, литература не должна быть *партийна*, как и наука, как и культура в целом... да и человек не должен быть *партиен*!!!! – в том смысле, чтобы партия (а он может принадлежать к какой-то группе людей, например, отправляющихся в поход с палаткой) подменяла и определяла его взгляды, личность, характер, мировоззрение.

Человек не должен быть партиен, как *таблица логарифмов не должна быть социалистической*, философия не должна быть христианской, красота женщины не должна быть коммунистической.

Следовательно, критик или *всеобщ* (объективен) или *личностен* (субъективен) – но более того, он должен быть одновременно **и всеобщ и личностен**, то есть объективен и субъективен вместе. Во-первых, он как читатель исходит из своих личных ощущений, он должен переживать художественное или философское произведение в соответствии со своими вкусами, темпераментом, образованием и культурой, должен испытывать сочувствие, удовольствие, притяжение к произведению, которое читает, слушает, видит, или отторжение, неприязнь. Но, как и учитель, оценивающий сочинение школьника, критик обязан встать на более высокую точку зрения,

нежели простой читатель, и поэтому он занимается синтезом: он соединяет в некое целое свои профессиональные познания и способности, свои вкусовые предпочтения – но и общественные отклики на данное произведение. Всякая вещь не отдельна, а коммуникативна и ассоциативна, она существует не сама по себе, а как некоторое общественное явление, поэтому, исходя из субъективных ощущений и оценок, критик присоединяет к ним и те выводы, которые доставляет ему его профессиональное знание; оставаясь читателем, например, аристократом, мужчиной, слишком образованным, чтобы умиляться повестью для сентиментальных невест, он обязан уподобиться и невесте – как актер забывает свой возраст, социальное и имущественное положение, исполняя роль в драме. Критик должен быть не только Розановым, читая «Братьев Карамазовых» Достоевского, но и уподобиться Тургеневу и Льву Толстому, Страхову и Плеханову и революционным гимназистам, плохо усвоившим русскую литературу... Впрочем, я пишу, я пишу в требовании, но это вовсе не значит, что сам я готов и могу стать хотя бы только Розановым.

Но разве вот так же и судья, испытывающий жалость или отвращение к подсудимому, не должен подняться выше своих чувств в оценке вины и в выборе для него наказания?!

Привлекательному юноше, зарезавшему старушку или старушке – кому сочувствовать должен судья (он же критик)? Трудолюбивому писателю, промочившему рукопись потоками пота, или равнодушному читателю, скучая листающему его рукопись?

Писатель пишет чаще всего о себе, вот и я, добросовестно пытающийся написать про господина Критика, вглядываюсь в себя – но чтобы из этого самолюбования был хоть какой-то толк, попробую заметить черты исследуемой личности если не по сходству, то хотя бы по противоположности, сравню господина Мурикова с собою.

И вот замечаю первую странность (примеривая ее к себе): господин Муриков *объективен*, истина ему дороже друзей, старушка-процентщица дороже любимого героя Достоевского (я вдруг подумал: а не мечтал ли сам Достоевский кого-нибудь зарезать? И это предположение не такое уж дикое. Я как то познакомился с 17-летней барышней, уже наточившей нож и тренировавшейся в его вонзании в разные предметы, чтобы зарезать отчима но, к счастью, ее мать вдруг сбежала из дома от дочерей со своим любовником).

Итак, Геннадий Геннадиевич Муриков – *критик объективный* (что похвально), следовательно справедливый, что похвально вдвойне.

Но теперь вдруг мне бросается в сознание, что *всеобщность* не совсем *объективность*, всеобщность сопряжена с некоторой беспристрастностью, отсутствием избирательности, это особенное свойство, которое встречается у некоторых весьма заслуженных монашеских старцев, пользующихся любовью общины, которые и своих монахов любят, но беспристрастно, как-то одинаково равнодушно, противоположно тому, как мать любит своих детей.

Открываю его "всеобщую книгу" «1917 – 2017», просматриваю статьи. О ком он писал? О ком он только не писал!? Вот, например, Галина Дюмонд, талантливая русская поэтесса, и Максим Кантор, известный русофоб.

Просматриваю его статьи (для того, чтобы подтвердить свои предположения), тут же натываюсь на сильный пассаж, который придется выписать целиком, так как Геннадия Геннадиевича он характеризует вполне.

«Ну как тут не вспомнить бесчисленные суждения великих о протеизме и всеобъемлющей природе русской души, в которой без малейшего напряжения уживается и "жар холодных числ и дар божественных видений", а заодно и все остальное. И ведь, ей богу, это идет только на пользу. Что уж там греха таить, ведь и у Пушкина в одном месте воспевается "гений чистой красоты", а в другом потихоньку поясняется с применением ненормативной лексики, что именно сделал вдохновенный певец с этим самым "гением чистой красоты" и "мимолетным видением" (знаменитое письмо Соболевскому). Такие вот дела.»

Да...

А теперь позволю себе выписать пассаж из статьи о М. Канторе, принадлежащий, кстати, исследуемому автору.

«Русский – существо никчемное. Он или ворует, или пьет. Больше ничего не умеет, и если встречаешь трезвого русского – точно вор, а встречаешь честного – разумеется, пьяница. И то всего безотраднее, что ни украсть толком, ни выпить со вкусом он тоже не может. Оглянуться не успеешь, он или в тюрьме, или в бегах, или в гробу. Век русского человека короток и лишен смысла: вывет сколько сможет –и на погост. Русский – он ведь ублюдок, беспородная дворянка, не монгол, не германец – так, кривонозая помесь».

«Мне любопытно, почему никто так не говорил о своей стране и своем народе, ни англичанин, ни китаец, ни таджик? – пишет Муриков. – ... Если Россия – это «грязное пятно на карте истории» (М. Кантор), почему же сюда так рвутся? ... Дело в том, что М. Кантор принадлежит к славному племени "русофобов". В этой стране он чужой.»

А мне любопытно, почему я почти с наслаждением выписал слова Кантора о русском народе (как и с наслаждением, как мне кажется, выписал их из его книги Геннадий Геннадиевич), а бесчисленные статьи и романы Проханова, восхваляющие русскую державность, имперскость, верноподданность, всеобщность, – нас совершенно не трогают. Возможно, потому, что и я «в этой стране чужой», и не чувствует ли себя чужим и наш критик? (Но, впрочем, он сам за себя ответит).

Итак, Муриков объективен и всеобщ. Его не трогает то, что Кантор принадлежит к русофобам. Он это воспринимает как затяжные дожди нынешним летом: мокро, сыро... но временами кажется поэтично, особенно если смотреть из окна.

Впрочем, такая неопределенность заставляет задуматься, когда мы читаем статью о сочинениях следующего автора, А. Потемкина, наполовину русского, наполовину немца. Русская кровь, однако, в нем пересиливает, и автор предстает перед нами как человек малограмотный (ну, естественно, ни еврей, ни немец) Но и сами его сочинения вызывают изумление нагромождением ... затрудняясь даже подыскать слово... Жизнь наша, конечно, безумна, но не до такой же степени!

В конце своей статьи критик задает вопрос относительно Потемкина: Так

кто перед нами, патриот или русофоб? Богодьявол или бог? Пишет он свои книги кровью или чернилами? (ссылаясь на замечание Дм. Писарева, который возразил нападкам Салтыкова-Щедрина на роман Достоевского «Записки из мертвого дома»): "Такие книги пишутся кровью, а не чернилами с губернаторского стола").

[Такая, казалось бы, странная позиция критика, когда он холодно и объективно рассказал о романе М. Кантора, еврейского русофоба, и как-то без всякого восхищения также объективно рассказал о романе А. Потемкина, все же хотя бы наполовину русского, должна бы вызвать удивление у русских патриотов. Я часто тоже то защищаю евреев, то даже ими восхищаюсь, и мне часто говорят: так ты евреев любишь или русских? Трудно объяснить упертым русским черносотенцам, что я не люблю ни русских ни евреев, но евреев я и не «не люблю», в том смысле что не испытываю к ним неприязни, как и к чукчам или финнам, но к русским зато я часто испытываю неприязнь, как очень многие известные русские люди, в том числе определенно националисты, как Пушкин или Лермонтов, или генерал Кутепов, прославившийся своей непреклонностью к мародерам и предателям русского дела. Пушкин ненавидел русскую чернь, я ее тоже ненавижу. Правда, поскольку я не помещик, а крестьянин, я ее иногда пытаюсь понять и даже пожалеть. Сие пространное отступление необходимо. Судя по многим статьям и темам исследований г-на Мурикова, очевидно, что он симпатизирует и Белому движению, и русской эмигрантской литературе, в частности, гениальной чете З. Гиппиус – Дм. Мережковский, и Серебряному веку русской поэзии. Не подтверждаю это заявление цитатами, так как оно очевидно. А лишний раз произнести слово «национализм», заплеванное почти всей русской публицистикой и русской философией (почти никто и ныне не решается сказать о себе: «я русский», всяк скрывается за интернационализм, «всемирность» (по Достоевскому), патриотизм) – необходимо. Ибо почему русские так боятся и так ненавидят этот термин, требует особенного исследования. Почему на смерть Шафаревича в прошлом году евреи отзывались иногда и с осудительными замечаниями (а одна сказала: как жаль, что такой *великий человек* антисемит!), но сохраняя приличия, а русские пользователи Интернета буквально оплевали его память? За что? Несколько лет назад один исследователь писал книгу о националистах 60-х годов, и так как я сидел именно за национализм, то он спросил меня, как я отношусь к евреям. Я ответил, что к каждому человеку я отношусь в соответствии с его личными достоинствами, и только личность народа может вызывать мою критику, симпатию или неприязнь. Русский патриот исключил меня из списка русских патриотов. Ну и на здоровье! Я и против советской власти не был, хотя и «высказывался» неприлично... но это не все могут понять.)

Это длинное отступление необходимо, чтобы пояснить: критик имеет дело с множеством взглядов, пишет о разных литературных, философских, политических направлениях, даже о таких неприличных, как национал-социализм и марксизм (интернационал-социализм), пишет и о сексуальных извращениях (любовь к Гитлеру, Ленину, Сталину), и все это не запрещено уголовным

кодексом. Критик имеет право любить свой народ и ненавидеть ту чернь, которая предаёт и народ, и его культуру, и его государство (подлинную организацию народа, а не кучку негодяев, иногда захватывающих власть и выступающих от имени народа). Все русские писатели и философы серебряного века были изданы и в Новое время и даже советской властью, таким образом их можно читать, о них можно писать (пока еще).

Но возвращаюсь, я выхожу ненадолго. Розанов иногда приводит цитаты по ПЯТЬ или СЕМЬ страниц, простите мне небольшое отступление.

Продолжаю. Критик должен быть объективен, и объективность Мурикова мы подтвердили. Но критик не монах и не настоятель монастыря, он обязан быть субъективным, обязан одних любить больше, других меньше, мы не указываем кого, это его личное дело, но нельзя относиться равно благожелательно и к Пушкину и к графу Хвостову?!

Кто же пользуется симпатией Геннадия Геннадиевича?

Приведу несколько цитат: «В образе Базарова себя узнают многие наши современники. Это один из архетипов русского национального самосознания».

«Противоречия разрушают систему, ослабляют проповедь, но утверждают подлинность переживаний. Как ни соблазнительно совершенство кристаллов, следует предпочесть несовершенный, неправильный, противоречивый извне и противоречивый изнутри побеждающий рост растения» – писал Мережковский.

«Не благословить человека в момент рождения, то есть как бы рождающего и рожденного, значит и само бытие его не благословить», – заключает Розанов. «"Христос и так называемый Бог-Отец (Иегова) – противоположные сущности", – такова основная формула инакомыслия Розанова» – полагает Геннадий Муриков. Это утверждение является центральным для понимания всей сущности критики Розановым христианства. По существу Розанов является анти-христианином, только гораздо более глубоким, чем Ницше, подвергшим сомнению все положительные ценности христианства, а лучше сказать, показавшим, что их вовсе нет.

Как мы видим из приведенных цитат, симпатией г-на Мурикова пользуются Тургенев, Мережковский, Розанов; разумеется, и почти вся русская литература, в этом отношении он идет против течения современной критической мысли, для которой все прошлое обветшало (как во времена первого пришествия обветшал Израиль), – и Россия, и русская литература, и русский народ.

Но вернемся к началу статьи: «**"ближние наши" должны знать все обо всем!**». Это и является квинтэссенцией и личности и творчества Геннадия Геннадиевича, он землепроходец, пришедший в дикие земли, чтобы их благоустроить, проложить дороги, поставить опознавательные знаки (особенно предостерегающие об опасности), устроить безопасные съезды.

Но и описать, объяснить, рассказать о вновь открытых землях, как бы много их не было. Часто он не успевает отделать фразу, устранить шероховатости стиля – потому что он СПЕШИТ – мы не знаем, что ждет нас завтра: новый погром России и русского народа (несмотря на показное благополучие церкви), революция, гражданская война, поражение или победа.

17 января 18г. Вчера долго разговаривал с Тропниковым и Овсянниковым, о которых я тоже написал по несколько слов, спрашивал, легко ли им даются портреты своих современников – меня они мучают, легче написать роман. Да, может быть, и воистину *«лицом к лицу лица не увидать»*?

Так ли я понял объективность Геннадия Геннадиевича, не производит ли мой образ впечатление от человека, *"добру и злу внимающего равнодушно"*, аристократического высокомерия Пушкина (впрочем, оправданного)?

Муриков смотрит «свысока» на предмет, но на всё равно, он смотрит с вершины, с которой мы все внизу и каждого хорошо видно, но зато не приседая пред авторитетами, мнениями и традициями; но он смотрит в том числе "вооруженным" взглядом, через "интерференционное" стекло, которым является *блестящее знание истории и литературы*. (И с грустью я думаю о том, что на меня все ополчились за множество ссылок на книги и события, идеи и факты – разве у Мурикова этих ссылок не больше? Погружаясь в океан его исторических и литературоведческих изысканий, я, напротив, с грустью думаю том, *как мало я знаю!* Отчего же его не ругают? И замечательны познания Вячеслава Овсянникова, которые он, как правило (кроме Записок Водолея и Прогулок с другим многознающим, Соснорой), обычно таит про себя! Или мой *поток ассоциаций и реминисценций* – хотя такова именно естественная ткань моих рассуждений, моих сцеплений, моего видения мира как «континуума» – производит впечатление хвастовства и заносчивости? (И сознаюсь, как исключение, что я и впрямь высокомерен, часто думая, что знаю чуть ли не всю истину). Зато из сравнения я наконец понимаю самое отличительное качество критика Мурикова: он *демократичен* (в смысле простоты и всеобщности), но он одновременно и народен (исходит из национальных, народных истоков, которые могут быть и аристократичны).

А в чем же состоит его *субъективизм*? В индивидуализме! Будучи сам личностен, г-н Муриков не только уважает личность в другом, но и ищет ее, находит и подчеркивает.

Итак, он состоит из **многознания** (которое, вопреки мнению Гераклита, еще добавляет ему **ума**), **демократических традиций** Николая Полевого, пушкинского **аристократизма, народности** Аполлона Григорьева, отращения к буржуазному духу, **культурности** (мировоззренческого основания, которое резко противостоит и духу сужающего человека христианства, и духу сектантского марксизма, тоже сужающего человека), противодействия **всеобщности** как основания Идеи Правды (то есть **исключительности**).

Кажущееся антиеврейское настроение некоторых его исследований (именно кажущееся) проистекает из исключительности в античном стиле: алмаз должен быть огранён, предмет обработан, роман дописан, теорема доказана, идеал установлен! И все это должно вытекать из внутреннего духовного и художественного источника – сие резко противостоит юридической регламентированности восточного духа (пронизавшего и европейскую мысль) и кажется эскападами против)

Надежда Полякова



Библейская образность и библейские сюжеты **в русской поэзии**

(под редакцией Галины Дюмонд)

Надежда Полякова родилась 15 декабря 1923 года в деревне Басутино Боровичского уезда (Новгородской области) в крестьянской семье. Окончив 7 классов, переехала в Ленинград, где окончила среднюю школу в 1941 году. Была направлена на оборонные работы, три месяца рыла окопы и противотанковые рвы под Малой Вишерой. С марта 1942 года работала зав. избой-читальней, налоговым агентом, фининспектором. В феврале 1943 года призвана в армию, служила в пехотной части зав. делопроизводством штаба полка. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Первое стихотворение напечатано в 1940 г. в журнале «Смена».

В 1949 году окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала в газетах «Ленинградская правда», «Смена», «Крылья Советов». Член Союза писателей СССР.

В «перестроечные» годы пошла работать в школу учителем русского языка и литературы. Но до последних дней продолжала писать и стихи, и прозу.

Скончалась 19.10.2007 г. Похоронена на Смоленском кладбище в С-Петербурге

Гадина Дюмонд

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2018 году, 15 декабря, Надежде Поляковой исполняется 95 лет. Её уже нет с нами более десяти лет, но она всё нейдёт у меня из головы. Домá почти напротив, более семнадцати лет тесного общения... В эссе "Такая, какую я её знала", опубликованном сначала в журнале "Невский альманах" /СПб., №1(74), 2014/, а затем в книге "Душу мою поразившие" /СПб., Астерион, 2017/, я выразила надежду, что, может быть, после этой публикации "она оставит меня в покое?". Но нет... Куда ни пойду... Здесь она сказала то-то, здесь долго сидели, здесь я расхохоталась от её искромётного замечания, здесь чуть не провалилась сквозь землю от язвительного... А по Большой Охте набродились мы с ней предостаточно. И не только по Охте. Есть такое поверье, что ушедший не оставит тебя в покое, пока ты не выполнишь всего, что ты обязан выполнить по отношению к нему.

На лекциях, о которых речь пойдёт ниже, я не только часто присутствовала, но и занималась организацией их. Как она сама пишет в предисловии, эта тема её очень привлекала, что выступая с лекциями, она поняла, что и аудитория не остаётся равнодушной, но почему-то эта тема до сих пор почти не тронута литераторами.

Надежда намеревалась опубликовать лекции. Не успела... Может быть это то, что я должна?.. Задумалась я об этом давно. Но спонсора пока не нашла, финансовые дела решать не умею, никогда не занималась. А публиковать отдельными лекциями в журналах?.. Пропадает масштабность. Мне кажется, что особую значимость они имеют все вместе. А время идёт. Займётся ли этим кто-нибудь потом? Оставить вообще неопубликованными?..

И я благодарна главному редактору "Нового русского журнала литературной и философской критики" Василию Ивановичу Чернышеву за идею опубликовать лекции из номера в номер целым циклом, да ещё в таком серьёзном журнале. Многие лекции у меня сохранились, недостающие обещала предоставить мне Нина Борисовна Паркаева, бывший директор школы, в которой в последние годы Надежда работала 11 лет. Надеюсь в своё время она сама расскажет о том, как они попали к ней, и, вообще, у неё есть много чего интересного рассказать о Надежде Поляковой.

Надежда Полякова

Библейская образность и библейские сюжеты в русской поэзии

Эта тема давно привлекала меня.

Я выступала в библиотеках перед читателями, которых интересовал этот вопрос, и убедилась, что материал огромен, можно сказать, безграничен, всё охватить невозможно, и в то же время эта тема совершенно не тронута литературоведами.

Почему меня привлекла эта тема?

Часто в разговоре с людьми, даже часто читающими художественную литературу, я сталкиваюсь с полным непониманием отдельных выражений или отдельных строк, страниц, тематически связанных со священным писанием.

Меня неприятно поражали случаи, когда люди, не зная точно, откуда и по какому случаю взято то или иное изречение, изменяли его, произвольно толковали его, приписывая не свойственное ему значение.

В результате искажался смысл произведения.

Или ясность и прозрачность художественного произведения приобретала туманную загадочность, к которой совсем не стремился автор.

Сейчас, когда появилась возможность говорить о Священном писании вслух и открыто и даже на школьных уроках, я решила посвятить этому вопросу небольшую статью, в которой коснусь творчества только нескольких поэтов, использовавших библейскую образность.

Прежде всего следует сказать, что не зная сути библейского выражения, мы не можем понять всей глубины высказанной мысли.

Мы видим как бы верхушку айсберга, а основная часть айсберга остаётся под водой, недоступная нашему зрению и нашему пониманию.

Использование библейских образов и библейских сюжетов вовсе не означает, что автор религиозен.

Это свидетельствует о том, что автор достаточно образован и начитан для того, чтобы использовать мудрость, высказанную до него.

Был период в нашей стране, когда пропагандировался призыв: "Ударники, в литературу!" Считалось, что ударник, выполняющий или даже перевыполняющий норму выработки у своего станка, может освоить и писательское мастерство.

Многие – и бросившиеся от станка в литературу, и наблюдающие за литературным процессом, не отходя от станка, были глубоко и искренне убеждены, что было бы у них время, и они бы написали "Войну и мир", "Евгения Онегина" или "Братьев Карамазовых". Но вот семья держит, не до писанины.

В те же годы истинной поэзией считалась поэзия "от станка" и "от сохи".

Произведения, в которых упоминались мифологические герои, боги, литературные персонажи, исторические личности считались "низкопробной литературщиной" или литературой второго сорта.

Эрудиция писателя, тем более поэта, эрудиция, которая была видна в стихах, считалась неумением видеть сегодняшний день, незнанием жизни.

В те годы говорить в печати о библейских сюжетах, образах, мотивах было невозможно. И если говорилось, то в своём кругу, в кругу понимающих единомышленников.

И если в отдельных случаях проскальзывали в печати библейские образы, имена, сравнения, то в основном по недосмотру редактора или цензора.

Поднимая сейчас эту тему, вернее, делая попытку коснуться этой темы, я отнюдь не призываю к религиозности.

Просто считаю, что неразумно зачёркивать то, что сделано до нас во глубине веков, преступно отказываться от тех пластов культуры, которые достались нам от наших предков.

Отказавшись от этого наследства, мы обедняем, обкрадываем себя, пытаюсь исчислять возраст своих знаний от нуля, забыв, что до нас жили мыслители, мудрецы, поэты, что мы питаемся ежечасно и ежедневно крохами, упавшими со стола, не зная, откуда эти крохи. И часто, употребляя евангельские выражения, перевираем их и не знаем, откуда они попали в эту речь.

Поэты, творчества которых я касаюсь в этой статье, взяты мной не столько произвольно, сколько по причине моего пристрастия к ним.

Использование библейских образов и имён можно разделить на три группы.

1. Чаще всего в стихах упоминается просто Бог, как высшая сила, управляющая нашей жизнью и нашими поступками.

Не дай мне, Бог, сойти с ума

и т. д.

Такие выражения в нашей устной речи используются до сих пор. И мы не придаём значения словам, которые произносим..

2. Более сложны художественные образы, построенные на упоминании библейских сюжетов. Для того, чтобы понять, что хотел сказать поэт, надо хорошо знать первоисточник. Такими сложными образами наполнены ранние стихи Вл. Маяковского.

3. И наконец, третье. Это переложение прекрасными стихами библейских историй с привнесением в эти переложения характера и судьбы самого поэта. Отношение поэта к тому, о чём он рассказывает, придаёт неповторимость произведению.

А.С.Пушкин

Во времена Пушкина атеистические стихи были запрещены, а стихи на библейские темы считались неинтересными, потому что Закон Божий изучался в гимназиях, люди ходили в церковь, знали с детства несколько молитв.

Но свой обзор я начинаю с творчества Пушкина не случайно, потому что эволюция его отношения к теме Бога не может не представлять интереса.

Как известно из воспоминаний современников поэта, он был склонен к предрассудкам и к суеверию больше, чем к православию.

Он придавал значение различным предметам: встрече с попом, зайцу, перебежавшему дорогу, предсказаниям гадалок и так далее.

Больше, чем библейские мотивы, Пушкина привлекала мифология. Мифологические герои встречаются в его стихах очень часто.

Привлекала Пушкина и бесовщина. Сюда можно отнести такие стихи, как "Демон", "Домовому", "Вурдалак", конец "Русалки", где сумасшедший мельник говорит о запечных бесах, стихотворение "Бесы" и многое другое.

Привлекала его так же экзотика. Он написал цикл стихов "Подражание Корану".

К служителям церкви Пушкин относился насмешливо, если не сказать неприязненно. Он написал много эпиграмм на них. Вот некоторые: "Благочестивая жена...", "Вот карапузик наш, монах..." и т.д., поэма "Монах", как сатана искушал монаха.

Но упоминание слова Бог в стихах Пушкина встречается довольно часто:

Бог помочь вам, друзья мои..."

"Усердно помолвишься Богу..."

"Когда помилует нас Бог..."

"Не дай мне Бог сойти с ума..."

"Христос воскрес..."

и др.

Но молодого Пушкина с его лёгким игривым гением привлекали темы скользкие, эротические. И он не мог отказать себе в удовольствии, чтобы не написать того, что хочется и не распространить по рукам.

Так в 1821 году стала ходить по рукам поэма "Гавриилиада", приписываемая Пушкину. Рукописей, написанных рукой Пушкина, не сохранилось. Сохранился только план поэмы, который датируется 6 апреля 1821 года.

В "Гавриилиаде" пародированы евангельский рассказ о благовещении девы Марии и библейская легенда об Адаме и Еве. Как известно по евангельской легенде, юная девушка Мария была отдана замуж за пожилого плотника Иосифа, но она оставалась девственницей. К ней явился архангел Гавриил и сказал, что она родит сына божия, оставаясь девственно чистой. Христианство особенно настаивает на непорочном зачатии.

Пушкин легким и звонким стихом высмеивает непорочное зачатие.

В 1828 году у штабс-капитана В. Митькова была обнаружена копия этой поэмы. Это повлекло за собой политическое следствие о Пушкине, как авторе поэмы.

Пушкина вызывают на допрос.

На допросе он отрекается от авторства.

Царю Николаю I доложили о результатах допроса. Царь приказал допросить ещё раз.

Тогда Пушкин пишет письмо Николаю I. О чём он написал, осталось неизвестным. Остался неизвестным и ответ царя Пушкину.

Но существует утверждение близких к царскому двору современников, что в письме к царю Пушкин сознался в своём авторстве.

В результате следствие по поводу поэмы, начатое в июне 1828 года, было закончено 31 декабря того же года резолюцией Николаю I : "Мне это дело подробно известно и совершенно кончено".

Задумывал Пушкин написать сцены "Фауст в аду".

Сохранилось несколько набросков – "Бал у Сатаны", "Игра в карты в аду" и другие.

В этих набросках, как и во всех набросках Пушкина, сверкает его гениальность.:

– Молчи! Ты глуп и молоденек.

Уж не тебе меня ловить.

Ведь мы играем не из денег,

А только б вечность проводить.

В 1824 году Пушкин пишет стихотворение "Демон", где были такие строки *"И ничего во всей природе благословить он не хотел"*. Стихотворение было напечатано в альманахе "Мнемозина". В светских кругах прочитали стихотворение и решили, что Пушкин написал психологический портрет Александра Раевского. С Александром Раевским Пушкин был хорошо знаком по южной ссылке, по Одессе.. И там они соперничали из-за Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой.

Оба были влюблены в неё, и, судя по всему, имели успех попеременно. Естественно, что ни один из соперников не щадил другого, а языки у того и другого были острые.

Пушкин выступил в печати с заметкой, в которой он написал, что никого конкретно он не имел в виду, когда писал это стихотворение. Он просто написал о демоне, как духе отрицания и сомнения, что эта тема и это настроение свойственны XIX веку.

Вот отрывок из этого стихотворения:

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу холодный яд.

Неистощимой клеветой

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел –

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

Оставим домыслы о том, кому посвящены или о ком написано стихотворение. Действительно, тема демона в прошлом веке была очень распространена.

В ноябре 1823 года Пушкин написал стихотворение "Свободы сеятель пустынный".

Эпиграф к стихотворению взят из Евангелия от Матфея: Изыде сеятель сеяти семена своя.

Это притча, которую рассказывает Иисус Христос:

*"... вот, вышел сеятель сеять;
и когда он сеял, иное упало при дороге; и налетели птицы, и поклевали то;
иное упало на места каменистые, где не много было земли; и скоро
взошло, потому что земля была не глубока.
Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корней, засохло;
иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в
шестьдесят, иное же в тридцать:
кто имеет уши слышать, да услышит!"*

При жизни Пушкина это стихотворение не печаталось:

*Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...*

*Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.*

Литературоведы считают, что написание стихотворения вызвано поражением революции в Испании, подавленной французскими войсками. Пусть это утверждение останется на их совести.

Но я позволю себе утверждать, что это стихотворение тематически значительно шире и глубже, чем переживание русского поэта по поводу подавления испанской революции...

За полгода до своей трагической гибели Пушкин пишет стихотворение "Отцы пустынноики и жены непорочны". Дата написания указана 22 июля 1836 года.

*Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалья, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

Это стихотворение является переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина.

В литературных статьях я встречала недоуменные вопросы: с чем связано написание этого стихотворения?

Ответа на этот вопрос нет.

Может быть, что-то произошло в душе Пушкина, какое-то изменение его взглядов, его отношений с высшими силами. И вдруг поэта оставило ироническое отношение к религиозным темам, и он обратился к молитве, в которой просит избавить его от праздности, стремления к власти, пустопорожних разговоров, осуждения близких. Просит послать ему внутреннее зрение, чтобы видеть свои прегрешенья, просит оживить в его сердце дух смирения, терпения, любви и целомудрия.

Прекрасное, целомудренное стихотворение!

Продолжение в следующем номере

В. В. Виноградов. История слов, 2010

КЛЕВРЕТ

А. А. Потебня с предельной четкостью выразил мысль о спаянности слова и формы слова со всей системой языка: «Ответить на вопрос о значении данной формы или ее отсутствия для мысли было бы возможно лишь тогда, когда бы можно связать эту форму с остальными формами данного строя языка, связать таким образом, чтобы по одной форме можно было заключить о свойстве если не всех, то многих остальных. До сих пор языкознание большей частью принуждено вращаться в кругу элементарных наблюдений над разрозненными явлениями языка и дает нам право лишь надеяться, что дальнейшие комбинации этих явлений от него не уйдут. Покамест возможны лишь шаткие заключения о роли данного явления в общем механизме словесной мысли известного периода, так как мы умеем читать лишь самые грубые указания на родство явлений» (Потебня, Из зап. по русск. грамм., 1888, с. 54). Особенно сложны и противоречивы факты экспрессивных соотношений и изменений слов. Так, исторические изменения в системе стилей и жанров русского литературного языка непосредственно отражались на экспрессивно-стилистических функциях славянорусизмов. Происходили резкие колебания их стилистических оттенков, менялась их экспрессивная окраска. Все это сказывалось и на логическом содержании слова.

В качестве примера можно указать на церковно-книжное слово *клеврет*, которое современному языковому сознанию представляется несколько устарелым. Оно теперь обозначает 'сторонник, приспешник, приверженец (в каком-нибудь дурном деле)', имеет ярко отрицательную экспрессивную тональность, выражая чувства презрения и даже негодования, ненависти. Между тем этому слову до 30-40-х годов XIX в. были чужды эмоционально-экспрессивные оттенки. По своему происхождению *клеврет* – старославянизм в составе русского литературного языка. Этимологически же оно восходит к лат. *collibertus* (народное *collivertus*) 'отпущенный вместе с кем-нибудь на волю'. В старославянском языке слово *клеврѣтъ* имело значение 'товарищ, сослуживец' ('сослужебник' – по определению А. Х. Востокова) ...

В рукописном «Лексиконе вокабулам новым» Петровского времени зафиксировано: коллега – товарищ, *клеврет* (Смирнов, Зап. влияние, с. 145).

В древнерусском языке слово *клеврет* употреблялось в значении 'товарищ, дружинник, участник в каком-нибудь деле, приверженец' без всякого пейоративного, осуждающего оттенка. Даже в толковых словарях XVIII в. оно рассматривалось еще как высокий книжный синоним бытового слова *товарищ* (см., напр., Сухомлинов, вып. 8, с. 12). В словаре 1867–1868 гг. *клеврет* толкуется так: 'участник в каком-либо звании или деле; товарищ' (2, с. 366–367).

Ср. у А. Пушкина в «Борисе Годунове»:

Не время, князь. Ты медлишь – и меж тем

Приверженность твоих *клевретов* стынет...

У Е. Кострова в переводе «Илиады»:

Не могли различать, кто был *клевет*, кто враг.

У К. Батюшкова в пародии «Певец в Беседе любителей русского слова»:

...Твой сын, наперсник и *клевет* –

Шихматов безглагольный,

Как ты, славян краса и цвет,

Как ты, собой довольный!

У В. Жуковского в «Ивиковых журавлях» (1813 г.):

...Перед седалище судей

Он привлечен с своим *клеветом*...

Но в 30–40-х годах в разговорной речи *клевет* по созвучию ассоциируется со словом *клевета*. Ср. в письме актера А. П. Лоди К. П. Брюллову (от 25 января 1849 г.): «Что ни говори завистники счастья и *клеветы* человечества, а ведь мы с тобой и всей нашей братией давно провели нашу молодость. Весело лилась и запивалась, запивалась и запевалась жизнь артистическая, чорт возьми!» (см. Архив Брюлловых в приложении к «Русской старине», 1900, т. 104, октябрь, с. 177).

Вместе с тем в книжной речи слово *клевет* к 30–40-м годам XIX в. становится все менее употребительным. Однако в середине XIX в., в 60-х годах, оно возрождается с новым значением 'приверженец, приспешник монархической партии' (сл. Грота – Шахматова, т. 4, вып. 4, с. 972–973). Приведем несколько примеров. У И. С. Тургенева в романе «Новь» (в разговоре Нежданова с Калломейцевым): «Но вдруг, услышав в двадцатый раз произнесенное имя Ladislas'a, Нежданов вспыхнул весь и, ударив ладонью по столу, воскликнул:

– Вот нашли авторитет! Как будто мы не знаем, что такое этот Ladislas!

Он – природный *клевет* и больше ничего!

– А... а... а... а во... вот как... вот ку... куда! – простонал Калломейцев, заикаясь от бешенства... – Вы вот как позволяете себе отзываться о человеке, которого уважают такие особы, как граф Блазенкрампф и князь Коврижкин!». В том же романе в речи Сипягина: «под кровом Сипягиных, нет ни якобинцев, ни *клеветов*, а есть только добросовестные люди...».

Ср. у Ф. М. Решетникова в повести «Между людьми» («Записки канцеляриста»): «Вышла из ворот барского дома ватага аристократов и аристократок; дядя отходит прочь от окна и ворчит громко: не поклонюся и шапки никогда не сниму, хоть вы и губернаторские *клеветы*. (Это слово он где-то вычитал и ему оно очень понравилось. Это слово, по его понятию, было нехорошее, хуже всех ругательных слов.) И начинает он рассказывать целые истории об этих "клеветах"».

В современных толковых словарях русского языка (например, у С. И. Ожегова) *клевет* обычно определяется как «приспешник, приверженец». В семнадцатитомном словаре слово *клевет* толкуется так: «Приверженец, приспешник кого-либо, готовый на любое дело для угождения своему покровителю (обычно в речи с торжественно-риторическим оттенком)» (БАС, 5, с. 1007).

Роль экспрессивных оттенков в истории значений слов настолько велика, что без учета и воспроизведения экспрессивных колебаний словоупотребления нельзя получить полной семантической картины, изображающей судьбу слова. В ярко окрашенных экспрессивных словах даже изменения в фонетическом облике, напоминающие народную этимологию, нередко вызываются не потребностями образности, не стремлением к оживлению внутренней формы, а чисто эмоциональными факторами. Например, вместо *скапуться* (от *капут*) в просторечии употребляется и шуточное *скапуться* (см. Ушаков, 4, с. 205). Ср. у Д. Н. Мамина-Сибиряка в романе «Хлеб» в речи сторожа Вахрушки: «Микей-то Зотыч того, разнемогся, влжку лежит. Того гляди, *скапуться*».

В холмогорском говоре «*скапуться* – оплошать, струсить, проявить малодушие» (Грандильевский, с.268). Ср. *скопытиться* в повести Тургенева «Бригадир» (1867): «Так вот он, бригадир-то, с тех мест и *скопытился*... » (в речи дворового; гл. 8).

В экспрессивных образованиях происходят сложные и противоречивые сдвиги в структуре и оформлении морфематического соотношения элементов слова. Вот иллюстрация.

У Н. Г. Помяловского в отрывках из незаконченного романа «Брат и сестра» встречаем образование *чинопёр*. Речь идет об отставном титулярном советнике, который «три раза срывал по триста рублей серебром за то, что били его морду, а морду его, ей-богу, и даром можно бить. Эта шельма, уволенная по прошению, обыкновенно подбирал человек шесть забулдыг, в их присутствии раздражал какого-нибудь незнакомого господина, тот бил его по морде, начиналось дело, и титулярный получал следующий по закону гонорарий. Наконец гражданская палата обратила внимание на то обстоятельство, что титулярного что-то часто очень бьют, и запретила ему впредь подавать просьбы. Чем промышлять? последний товар – физиономия – упала в цене; дошло до того, что бить стало можно эту физиономию, плевать в нее, как в плевальницу, тыкать пальцами, топтать ногами. Тогда он прибегнул к другому средству.

Подходит к нему какой-нибудь промыслитель – *чинопёр*.

– Дело, – говорит он.

Потом, глядя серьезно на *чинопёра*, спрашивал: ”Сколько?”

– Пятьдесят.

– Сто.

– Не дадут.

– Дадут. За это и больше дадут.

– Ну, шестьдесят.

– Девяносто.

– Семьдесят.

– Семьдесят пять.

– Идет.

– На стол.

Чинопёр кладет на стол 75 руб.

– По какому делу?

– Присягу в убийстве.

– Хорошо, – говорит титулярный и, распросив подробности дела, дает присягу.

Наконец ему запретили и присягу держать».

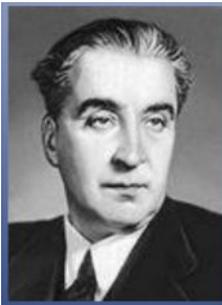
Со словом *чинопёр* можно сравнить *чинодрал*. Ведь в слове *щелкопёр* вторая часть *-пёр* соотносится с именной основой *пер-о* (ср. *щелкать пером*).

Опубликовано в сборнике «Советское славяноведение» (М., 1968, № 4) в серии статей под общим названием «Об экспрессивных изменениях значений и форм слов». За этой статьей следуют еще три: «Рубаха-парень, человек-рубаха», «На ять», «Солдафон».

Сохранилась рукопись – 11 пронумерованных листков разного формата. Первоначальный набросок статьи «Клеврет» относится, по-видимому, к 40-ым годам, о чем говорит истлевшая бумага и выцветшие чернила некоторых страниц. Затем, судя по бумаге, в разное время рукописный текст дополнялся новыми суждениями и иллюстративным материалом. При подготовке к печати В. В. Виноградов окончательно выправил всю статью и заключил ее несколькими дополнительными абзацами (начиная со слов: «В экспрессивных образованиях происходят сложные и противоречивые сдвиги в структуре и оформлении...»).

Печатается по оттиску, выверенному по рукописи. К слову *клеврет* В. В. Виноградов обращался также в связи с вопросом о южнославянском происхождении таких слов как *грядю* (*грядущий*), *ковчег*, *ланита*, *пустити* в значении 'послать' и нек-рых др. (Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка // Виноградов. Избр. тр.: История русск. лит. яз., с. 91). – *Е. Х.*

ОБ АВТОРЕ



Виктор Владимирович Виноградов. Советский лингвист-русист и литературовед, доктор филологических наук, академик АН СССР.

Основположник крупнейшей научной школы в языкознании.

Родился 12 января 1895 года в Зарайске, в семье священнослужителя.

Умер 4 октября 1969 г. (74 года), Москва

VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

РАЗБОРКИ СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ

Светлана Хромичева

ВЫСТРЕЛ ИЗ АВТОРУЧКИ

(О книге Виктора Пелевина «iPhuck 10» (М. «Изд. «Э», 2017)

Светлана Хромичева

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ГАРМОНИИ

(О романе Захара Прилепина «Обитель», издательство АСТ, 2014).

Светлана Хромичева
Выстрел из авторучки

Не так давно мне удалось приобрести книгу Виктора Пелевина «iPhuck 10» и прочесть её. Попытаюсь изложить некоторые впечатления от прочитанного. Думаю, оно того стоит. Конечно, Виктор Олегович (ВОП) не нуждается в моей рецензии, он – культовый писатель, но мне самой интересно покопаться в этой непростой книге и рассказать о своих открытиях тем, кто, возможно, её ещё не читал.

В издательских данных книга характеризуется как «текст». Чем же этот «текст» привлекателен? Ну, как минимум, это интересная книга, злая и остроумная, или остроумная и злая, но этого мало, нужна человечность, чтобы читатель сочувствовал героям, и это у Виктора Олеговича получилось. Пользуясь пищевыми аналогиями, скажу, что проза «текста» не только вкусная, но и высококалорийная, с большим количеством острых приправ и оригинальных ингредиентов.

«iPhuck 10» – книга мультижанровая, в ней сочетаются непринуждённо: роман о романе, научная фантастика, сатирический антикапиталистический памфлет, детективная история, в некотором смысле, любовная драма, а местами даже философский трактат. ВОП в своей новой книге от души поиздевался над всеми фетишами современного западного тоталиберализма: политкорректностью, толерантностью, феминизмом, актуальным искусством, архаусными фильмами, телевизионными программами, экзистенциальной философией, навязчивой рекламой, пристрастием к гаджетам, рекреационным девиантным сексом, фальшивым ханжеством, лит и арткритикой. По сатирической остроте и ядовитости «iPhuck 10» можно сравнить с бессмертным «Путешествием Гулливера» Джонатана Свифта, или с сочинениями Салтыкова-Щедрина.

События, происходящие в книге, отнесены в не столь отдалённые времена, во вторую половину нынешнего двадцать первого века. Будущее в фантастических произведениях, как известно, складывается из частей настоящего и фантазии автора. (Фантазировать ВОП умеет прекрасно.) В этом, предложенном читателю, будущем многократно повысился уровень электронной техники и искусственного разума. Невероятно увеличилась возможность бытовой электроники, произошла гаджетизация по максимуму. Одновременно всё то уродливое, противоестественное, античеловеческое, что нынче искусственно внедряется в сознание людей либеральной западной пропагандой, получило невероятное и всеохватывающее развитие. Победила окончательная глобализация с одновременным дроблением и мутированием традиционных государств и созданием новых нелепых образований, таких как Дафаго на месте Сибири, Халифата в Европе, разделением США на две части с вкраплением так называемых «велферлендов», превращением России в монархию. Далеко зашло расчеловечивание и атомизация общества, а также углубилось резкое разделение людей на меньшинство, некую высшую касту богатых, пользующихся всеми материальными благами и привилегиями

хайтека, и маргиналов «свиноковок». Происходит постоянная слежка за всеми с помощью большого количества видеокамер и других устройств. Ни о какой «свободе» уже речь не идёт. «Мы все оказались в «саркофаге» – говорит героиня книги. В искусстве наступило время «новой неискренности». Самым модным и популярным развлечением служит виртуальный секс, диверсифицированный и девидантный. Аналогично тому, как в нынче самый модный и дорогой телефон – Айфон 10, так в книжном времени самым продвинутым, дорогим и многофункциональным является гаджет для виртуального секса Айфак 10.

Некоторые рецензенты называют книгу антиутопией. Это на мой взгляд, не совсем правильно потому что утопия, как и антиутопия предполагает изображение необыкновенного, небывалого устройства общества. В книге же несколько раз подчёркнуто, что изображён именно, хорошо знакомый нам, капитализм, описанный, как известно, ещё Карлом Марксом, но сильно продвинувшийся по, уже заметным нынче направлениям, и превратившийся в тоталиберализм. Я знакома с сочинениями уважаемого автора «Капитала» только понаслышке, но одно его изречение, кажется, знают все: «...при 100% прибыли он (капитализм) попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти», то есть он преступен по самой своей природе, и сегодняшняя реальность подтверждает это множеством примеров. Из этого же постулата исходит ВОП, конструируя чудовищное будущее в пространстве книги, он строит свой «Дивный Новый Мир» по классическим лекалам капитализма. (Только нынешний гаджетизированный посткапитализм эпохи посмодерна, думаю, Марксом не был предусмотрен. Он оптимистично надеялся на пролетариат, назначив его могильщиком капитала. Нынче с пролетариатом всё неясно, понятие размывается. Никакой «Призрак Коммунизма» по Европе не бродит, а бродят вполне реальные представители Халифата.)

В книжном будущем в результате глобализации миром правит «Big Data», Большой Другой или Большие Данные, которые осуществляют слежку и контроль абсолютно за всеми. Фирмы, подчиняющиеся «Big Data», предчувствуя падение прибыли от продажи всё новых модификаций айфонов, проектируют и осуществляют немислимую по бесчеловечности преступную аферу. Они заказывают и финансируют создание учёными Силиконовой долины новых штаммов мутогенных вирусов. Заражённые этими вирусами, женщины не болеют сами, но в случае беременности, производят на свет уродов микроцефалов. В предвкушении огромной прибыли от продажи приспособлений для виртуального секса, этими летучими вирусами было заражено практически все человечество. Произошёл преступный сговор фирм для создания рынка виртуального роботизированного секса, торгующего андрогинами и айфаками. Чтобы люди не занимались любовью друг с другом, был произведён «Тектонический слом человеческой сексуальности». Воспроизводство населения стало происходить «через пробирку» или клонированием. В этих условиях естественный секс маргинализируется, становится почти криминальным и практикуется только «свиноками».

Ещё более глобальной становится финансовая система. Всеми деньгами распоряжается Единый Банк, иначе Ебанк, расположенный в Лондоне. Единые деньги, которыми управляет Ебанк, называются эсдиарами (SDR), или просто «хрустами». Довольно издевательски выглядит реклама Ебанка: «SDR=HR», невольно обнажая цинизм банковской системы, ведь «HR» – Human Rights (Права Человека), отсюда и «хрусты». Государства постоянно воюют друг с другом, но Ебанк благополучно получает прибыль от финансирования всех воюющих сторон.

Также фальшиво и порочно капиталистическое искусство. Как говорит героиня, искусствовед: «Сегодняшнее искусство – это сговор, <...> бизнес-проекты профессиональных промывателей мозгов, пытающихся эмитировать новые инвестиционные инструменты». (с. 31) А произведением искусства может быть назначено что угодно хоть куча мусора, хоть железика с помойки. Иначе говоря, торговля современным искусством – это узаконенное жульничество по предварительному сговору с одной стороны и иллюзия выгодного вложения денег с другой.

В книге три основных действующих лица, или трое героев, причём, двое из них представители искусственного интеллекта.

Порфирий Петрович, как написано в аннотации, литературно-полицейский алгоритм, «бестелесный и безличный дух», по его словам. Он же является автором «романа в романе», выступает в роли писателя, комментирует процесс создания текста, объясняет читателю свои литературные приёмы. Этот «роман» Порфирия Петровича влияет на его судьбу и определяет некоторые повороты сюжета. Такая сюжетная конструкция напоминает построение романа-антиутопии Е. Замятина «Мы».

Мара Гнедых – не вполне женщина по гендеру, искусствовед и программист по роду занятий, имеет псевдоним, похожий на уголовную кличку. Она изображена обритой налысо, одетой в садо-мазохистскую «упряжь» с шипами и обутой в окованные сталью башмаки.

Жанна, как и Порфирий Петрович, является искусственным созданием, компьютерной программой. Я про неё ничего не буду рассказывать, чтобы не раскрывать тайны «текста».

Если попробовать поискать в книге положительного героя, то это, скорее всего, трудолюбивый, сообразительный и бескорыстный Порфирий Петрович, уже одним своим именем, отсылающим к Достоевскому, осуществляющий связь с русским традиционным «литературоцентризмом» девятнадцатого века. Его внешность и одежда, в которой он визуализируется на экранах различных устройств, также соответствует классической внешности полицейского чиновника того времени. В нём собраны черты характеров большого множества людей, и реагирует он на внешние обстоятельства совсем по-человечески. Как он сам о себе рассказывает: «мой алгоритм выполняет две функции. Первая – раскрывать преступления, наказывая зло и утверждая добродетель. Вторая – писать об этом романы, незаметно подмешивая в сухой полицейский протокол яркие брызги и краски из культурной палитры человечества». (с. 9) Он может быть грубоватым и

пошловатым, но не лишён обаяния, а стиль своих писаний расцветчивает весьма яркими метафорами, старается своими романами доставить радость людям.

Хотя автором «романа» в книге считается Порфирий Петрович, но по воле ВОПа Мара Гнедых и Жанна также приложили руку к сочинительству и могут считаться соавторами. Вероятно, это и отражено на обложке книги, где её изображение повторено несколько раз одно в другом. Не исключено также, что это намёк на многожанровость повествования.

В книге довольно много второстепенных персонажей, некоторые из которых участвуют только в одном из эпизодов и не появляются больше. Тем не менее, они изображены так ярко и выпукло, что не могут не запомниться. Кратко, несколькими штрихами, показан их внешний вид и характер. Приведу только один пример, чтобы показать как мастерски это сделано: «Аполлон Семёнович был пьян, небрит и непричёсан. На его лоб спускалась кудрявая прядь, длинная и влажная, в трезвые дни обитающая на лысине – словом, выглядел он так, как и положено немолодому человеку во время долгого запоя. Но при этом на нём был безупречный пингвин-сьют с чёрной бабочкой на крахмальной манишке – словно он собирался на званый ужин.» (с. 81)

Как я уже упоминала выше, все, заметные нынче, направления западного либерализма доводятся в книге до логического абсурдного результата.

Например, писательница-феминистка призывает женщин обращается в суд, чтобы наказывать мужчин за так называемое «ретроизнасилование», то есть за интимный контакт в прошлом, даже весьма отдалённом, когда, сказанное женщиной «да», на самом деле якобы означало «нет». Предлагает эта дама и более радикальные меры против «мужских издевательств», а именно – уже при рождении оперировать мальчиков определённым образом.

Кроме уже знакомого слова «харасмент», появляется в книге, ещё малоизвестное, «энтайсмент», и призывы сурово судить женщин за этот самый «энтайсмент».

Всё это в наше время уже не кажется удивительным. Прошли те времена, когда интимная жизнь была личным делом каждого и говорить о ней громко считалось неприличным. В последнее время те или иные сексуальные пристрастия и гендерная идентификация демонстрируются открыто, обсуждаются публично и даже становятся предметом рекламы и политики. Из, приоткрытой нелёгкой рукой бабушки Фрейда, коробочки психоанализа нынче выскакивают неудержимо: трансгендеры, трансэйджеры, зоофилы, гейактивисты, радикалфеминистки, садомазохисты, защитники сексуальных прав животных и ещё много-много «других». И уже нормальному человеку в таких обстоятельствах стыдно быть нормальным что и показано в пространстве книги, где обычные люди являются презируемыми маргиналами, «свинюками».

Пародийно высмеиваются в книге наши телевизионные программы. Например, вот что говорится о ток-шоу «Вундеркинд»: «У него в студии всегда визг, критика властей и полная свобода слова, но побеждает всегда правильная линия». (с. 54) На программе «Московский соловей» («жареные

факты, скандалы, сплетни») обсуждается война, идущая между Халифатом и Дафаго «из-за разного истолкования небесных знамений». Как тут не вспомнить Джонатана Свифта, войну «гупоконечников» и «остроконечников» из «Путешествия Гулливера»?

В разговоре о литературе Порфирий Петрович заявляет: «Я как русский литературный алгоритм, не считаю необходимым кланяться всем штампам иудео-саксонского маскульту. Более того, я их презираю – и полагаю одной из главных технологий оболванивания человечества». (с. 215) Весьма нелестно и грубо отзывается он и о литературных критиках.

Книга связана с классической русской литературой большим количеством аллюзий. Есть в ней отсылки, кроме упомянутого Достоевского, к Блоку, Пушкину, Лермонтову, Набокову и другим. Не забыта даже сказочная Черубина де Габриак. Эта интертекстуальность, отличительная черта постмодернистской прозы, впрочем, в данном случае интересна и органична. Имеется в тексте остроумная игра слов, русско-английские каламбуры, например, слово «Bathroom» превращается в «басурман», компания «Самсунг» в «Самсунь», банк «Goldman Sachs» в «Goldman sucks».

В книге много оригинальных, выразительных образов. Самая яркая и, очевидно, чем-то наиболее значимая для автора, метафора, вынесенная на обложку и форзац, – это красная лондонская телефонная будка. В тексте она появляется несколько раз как «образ рока» и как орудие виртуального насилия. London calling (Вызывает Лондон). Эта будка, вероятно, символизирует не только Ебанк, «седалище» которого, согласно тексту, находится в Лондоне, но и захват английским языком лингвистического пространства (уже у нас в троллейбусах стали остановки объявлять по-английски), и претензии на мировую гегемонию одной большой англоязычной страны, как известно, продолжающей бесстыдную политику своей матушки Великобритании, разбогатевшей благодаря грабёжам и захватам чужих земель. А заглянув в Интернет, я обнаружила, что изображение красной лондонской телефонной будки в натуральную величину, оказывается, используется у нас в оформлении интерьеров: стен, дверей, фасадов холодильников. То есть всё человечество, по версии ВОПа, в какой-то степени, изнасиловано лондонской телефонной будкой.

В третьей части книги имеется довольно подробное описание так называемых айфак-фильмов, представляющих собой смесь архауса и порнографии с псевдоисторическим сюжетом. Так айфильм «Resistance» повествует как бы о французском «Сопrotивлении» во время Второй Мировой Войны, изображая его в виде гомозротического фарса. некоторыми намёками отсылая читателя к новому фильму Андрея Кончаловского.

В другом фильме «Бейонд» весьма зло высмеяна западная экзистенциальная философия, между Сартром и Хайдеггером. Вот что говорится о философии: «Философские тренажёры не воспитывают ум. Они его искривляют. <...> Цепкий юный ум может освоить всех этих хайдеггеров и сартров. Но молодым, свежим и непредсказуемым после этого он не будет уже никогда.» (с. 335)

Фильм «Блонди», зооэротический триллер, имеет идеологическую сверхзадачу окончательно взвалить на Россию вину не только за начало Второй Мировой Войны, но и за Холокост.

В книге так много остроумного, что трудно удержаться от излишнего цитирования. Вот, например, о фейсбуке: «В фейсбуке – мокрый холодный ветер со снегом; наши прячутся по буеракам и стылым окопам, кидая кизяком в ликующие хари врагов: кинули бы камнем, да икнётся – забанят. Мировой жаб глумливо глядит на нашу скудость из зенита, и свежие эмоджи шевелятся на его загорелой чешуе; сколько Божьих стрел отразил он уже, не шевельнув даже веками! Но сроки назначены, и об этом, распознаясь по коментам, прищёпывают умные посты, вывернутые для маскировки кошачьим мехом вверх. Многомысленно в фейсбуке. Но нету в фейсбуке счастья.» (с. 287)

Не буду больше перечислять все лакомства для ума, содержащиеся в «тексте», скажу только, что их там немало и сюрпризов для читателя приготовлено много. Я не буду, конечно раскрывать эти тайны, но об одном секрете следует сказать по причине его универсальности. Мы читаем в книге: «без боли нет подлинного искусства, о чём всегда должно помнить искусство поддельное». (с. 271) И тут-то туповатый читатель вроде меня догадывается, что Виктор Олегович, скрывающийся за масками своих персонажей, страдает, что он болеет душой за нашу «Богооставленную» Родину, за несчастное человечество, которое оболванивают ловкие, бесчестные, циничные и жадные до денег манипуляторы. Я бы ещё добавила, что и без любви подлинное искусство существовать не может, что боль и любовь всегда ходят рука об руку.

И любовь в повествовании имеется. Тут возникают очень сложные вопросы: может ли страдать и любить искусственный интеллект, и как он будет вести себя, попав в «юдоль страданий», которой является человеческая жизнь? Некоторые гипотезы по этому поводу можно найти в книге.

Довольно известный критик Галина Юзефович назвала «iPhuck 10» романом идей, глубоким, волнующим, захватывающим, и лучшим текстом Пелевина за последние годы. Дмитрий Быков заявил, что книга неинтересная проза её суконная, и вообще это программистский анекдот. Вот и я вношу свой скромный вклад в копилку отзывов.

Какой вывод можно сделать из прочитанного? Наш гаджетизированный мир становится всё более тоталитарным и страшным, и никакого «Города солнца» на горизонте не видно, увы. Несмотря на это, жизнь должна продолжаться, «сдаваться никогда не надо ибо человек – сам кузнец своей наковальни.» (с. 403) Закончу своё сочинение цитатой из книги Виктора Олеговича «Чапаев и Пустота»: «Боже мой, да разве это не то единственное, на что только я и был способен – выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки?»

Светлана Хромичева. Май 2015 года.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ГАРМОНИИ

(О романе Захара Прилепина «Обитель», издательство АСТ, 2014).

С лёгкой руки Достоевского часто повторяют, что вся русская классическая литература вышла из «Шинели» Гоголя (по мнению некоторых – из сюртука Чаадаева), и писатель Прилепин, помня об этом, в авторском вступлении к своей «Обители» сообщает читателю, что его роман вышел из тулупа прадеда Захара, в память о котором автор и сменил своё, данное ему при рождении, имя Евгений, гладкое и холодное, на горячее и шершавое – Захар.

Старый тулуп «был как древнее предание». В нём «можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахарный обкусок, потерянный моим отцом...» с.9. Овчинный тулуп описан так завораживающе, с такой любовью, нежностью и поэзией, что, прочитав о нём, уже невозможно отложить книгу, она затягивает в свои омуты и водовороты, и читается до конца с ужасом и восхищением.

Первая фраза романа: «Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой», как камертон задаёт тональность всему тексту и уже понятно: не об Акакии Акакиевиче, пресловутом «маленьком человеке», пойдёт речь.

Роман «Обитель» – это «лагерная проза», но она сильно отличается от того, что обычно так называют. Это повествование от человека, который сам не имеет лагерного опыта и реконструирует обстановку и события по воспоминаниям свидетелей и архивным материалам. (Прадед автора четыре года был узником Соловецкого лагеря особого назначения и его рассказы также использованы в книге.)

Блестящая писательская техника, воспроизводящая жизнь лагеря с почти кинематографической выпуклостью, выразительный, красивый русский язык с большим количеством поэтических образов, тропов, – всё это, добавленное к знанию фактического материала, делает прозу романа первоклассно-художественной, её можно даже назвать прозой поэта (Как известно, Захар Прилепин сочиняет и стихи тоже.) Роман полифоничен, гармонично сочетает в себе элементы разных жанров: в нём есть правдивая, основанная на документах, историческая канва, напряжённый, динамичный сюжет триллера, интеллигентские дискуссии на вечные русские темы о народе и стране, чувственная любовная история с изящно выписанными эротическими сценами, фантазмагорические ужасы человеческих страданий. Читать некоторые страницы тяжело, но нужно знать: и такое было.

В книге более пятидесяти действующих лиц и, лишь вскользь упомянутых, персонажей: это представители разных социальных групп и национальностей, большинство из которых реально существовавшие люди.

Описанные события происходят летом и в начале осени 1928 года. (Соловецкий лагерь особого назначения (СЛООН) был первым подобным, организованным большевиками. Первоначальная задача лагеря – перековка людей, внушение заключённым коммунистической идеологии. На территории и в помещениях бывшего монастыря находилась школа, библиотека, театр, издавалась газета, велась научная работа, имелись разные производства, животноводческие, звероводческие и рыболовные хозяйства, промыслы.)

Композиция романа линейна, представляет собой движение главного героя по всем кругам «соловецкого ада» или, иначе говоря, по всем «аттракционам» этого «цирка в аду». Герой, подобно сказочному Колобку, катится и ускользает из одной смертельно-опасной ситуации, чтобы тут же попасть в другую, не менее опасную, получая по дороге от судьбы не только удары, но и неожиданно-приятные сюрпризы, даже слово «счастье» встречается в тексте не один раз.

Главному герою, Артёму, дана фамилия Горяинов, в которой, если прислушаться, звучит и «горячий» и «горестный». Автор повествует о нём в третьем лице, но изнутри его головы, порой сливаясь с ним до нераздельности, создаёт своего героя со всеми его поступками, мыслями, чувствами, и получается личность сложная, неординарная, совмещающая в себе, казалось бы, несовместимое: кулаки и стихи.

О долагерной жизни Артёма сказано немного: он – москвич, повеса, читатель книжек, происходит из благополучной, купеческой в прошлом, семьи, учился в гимназии, был студентом, грузчиком, занимался спортом, ходил в театры, ему двадцать семь лет.

Автор намеренно деидеологизировал своего героя: тот – ни за «красных», ни за «белых», поэтому может относиться к тем и другим непредвзято. (Я не знаю, насколько это правдоподобно, и можно ли было в то переломное время оставаться таким нейтральным, но верю автору.) Нет у Артёма и статуса «невинной жертвы», он осуждён и попал в лагерь за реальное преступление:

во время бытовой ссоры убил отца, которого любил до обожания. Жить с этой виной на душе ему мучительно, и заключение в лагерь кажется заслуженным и даже помогающим заглушить страдания и стыд от содеянного.

Это преступление, убийство отца, происшедшее за рамками книги, до начала повествования, из частного происшествия становится метафорой всей книги, относящейся не только к заключённому Горяинову, который сам себя сделал сиротой, но и ко всей стране с её жителями, вынужденными в результате большевистского переворота отказаться от своего прошлого, своей веры, привычного уклада жизни, «убившими отца», осиротевшими. Убита традиционная Россия, и Соловецкий лагерь предстаёт неким «гнездом кукушки», где все – сироты, и заключённые и тюремщики, и все мучаются и мучают друг друга, и не всегда понятно, кто же из них более преступен.

Артём не тот, кого принято называть «положительным героем», у него противоречивый, объёмный и многосоставной характер, за его злоключениями

интересно следить. Он не стремится бороться с лагерными порядками или помогать слабым, пытается только выжить, не совершая особых подлостей и не теряя своего достоинства. В характере Артёма порой проявляется гордость, несдержанность, он может быть грубым, умеет драться, пускает в ход кулаки, сам бьёт и его бьют, может зло насмеяться над «попавшими под раздачу» палачами. Впрочем, совершает он иногда и добрые дела. Его смелость, жизнелюбие, удачливость, независимость, начитанность привлекают, вызывают симпатию и сочувствие у читателей.

О внешности Артёма мы знаем только, что глаза у него «зелёные, крапчатые».

Особым пристрастием Артёма является любовь к литературе. Он – читатель книжек, заражённый поэтическим вирусом Серебряного Века, повторяет про себя стихи как молитвы и вместе с молитвами в самых, казалось бы, непоэтичных местах и обстоятельствах.

Если сложить все свойства личности главного героя, то получится во многом искусственно сконструированный характер, который, тем не менее, кажется живым и органичным благодаря исключительному воображению автора, его прекрасному владению языком и техникой изображения. И если такого Артёма Горяинова не существовало в реальности, то теперь он появился благодаря Захару Прилепину.

Артём, как уже было сказано выше, не имеет жёстких политических пристрастий, но убеждения у него есть и достаточно твёрдые, только они не политические, а скорее, эстетические. Вот как написано об этом: «...у него действительно почти не было жалости, её заменяло то, что называют порой чувством прекрасного, а сам Артём определил бы как чувство такта по отношению к жизни. Он отбирал щенков у дворовой пацаньи, издевавшейся над ними, или вступался за слабых гимназистов не из жалости, а потому, что это нарушало его представление о том, как должно быть.» с.112

Это врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии и является единственной идеологией главного героя романа. Эту гармонию, невозможную в жуткой фантазмагорической лагерной жизни, Артём ищет в стихах. Когда ему неожиданно пофартило, удалось утолить голод телесный и образовалось немного свободного времени, он идёт в лагерную библиотеку.

«– Мне бы стихов, – сказал Артём так, словно просил конфет.» с.242.

После посещения библиотеки он повторяет запомнившуюся строчку: «Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?» В книге нет ссылки на автора стиха, но благодаря Интернету легко определить, что это строчка из стихотворения Эдуарда Багрицкого:

...Мы ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер
Чуть север –
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?...

Ближе к финалу романа, в камере, ожидая решения своей участи, Артём, делая девять шагов по диагонали помещения, бормочет запомнившиеся отрывки стихотворений, одного: «...Раскаивался я и в том и в этом дне! Как бы чистилище работало во мне!» и другого: «...Мерещится, что вышла в круге сна вся нечисть тех столетий темноты...» с.669. Первый отрывок – из стиха Константина Случевского, второй – Константина Бальмонта.

Интересно, что и «комиссарша» Галина во время любовного свидания признаётся, что любит стихи: Есенина, Уткина, Мариенгофа, Луговского, Тихонова. «А что ещё можно любить?» – спрашивает она. В устах этой женщины подобные слова звучат несколько неестественно, но автору виднее.

Поэзия в книге соседствует с кровавыми сценами, расстрелами, избиениями, издевательствами. Причём, одинаковую жестокость проявляют порой и тюремщики и заключённые.

Есть место в лагерной жизни и посиделкам, так называемым «Афинским вечерам» в келье поручика Мезерницкого, со скудным угощением, но умными разговорами о судьбе страны. В этих беседах снова появляется тулуп, шуба, как метафора представляющая уже всю Россию. «Была империя, вся лоснилась, – рассуждал Мезерницкий, размахивая руками; (...)

– А это империю вывернули наизнанку, всю её шубу! А там вши, гниды всякие, клопы – всё там было! Просто шубу носят подкладкой наверх теперь! Это и есть Соловки!» с. 230.

В келье бывшего монастыря продолжают интеллигентские разговоры о народе; начавшиеся в девятнадцатом веке или ещё раньше, они велись и на советских кухнях, не прекращаются кое-где и нынче. Чем закончилась эта болтовня досужих «мыслителей» на тему «интеллигенция и народ» в начале двадцатого века мы уже знаем. Осознают это на своём горьком опыте и узники Соловков. Вот как это формулирует Мезерницкий: «... всю свою юность мы проговорили о народе. О народе – как о туземцах. О его величии и его судьбах. О его непознаваемости. (...) И вот оно! Состоялось место встречи! Место встречи народа и Серебряного века! Серебряный век издыхает, простонародье – просыпается. Что мы должны делать? То, что не сделали толстовцы и народники, – вдохнуть дух просвещения в туземные уста и – уйти с миром» с. 311.

Почти все персонажи романа, кроме однозначно преступных блатных и палачей-тюремщиков, многозначны и противоречивы, как и место действия. Всё содержит в себе противоположности: церковь – тюрьма, монастырь – застенки. Добрейший, тишайший, интеллигентнейший Василий Петрович оказывается безжалостным садистом из колчаковской контрразведки.

Начальник лагеря Эйхманис, хладнокровный убийца и заказчик политических убийств, организует в лагере музей, театр, научную работу. Чекистка Галина, работавшая в «поезде Троцкого», совсем по-бабьи хочет только мужской любви, и по-мещански мечтает о «платке с разводами, баретках с резинками, пудре «Лебяжий пух». Поэт Афанасьев, способный на одноразовую подставу и мелкое карточное жульничество, тем не менее, не хочет фальшивить в стихах и не боится поиздеваться над лагерным начальством, сочинив двусмысленный лозунг.

Афанасьев – самый обаятельный персонаж в романе, неунывающий, светлый человек, привносящий веселье в самые неподходящие для этого обстоятельства, обладатель клоунской внешности (рыжий чуб, веснушки) и темперамента скомороха. Какие он писал стихи, читатель так и не узнает, а вот его небольшой монолог поэтичен: «...у Достоевского – все самоубийцы на с...сэ? Свидригайлов, Смердяков, Ставрогин? Я эту букву что-то выговаривать разучился. Сэ – как луна. Посреди фамилии Дос...стоевского торчала она и затягивалась на шее у него. Свистела на ухо... сатанинская свара... Сладострастная стерва... и солёные сквозняки... серп рассёк сердце... и смерть... и с...Секирка.» с. 530.

Каждый из персонажей носит в душе своей немного ада. Один владычка Иоанн, утешитель страждущих, – стопроцентно безгрешен. Автор с очевидной любовью пишет, что от владычки «пахло сушёными яблоками», от его слов «исходило очарование»: «Ты обязан защищать святую Русь – оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а всё иное – земная суета.» с. 44.

Думаю, основная идея романа, его пафос, страсть именно в этих словах владычки Иоанна: «Лишь бы не забыть нам самое слово: русский...» Не случайно один блогер, прочитав роман, написал: «Когда читаю Прилепина, хочется быть русским». В слове «русский» в данном случае нет национализма, оно относится ко всем народам, считающим Россию своей Родиной и любящим русский язык.

Роман, как я уже упоминала, написан красивым образным языком. Трудно удержаться от большого количества цитат: драгоценные блёстки стиля, сравнения, метафоры, разбросаны щедро по всему тексту. Вот, например, как несколько раз описан комплекс зданий и сооружений монастыря:

«В майском или июньском мареве Соловецкий монастырь, на подходе к нему, мог напомнить купель, где моют младенца. В октябре под сизым дымным небом он стал похож на чающую кухонную плиту, заставленную грязной и чёрной посудой, – что там варится внутри, кто знает.» с. 575.

«Ему казалось, что земля накренилась, и Соловецкий монастырь, как каменный тарангас на кривых колесах, несётся с горы и сейчас ударится об ужасную твердь и всё рассыплется на мельчайшие куски, и это крошево без остатка засосёт в чёрную дыру.» с. 465.

«С моря в утреннем свете монастырь походил на сахарный пряник.» с. 590.

«Издалека монастырь был похож на корзину. Из корзины торчали головастые, кое-где подъеденные червем грибы.» с. 745.

Описание чувственных удовольствий от еды и от любовных ласк удались автору одинаково убедительно. От этого «лучка со сметанкой», «пышных и сладких пирогов с капустой», соловецкой сельди, жирной и золотой, возбуждающей как женская плоть, у читателя буквально слюнки текут.

Борщ дарит герою ощущение счастья. «Этот борщ был не просто едой – он был постижением природы и самопостижением, продолжением рода и богоискательством, обретением покоя и восторженным ликованием всех человеческих сил, заключённых в горячем, расцветающем теле и бессмертной душе.» с. 399.

Вот эти моменты счастья, появляющиеся в тексте, сообщают читателю радостное мироощущение, свет надежды в общем мрачном пространстве романа.

В аннотации на обложке книги написано о «босховском размахе текста. А я бы сравнила пестроту, многокрасочность, почти средневековый антураж, абсурд и колорит сцен существования заключённых, их мучительной жизни и смерти, также с миром картин Питера Брейгеля старшего, более реалистичного и человеческого по сравнению с фантазёром и визионером Иеронимом Босхом. Картины этих художников вспоминаются, когда читаешь фантазмагорическое описание коллективного покаяния узников изолятора на Секирной горе. Страницы, посвящённые этому раскаянию в содеянных грехах, их отпущению, прощению и причащению являются одними из самых драматичных в книге и буквально катарсисными (греческое слово «катарсис» значит очищение). В этом описании сцен безумного экстатического отчаяния и раскаяния, как на картинах упомянутых художников (вспоминается здесь и Николай Васильевич Гоголь с Теодором Гофманом), метафоры грехов материализуются в виде отвратительных существ: «Ползли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки...и даже гады были кривы и уродливы...». с.565. Перечисление, описание этой мерзости заполняет целую страницу, словесно воплощая в зримые образы отвратительность людских пороков.

Хотя повествование ведётся не от первого лица, автор всё время находится не только рядом со своим героем, но, можно сказать, в его шкуре, являясь летописцем всех подробностей жизни его тела и души, глядя на всё его глазами. Он любовно творит своего героя, очевидно, иногда поглядывая в зеркало, и наделяет его некоторыми своими способностями, например, способностью метафорически мыслить и визионерски видеть невидимое. Следуя босховско-брейгелевской или, если хотите, гофмано-гоголевской традиции автор выпускает образы метафор на свободу, и они начинают существовать сами по себе.

«У Артёма от очередной икоты развязалась пуповина, из него прямо на ныры посыпались осклизкие, подгнившие крупные рыбины, а из них – другая рыба помельче, которую успели съесть, а из второй рыбы – третья, тоже пожранная, а из третьей – новая, совсем мелкая, а из мелочи – еле различимая, гадкая зернистая россыпь.» с. 566. (Этот отрывок текста случайно или намеренно во многом повторяет содержание рисунка Брейгеля «Большие рыбы пожирают малых.»)

В описании покаяния на Секирной горе поэтический реализм автора превращается почти в магический. Сами же себя Прилепин и несколько близких ему по стилю и убеждениям писателей называют «новыми

реалистами». Вот определение «нового реализма», данное Сергеем Шаргуновым: «Новый реализм – это может и не самое удачное определение, зато новый поворот в литературе, а именно возвращение интереса к реальности, к жизни. С одной стороны, наследуя старому доброму критическому реализму, а с другой – впитав авангардные приёмы, постмодернистские практики и отзываясь на современные реалии, такой реализм вправе называться именно новым.» Новых реалистов: Прилепина, Шаргунова и ещё нескольких объединяет также и антилиберальный настрой.

Эту, упомянутую выше, способность главного героя грезить наяву, воочию видеть образы поэтического воображения, наверное, и можно назвать авангардным приёмом, хотя подобному «авангарду» уже очень много лет. (Авангардистами ли были Босх, Брейгель, Гофман, Гоголь?)

Имеется в книге и пример открытой переклички с постмодернистами. На странице 665 можно обнаружить аллюзию на некий эпизод из романа Виктора Пелевина «Generation «П». Эта постмодернистская ирония так явно проявилась, кажется, один раз во всём романе, что не мешает последнему быть безусловно реалистичным.

Тем не менее, например, журналист Михаил Золотоносов в своей статье «Покажи мне такую обитель» (журнал «Город» 26 мая 2014 года) упрекает Прилепина в недостаточной достоверности описываемых событий. Он считает неправдоподобным слишком малое количество матерных ругательств в романе, отсутствие антисемитских высказываний и гомосексуальных связей, а также недостаточное обвинение большевиков в происходящих беззакониях. Это мнение Золотоносова. Мне же показался не слишком реальным эпизод с обнаружением иностранцев на необитаемом острове. В книге появление этой странной пары так и остаётся необъяснимым. Почему, обучавшиеся в гимназиях, где преподавались иностранные языки, Артём и Галина не могли понять, говорившую по-немецки и по-французски Мари, тоже неясно.

По поводу недостаточного обвинения большевиков: на мой взгляд, они этим романом и большим количеством других книг осуждены достаточно.

Например, в «Приложении» (Дневник Галины Кучеренко) к роману приведены слова Фёдора Эйхманса. Бывшего начальником СЛОНА

(1924 – 1929 годы): «Дело большевиков – не дать России вернуться в саму себя. Надо выбить колуном её нутро и наполнить другими внутренностями.»

с. 722. По-моему, очень точно и откровенно: большевики сделали Россию с её жителями жертвой чудовищного эксперимента.

Одной из главных тем романа, а, возможно, и самой главной, является ощущение кровной связи главного героя и, сливающегося с ним в этом чувстве автора, с русской землёй и всей многовековой российской историей.

В длиннейших предложениях автор прослеживает воображаемый путь предков героя, чудом избегнувших гибели, чтобы оставить потомство, которое, в свою очередь, чудесным образом выживало среди роковых опасностей, и передавало эстафету крови своим детям, чтобы продолжали они

свою жизнь в России, беря силы от своей земли и, помогая ей по мере сил, ценили свою жизнь, которая есть продолжение из дальних времён ручейка крови забытых предков, живших на этой земле и называвших её Родиной-матерью.

«Артём спал, (...) и во сне словно бы летел на узкой лодке по стремительной и горячей реке собственной крови – и течение этой реки вводило его всё дальше во времена, где на одном повороте реки тянули изо всех сил тетиву, но перетягивали ровно на волосок – и стрела падала за спиной его праотца, а на другом повороте стреляли из пушек, но во всякое ядро упирался встречный ветер, и оно пролетало на одну ладонь мимо виска его прадеда (...) и на всех остальных поворотах вся остальная многоликая и глазастая родня Артёма тоже тонула, опухала от голода, угорала, опивалась, была бита кнутом, калечена, падала с крыш и колоколен, попадала под лошадь, пропадала в метелях, терялась в лесу, проваливалась в медвежью берлогу, встречалась с волчьей стаей, накладывала на себя руки, терпела палаческую пытку, но всякий раз не до самой смерти, – по крайней мере не умирала ровно до того дня, пока мимо не проплывала лодка Артёма, – и только после этого возможно было сходить под землю и растворяться в ней.» с 585.

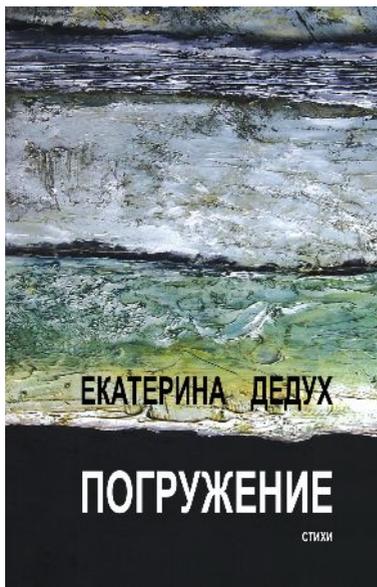
Итак, роман «Обитель» – историчен, увлекателен, поэтичен. В нём есть предостережение: показано, что может произойти, если «убить отца», то есть отказаться от своего прошлого, от эволюционного пути развития, если разрушать «до основанья, а затем...». А «затем» бывает очень страшно.

В романе упоминается большое количество писателей и поэтов того времени, начала двадцатого века. Это памятка, в первую очередь, для нынешней молодёжи, которая, предположительно, о них не знает почти ничего. Роман является мостиком, соединяющим литературу Золотого и Серебряного века с литературой нынешней, с творчеством «новых реалистов», продолжающих гуманистическую традицию, прерванную в девяностые годы так называемыми постмодернистами, которых Прилепин называет «трупоедами» за то, что они паразитировали на трупе социалистического реализма после развала СССР.

Захару Прилепину удалось в своей книге изобразить симфонию жизни в большом диапазоне её проявлений: от крайнего зверства и варварства до нежнейших и поэтичнейших чувств. Это мужская проза, проза человека, способного на поступки и за них отвечающего. Не случайно писатель занимается и общественной деятельностью. В последнее время он через Интернет собирал деньги, пожертвования неравнодушных людей, на помощь пострадавшим от военных действий жителям Новороссии, закупал продукты и вещи, с помощью нескольких друзей отвозил, и адресно вручал нуждающимся.

О книге и её авторе можно написать ещё очень много, но следует где-то и остановиться. Точка.

РАЗБОРКИ СРЕДИ КРИТИКОВ



Символическое празднование Дня восьмого марта.

Вообразим, что мы, и женщины и мужчины, представленные в ниже публикующихся статьях, собрались за чайным литературным столом.

Юлия Медведева. Рецензия
Екатерина Дедух.
«Погружение».

С. Толдова
"Погружённые" мысли или
Попытка погружения

Елена Иванова
ГЛУБИНА ВЫСОТ

Александр Медведев
ИЗ ДНЕВНИКА 2016 ГОДА – СКВОЗЬ СВЕЧЕК СИЯЮЩИЙ ЛЕС...

Роман Круглов
УСТРОЙСТВО БАТИСКАФА

ВИ Чернышев (редактор).
Отклик на стихи Екатерины Дедух

Юлия Медведева. Рецензия

Екатерина Дедух. «Погружение». Стихи – 2017: – СПб: – 76 с., – илл. Издание Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Начать разговор о книге хочется, оттолкнувшись от ее оформления, выполненного самой же Екатериной (она не только поэт, но и художник). Может быть, в этом виновата обложка, рисунок на которой так и тянет потрогать, проверить – а не рельефный ли он? Что там изображено – отпечатки в глине, река, еще одна река? Да, погружение будет многослойным ...

Один из слоев книги – самозабвенное погружение в чувства к мужчине, который становится центром мира, смыслом жизни. «Нет мне воздуха в воздухе. Нет мне земли на земле.» Он почти равен Богу: «Я чаша деревянная. В руке его /Я вспоминаю летнее тепло /Как солнце ствол к себе наверх влекло». Подмена Бога мужчиной мучительна, и любовь превращается в созависимость: «Чтобы освободиться – скажу: «Нет меня». / Всё сильнее, очевиднее день ото дня / Эта мысль проступает ... <...> «Нет тебя» надо тоже осилить сказать. / Но язык замирает». Удивительно, что из этих глубин безнадежности лирической героине удастся вынырнуть, да еще и с благодарностью: «И хотя никогда не случится мне быть с тобой /– Самым светлым и ценным, что Богу смогу отдать я, / Будет эта тобою моя налитая боль, / Что дороже и глубже иного пустого счастья».

Но это только первый слой, ближняя река. А дальше – еще одна; даже не река, а море, где погружаешься в изучение мироздания через призвание, природу, молитву.... Здесь есть великолепные образцы философской лирики – емкие, лаконичные, элегантные:

Проработав над словом внимательно столько лет,
Очищая его от примесей, ото лжи,
Понимать начинаешь, что главного в слове нет,
И – хоть жизнь положи – в слово этого не вложить,
Даже если сумеешь до самых глубин дойти...
Своевременно ляжет само оно между строк.
Так в хороший скворечник слетается стайка птиц,
Так в простую икону, случается, входит Бог.

А вот еще (по сути, одна блестящая, развернутая метафора):

Мы в этой жизни – босяки,
Что в дорогом ресторане
Бравады ради, ради шутки
Наказали разных блюд.

Не расплатиться: медяки
 У каждого из нас в кармане.
 Не подавай им вид, что жутко.
 Держись ровнее – счёт несут.

И тут приходит мысль, что, возможно, именно то, первое погружение и послужило толчком к погружению следующему. Отверженность, одиночество, несчастливость и, в конечном итоге, смирение, стало причиной утонченного мироощущения, глубинных открытий: «Есть лошади, и яблоки и дети – /И только смерти не было и нет»; «Не нужно сил с небес просить и воли – / Всё есть в тебе, и с небом вровень ты».

В итоге книга получилась довольно целостной – и по смыслу, и по тональности (этому поспособствовал и тягучий пятистопный анапест, которым написана ее значительная часть). Правда, не скажешь сразу, преобладают ли в ней светлые тона или темные? Тут впору вспомнить Мандельштама: «Сестры – тяжесть и нежность – одинаковы ваши приметы». Но, если опять-таки обратиться к графике, то подмечаешь: вроде бы везде фон темный, зато как волшебно светится на нем любое белое пятно! И насколько легки и даже ироничны силуэты: дерево, танцующее под ветром; ракушка, задрывшая кверху лапки; гранаты, похожие на заматеревших греков.... Оканчивая книгу, и «примираясь со всем и себя, наконец, принимая», автор дает возможность и нам испытать нечто вроде катарсиса.

Возможно, «Погружение» – это не тот сборник, который порадует поэтическими находками, неожиданными открытиями (хотя они здесь в энном количестве и присутствуют), зато заставит читателя проделать душевную работу, что, по сути, и является признаком настоящей поэзии.

С. Толдова

"Погружённые" мысли или Попытка погружения

Книга Екатерины Дедух называется "Погружение". И действительно она с первого стихотворения, с первых его строчек погружает нас во внутренний мир автора, который сразу решительно заявляет о себе личным местоимением "я" и властно уводит читателя за собой, переключает его с городского шума и суеты, обыденных дел, рутинных забот на краски, звуки и простор загородного бытия. Бытия, в котором космическое, вселенское отступает перед важностью каждого действия природы:

Здесь паденью комет равнозначно падение вишен,
 И сияние солнца равно огоньку светляка.

И "сплетенье бессмертника" в котором теряется автор, а вместе с ним и читатель, которое уводит в такую глубину, где уже не нащупать "точку отсчёта", не страшно, потому что следующее стихотворение сразу всё объясняет:

Мы на лугу – в ладони Бога.

И хотя само это стихотворение посвящено другой теме – тоске о безвозвратно потерянном возлюбленном (о том, что он потерян мы узнаем немного позже – "никогда не случится мне быть с тобой"), оно своей первой строкой задает основную тему, в которую погружает нас книга – тему Бога, который присутствует во всём.

Эта тема – божественного начала, божественной предопределенности и божественного исхода является основным лейтмотивом всей книги.

Тема Бога представлена в книге достаточно широко, многие стихотворения являются душевным откликом-погружением в библейские события и мотивы. Это и чаша, которую надо испить ("мы своей не бежим чаши"), и глина, из которой создана чаша (так же, как и человек), и "лестница в небо, которую грезил Иаков", и божественный огонь, сгорая в котором, мы сближаемся с Богом:

Ты пылаешь сквозь нас, мы сгораем дотла.
Но становимся светом Твоим.

С темой божественного тесно переплетена и тема смерти, спасти от которой может только любовь:

Мы обовьём с тобой друг друга,
Как два ростка,
И смерть не унесёт нас с поля,
Зажав в горсти:
Пройдёт, посмотрит – и на воле
Нам даст цвести.

Однако любовь потеряна, осталась только тоска об утраченном счастье, без которого

Нет мне воздуха в воздухе.
Нет мне земли на земле.

И осталась только "эта жажда забыть вместе с жаждой опять увидеть", но

Дать имя тому, что любимо, мне власть не дана,
А вещь безымянную – не отдаёт глубина.

И смерть становится неизбежной, неизбывной. Причём она – "творец вдохновенный, любимое знающий дело" и не мастер, который тебя "починит", а жестящик, который навсегда отправит на свалку. И на фоне этого любой приходящий сон оказывается для измученной души не отдыхом, а еженощной неизбежной репетицией смерти ("в общем, учит умирать").

И отчаянно-пронзительно на этом фоне звучит одно из самых ярких стихотворений сборника:

Теряясь и не разбирая пути,
Слепой неуклюжий щенок,
Я смысл этой жизни пытаюсь найти –
Наполненный тёплый сосок.

Мне надо пробраться сквозь всю эту мглу,
 Успеть хоть бы раз пригубить
 Тепло. До того, как за мной поутру
 Придут, чтоб меня утопить.

Но ужас смерти, небытия нивелирует присутствие Творца. Хотя бы только в момент сотворения человека. Этого оказывается вполне достаточно, и ужас смерти уже –

Небольшая цена, что собою мы быть перестанем,
 Если вновь через смерть ощутим теплоту Его рук.

Таким образом, автор как бы выступает проводником-перевозчиком, постепенно уводя читателя ("погружая" его) от "скрежета машинного" земной жизни к "плащанице пространства" и мудрому пониманию того, что Бог, прежде всего, в самом человеке. И – через это понимание – принятию всего мира (который создаём мы сами хранящейся в нас божественной искрой), полному примирению с ним:

Мне придётся испить только то, что сама набрала я.
 Каждым новым глотком унимаю дрожание рук,
 Примиряясь со всем и себя, наконец, принимая.

Погружаясь в глубины поэзии и погружая вместе с собой читателя, автор умеет находить очень точные и ёмкие образы, не позволяющие последнему остаться равнодушным, в стороне от происходящего:

Эта жизнь – колодец из колодцев...
 Время, не жалей, плесни нам света!
 Кто монетку бросит, тот вернётся –
 Бросим все. Вернётся только лето.

Нельзя пройти мимо, не содрогнувшись: а что если все ужасы нашей жизни от того, что Творцу только приснилось, что он спас человечество, а на самом деле, Он спит и ничего не слышит...

Слышишь ли нас? Верно, устал, спишь.
 Тяжек и пуст суетный наш век,
 Страшно, темно, вера даёт брешь,
 Ну а Тебе – всё не поднять век.
 Криком кричим со своего дна,
 Бьётся в ночи колокол за нас,
 Но и ему не разорвать сна:
 Снится тебе, что ты нас всех спас.

Однако не всегда автор трепетно и требовательно относится к слову. Где-то мысль автора раскрыта очень удачно, но многие стихотворения сборника требуют тщательной проработки для того, чтобы избавить их от слов "случайных", просто попавших "в размер" или "в рифму". Вместо поиска более точного, выверенного слова и долгих мучений, автор зачастую идёт более лёгким путём "подошло и ладно".

Так, например, двумя неверными словами в последней строке перебивается уже сложившееся сильное впечатление от стихотворения о навязчивом образе "крестообразности птицы":

Человечек ложится на крест и становится птицей.

Уменьшительно-ласкательный суффикс "человечка" не оправдан. Конечно, можно подвести под это слово мысль о тщедушности и малости человека перед бескрайним небом, но эта мысль никак не проявляется ни в одной из предшествующих строк. И не понятно почему он "ложится" на крест. Всё-таки крест либо несут, либо висят на нём (на нём распинают) – непонятен, случаен смысл "лежания" на кресте и тем более превращения от этого "лежания" в птицу. Хотя задуманный образ очень красив. Хочется, чтобы автор доработал это стихотворение и довёл его до совершенства.

Также (хоть и не настолько сильно) мешает цельности восприятия коротенькое местоимение "им" в предпоследней строке следующего стихотворения:

Мы в этой жизни – босяки,
Что в дорогушем ресторане
Бравады ради, ради шутки
Наказали разных блюд.
Не расплатиться: медяки
У каждого из нас в кармане.
Не подавай им вид, что жутко.
Держись ровнее – счёт несут.

Создаётся впечатление, что слово вставлено просто для "поддержания размера". "Не подавай им вид"... Кому им? Медякам? Блюдам? Босякам (которые мы)?

Иногда же вред стихотворению приносит переизбыток образов, не только не связанных между собой, но и просто нелогичных. Так, в стихотворении о творчестве "Стирая мысль в словесный порох" в погоне "за красотью" в описании дождя диссонируют между собой разнонаправленные (даже разноразные) образы: "за окошком проходит катарсис дождя" (здесь можно ещё поговорить о возможности катарсиса "проходить") и рядом, через две строчки – капля, "что по коже улиткой мирно ползёт". Кроме этого здесь есть и "словесный порох" и "словомысленный завод"... Автор использует избыток образов, при этом "главного не находя" (цитируя вторую строчку этого же стихотворения).

Кроме того, в некоторых местах автор идёт по пути наименьшего сопротивления. Неприемлемы, на мой взгляд, перестановки под размер и ритму предлогов после существительных. Русский язык и так достаточно лоялен к порядку слов и позволяет выстраивать их почти в произвольном порядке внутри предложения, так что, мне кажется, автору стоило бы поискать более классическое построение фраз для выражения своих мыслей и чувств:

А случись потом интереса для
Бог оставит меня одну –
За тебя обнимет меня земля,
Распахнув свою глубину.

или

Как будто сама я тот горький лес,
Что неба тогда держал
Над нами безмолвно, смущенья без
Взирая на наш пожар.

И на фоне таких прекрасных строчек, как

Светлячок одиночества мне опускается в душу
И горит, бросив строчек неверные тени на лист
Сквозь меня.

совсем неприемлемо звучит строка из другого стихотворения:

Ребёнок где-то ждёт, слезу роняя в водоём.

Если кто-то, взяв в руки сборник, случайно откроет его на этой странице, он может отложить его сразу и навсегда, так и не погрузившись в удивительный мир иных, более точных и глубоких стихов автора.

В предисловии к сборнику сказано, что в него вошли стихотворения 2016 года. Наверное, всё-таки стоит более требовательно подходить к подборке стихов для включения в издание. Если исключить "проходные" и недоработанные стихотворения, сборник только выиграет, поскольку читатель не будет отвлекаться от действительно достойных образцов творчества автора и сможет вслед за ним погрузиться в глубины философско-религиозного осмысления жизни и своего места в ней:

По ту сторону времени, точно в огне,
Превращается в прах всё, что дорого мне.
Здесь всё живо. В очаг Ты подбросишь траву...
Засыпаю и снится: проснулась живу.

Елена Иванова

ГЛУБИНА ВЫСОТ

Стихи книги «Погружение» не захватывают читателя, не пленяют, не ошарашивают. Авторской манере глубоко чуждо заигрывание с читательским вниманием, как и любые игры вообще. Эти стихи можно, пожалуй, назвать «погружающими», как и всякую настоящую поэзию. Не случайно именно образ колодца в различных контекстах присутствует во многих стихах. А также поле, луг, лес и сад – классический набор пейзажей человеческой души. Лирический субъект – не наблюдатель, а участник внутренней жизни, её изучение оттого и происходит глубоко и полно, что жизнь здесь познаётся только в соединении с ней. В стихах «Погружения» очень мягко и легко очерчены контуры тёплого, живого мира взаимосвязей, в котором не умирает ни яблоко, ни сосна, ни человек. Пейзажи этого мира всегда слегка тронуты туманом, они видны сквозь память, сквозь сон («Снится: стали туманны прозрачнее ранее дали»), сквозь непрочное состояние покоя («Светлячок одиночества мне опускается в душу/ И горит, бросив строчек неверные тени на лист/ Сквозь меня»). Нематериальная подкладка жизни, которая и есть – жизнь, открываясь то в одном, то в другом стихотворении в тех или иных формах, задаёт очень высокий смысловой уровень, который Екатерине Дедух под силу выдерживать на протяжении всей книги. Во всех без исключения стихах – редкий (потому особенно ценный) уровень авторской концентрации на смысле, способность не застревать на отдельных лирических эпизодах и деталях, которые можно было бы «раскрутить», «обыграть» и тем самым приземлить, но стремление идти сквозь отдельные штрихи к целостной картине, сквозь моменты жизни – к тому, что за ними стоит. «Погружение» – книга без «проходных» стихов. В этой «поэзии глубин» мы находим множество психологически тонких и точных наблюдений, каждое из которых – свидетельство «погружения»: «...не моя ли рука/ Смысл вынула прочь – точно лампочку из ночника –/ Из живого момента?», «Нет мне воздуха в воздухе. Нет мне земли на земле», «Чтобы освободиться – скажу: «Нет меня». Неспешность и тишина стихов не даёт читателю скользить по строчкам глазами, атмосфера книги сама по себе окунает в пространство живых и объёмных смыслов, сложных и многомерных, но выраженных просто и лаконично: «Понимать начинаешь, что главного в слове нет,/ И – хоть жизнь положи – в слово этого не вложить,/ Даже если сумеешь до самых глубин дойти.../ Своевременно ляжет само оно между строк./ Так в хороший скворечник слетается стайка птиц./ Так в простую икону, случается, входит Бог.», «Как молодой, влекомый жарким светом,/ Росток взлетает, зёрнышко дробя – /Так, в небо потянувшись за ответом,/ И ты однажды выйдешь из себя».

Стихи – развёрнутые метафоры, встречающиеся в книге («Гончарный круг вращается быстрее...»), «Друг за дружкой легко погружаются в лето вёсны...»), не в пример многим виршам такого рода, не являются образцами примитивного разжёвывания тех или иных ситуаций и явлений. Удивительно,

но даже в таких стихах слышна ясность, простота и естественность авторского голоса. Именно из этой столь трудно достижимой простоты и неподдельности интонации и растут открытые, сильные, цельные строчки: «Простая мелкая деталь./ Шершавость обожжённой кружки./ Медовый свет древесной стружки./ Туманом тронутая даль –/ Всё это может много дать /Тому, кто понял. На границе/ Помедлит солнце, чтоб напиток./ Реки не потревожив гладь», «...Сорвёт меня с ветвей, споёт сверчок/ По мне, а всадник канет в бересклете/, Во мху оставив полнящийся след./ Есть лошади, и яблоки и дети –/ И только смерти не было и нет».

Парадоксы и неожиданные повороты смысла в стихах естественным образом рождаются при его раскрытии, без интеллектуального пустозвонства и додумывания: «Ты пылаешь сквозь нас, мы сгораем дотла / Но становимся светом Твоим», «Даже в самом надежном есть нежная хрупкость птенечья –/ Никого не сберечь. Только мужества это принять / Мне не нужно. Дай сил мне противиться этому вечно/ И спасти всех, кто дороги мне, до последнего дня». Для читателя может стать откровением и такое редкое для современной поэзии явление как серьёзное, вдумчивое осмысление библейских сюжетов («Вот глиняный сосуд – обыденная ёмкость», «Удалились. Сад замер и сделался пуст»). Не постмодернистское «кривляние на тему», не вольная интерпретация горе-эрудита, не плоские восторги православного активиста, а именно глубокое, личностное погружение в суть. Собственно, личностный компонент и делает общеизвестное – живым, небанальным, ощутимым. Именно он сплетает в единую ткань книги любовную и философскую лирику, метафизику и бытовые зарисовки. Каждое из стихотворений «Погружения» гармонично «встроено» в книгу, несмотря на смысловое и тематическое разнообразие. Здесь всё – интроспекция, всё – взгляд сквозь. Спокойный, глубокий и верный.

Александр Медведев

ИЗ ДНЕВНИКА 2016 ГОДА – СКВОЗЬ СВЕЧЕК СИЯЮЩИЙ ЛЕС...

Екатерина Дедух Погружение. Стихи – 2017: – СПб: – 76 с.

В книгу Екатерины Дедух «Погружение» вошли стихотворения 2016 года. Такое пояснение в аннотации напоминает ремарку – «В основу фильма легли реальные события», – с целью повысить степень доверия зрителя. Авторы, вероятно, не без основания допускают в каждом зрителе существование виртуального Станиславского с сакраментальным «Не верю!» Относительно книги Е. Дедух, по крайней мере, доброй её половины, читатель вряд ли усомнится, что стихотворения написаны в один год, настолько однородны они по содержанию, созвучны в тональности.

Определённо, произведения в начале книги звучат в одной минорной гамме, определённо, объединены темой погружения в себя; лирическая героиня рассматривается в стадии одиночества, она один на один в столкновении с уникальными психологическими трудностями. Что это, состояние покинутости всеми и вся – типичное, неизжитое(?) подростковое, которое выражается подчёркнутой умудрённостью знаний о человеческой природе на фоне некоторой небрежности высказываний этой умудрённости? Отчасти возникает и это впечатление. Оно, правда, не доминирует, ибо героиня прозревает и подлинную человеческую уникальность – сознаёт и говорит, что она в «ладони Бога». А Бог не выдаст. Это верно, это даёт силу, и она чувствуется в голосе Е. Дедух.

Однако стоит помнить, что в надежде на Него надлежит и самому не плошать. Кажется, она помнит:

Проработав над словом внимательно столько лет,
Очищая его от примесей, ото лжи,
Понимать начинаешь, что главного в слове нет,
И – хоть жизнь положи – в слово этого не вложить,
Даже если сумеешь до самых глубин дойти...

При этом в стихах нередко встречаются результаты невнимательного отношения к слову.

«Смысл вынула прочь – точно лампочку из ночника – / Из живого момента?» (С. 8) *Прочь* можно прогнать, *смысл* – извлечь; кроме того, *вынуть прочь* – тавтология, и здесь она не превращается в художественный элемент. Может быть – вынула *напрочь*?

«Стынет, точно смола, вечер жаркий и терпкий» (С. 11). *Стынет* – это о холодном, зябком. Здесь (сознательно ли, нет?) возникает оксюморон – *стынет жаркий*. А в стихотворении речь об остывании – затвердении, окаменении, что происходит со смолой в процессе превращения в прозрачный камень. *Остывает смолою вечер жаркий и терпкий* – возможно, так было бы точнее?

В стихотворении «Светлячок одиночества...» *"Чтобы он (светлячок – А. М.), потревоженный, снова не канул вдали"*. Устойчивые сочетания – кануть в воду, кануть в Лету... То есть, не где, а в чём. Если для рифмы необходимо «вдали», тогда, может быть, *Чтобы он, потревоженный, не погаснул вдали?*

В стихотворении «Когда на душу мне находит глухота...» (С. 39) говорится: *«...ведь в мелочах основа, / Вокруг которой вновь сомкнётся в горле ком...»* Смыкается круг, ком – скатывается, слипается.

Скажете, навязчивый педантизм? Да-да, я знаю, что «ловить поэта в мелочах – византийский педантизм» (В. Ф. Одоевский). И всё же. «Ведь в мелочах основа» – не зря же это произносит Е. Дедух. К тому же, одни говорят: дьявол в деталях, другие, что в деталях Бог, в любом случае, мелочами не пренебречь. Неточность ведёт к замутнению образа, возникают ненужные вопросы и досадные двусмысленности. В стихотворении «Слышишь ли нас?...» (С. 47) автор пишет: *«Страшно, темно, вера даёт брешь, / Ну а Тебе – всё не поднять век»*. Прописная буква в слове «Тебе» указывает, что говорится о Боге, это, кажется, ясно. Но что поделаться с гоголевским «Поднимите мне веки!», – которое поневоле выскакивает, словно из невесть откуда взявшейся табакерки?

Вышеизложенное (даже так, коротко) всё же следовало сказать, несмотря на согласие с Е. Ивановой, автором послесловия книги «Погружение». Она пишет: «Нематериальная подкладка жизни, которая и есть – жизнь, открываясь то в одном, то в другом стихотворении в тех или иных формах, задаёт очень высокий смысловой уровень, который Екатерине Дедух под силу выдерживать на протяжении всей книги». Следовало именно по причине собственного погружения, простите каламбур, в книгу Е. Дедух. Дело в том, что в авторе этой книги я нашёл единомышленника, более того, соратника, провозглашающего: *«Я свой солнечный свет – пусть хоть самую малость – / Перелью в чей-то взгляд»* («Солнце листьев так запросто втоптанно в землю...», с. 35). В 2008 г. в издательстве «Петрополис» у меня вышла книга «Солнечный взгляд». В ней я предлагаю посмотреть на то, как и для чего в литературе и искусстве используется Свет и Слово и каковы последствия этих действий. С некоторых пор Слово равноценно разделилось на тайный смысл, проявляемый в некоем потоке сознания, на чистый звук и самодостаточную букву. Таким образом, произошли колоссальные сдвиги, в результате которых речь может и должна идти о поиске новых точек пересечения Света и Слова. Для меня совершенно очевидно, что по-своему и безуспешно этим поиском занята Е. Дедух.

Если человек создан по образу и подобию Божьему, то в нём должен теплиться отблеск Слова, ведь по Иоанну Богослову «...Слово было Бог». Откровенно об этом заявлено и во многих стихотворениях новой книги Е. Дедух. Так она утверждает: *«Но человек – не глина, не кувшин, / А диалог меж глиной и Творцом»* («Одни сосуды лепятся быстрой...», с. 49).

Отрадно у довольно молодого ещё автора находить светлые, не на прокат взятые образы, когда своей строкой она пытается коснуться темы Божественного, разлитого в мире, в том числе и в глубинах души. Вызывает изумление, с каким проникновением Е. Дедух «воссоздаёт» необыкновенную по трагизму борьбу между человеческой и Божественной ипостасью Иисуса Христа, разыгравшуюся в ночном Гефсиманском саду («Удалились. Сад замер и сделался пуст», с. 56). А после слов «*Человечек ложится на крест и становится птицей*» («С непонятным упорством, с каким повторяются сны...», с. 62) просто вновь убеждаешься, что вера делает человека всемогущим.

Но... почему же вера в автора «Погружения» или проще – неподдельный интерес к его творчеству – безоговорочно возникает лишь где-то на сороковых страницах? Почему самые, на мой взгляд, сильные стихотворения не помещены в начало книги? Чем руководствовались автор и редактор – согласием с календарём 2016 г., то есть, очередностью создания; тематической глубиной погружения – вели читателя от душевного к духовному? Впрочем, сейчас такое время – «медийное», – если не напоминать о себе с определённой частотностью, то вроде бы и нет тебя, год прошёл – и где же твоя новая книжка, выставка, фильм, спектакль?.. Тут вопросы композиции оказываются не первостепенными?

По этому поводу скажу следующее. «Погружение» свидетельствует о Е. Дедух как о серьёзном мыслящем поэте, который, не переставая убеждать читателя, что он пишет о реальных событиях, вполне имеет право вопросить: «Какое нынче тысячелетье на дворе»?

Роман Круглов

УСТРОЙСТВО БАТИСКАФА

Екатерина Дедух. Погружение: стихи – 2017: – СПб: – 76 с.

Как редактор этой книги я не должен спорить с замечаниями относительно её недостатков, поскольку разделяю с автором ответственность за них. Однако взгляд участника творческого процесса позволит точнее понять логику становления книги. Отчасти, здесь и кроется ключ к пониманию её подлинной органики.

Конечно, по большому литературному счёту, это не важно. Факт искусства самодостаточен, как упавший на голову кирпич, и пусть потом всякие ...веды толкуют о том, как и почему это произошло. Именно аналитикам я и адресую свой текст, говоря о том, о чём умолчит автор. Настоящий поэт не должен ничего объяснять, его ход – это стихи, теперь очередь за читателем. Объяснения того, что и где подразумевалось, современной литературе противопоставлены (в таких подпорках нуждаются только авангард и графомания). В книге Екатерины Дедух всё доходчиво (кирпич упал), теперь попытаюсь разобраться в своих чувствах.

«Погружение» – слабое название, его многозначность почти несовместима с поэзией, с тем же успехом можно было назвать книгу «полётом». Но, как ни странно, название начинает подавать признаки жизни вкупе с самим текстом – стихи Екатерины наполняют расхожую абстракцию вполне ощутимым смыслом: «Словно к самому дну, я сквозь день опускаюсь ко сну», «Сквозь память всё ниже и ниже – вот это по мне». Посредством названия Екатерина Дедух приравняла сам сборник к такому процессу. Конечно, это не оптимально – решая довольно тонкую задачу, название остаётся на первый взгляд тривиальным, а второго взгляда в таком случае может и не быть.

При чтении книги бросается в глаза частотность некоторых образов. Помимо широко распространённых, таких как солнце (двадцать раз), встречаются и своеобразные – посуда и питьё: чаша, рюмки, тарелки, хлебу, закушу, наливает и так далее (двенадцать раз). Также очень часто встречается флора – травы и деревья (двадцать два раза) и водоёмы – волны, берега, дно и тому подобное (двенадцать раз). Образная система помогла очертить семантический круг, в котором велись поиски названия: «сквозь трещины», «огонь в сосуде», «светлячок в сосуде», «песком через сито» и так далее. Несколько хороших названий этой книги умыкнули другие поэты: Ходасевич («Путём зерна»), Гумилёв («Заводи»), Кречетов («Камни со дна реки»). Многие варианты были отвергнуты как далёкие от сути книги, как, например, «Болиголов», который был высоко оценен поэтом Алексеем Ахматовым. В итоге Екатерина остановила свой выбор на «Погружении», чем тоже отвлекла читательское внимание от сути сборника: как видно из стихов, при помощи погружений лирический субъект перебарывает жизнь, тогда как главная тема книги – борьба со смертью. Именно эта вторая борьба обуславливает духовную проблематику.

Изначально книга была кричаще, до неприличия жизнеподобной; значительно ослабив этот элемент, мы всё же не сняли его полностью. Критик Александр Медведев в своей статье даже высказался о том, что сборник производит впечатление дневника. Действительно, «Погружение» напоминает читателю, что главным предметом лирики всегда была и остаётся жизнь души. Марксистски выражаясь, душа это базис, а дух – надстройка, в мире живых людей дела обстоят именно так. Вполне вероятно, что это иллюзия и в действительности первичен дух. Однако логика подсказывает нам, что солнце вращается вокруг земли, а не наоборот; кто говорит иначе, тот или лицемерит, или искренне забыл, как обстоят дела тут у нас, на грешной земле. Итак, в поэзии душа первична, и только благодаря её мелким и, в сущности, незначительным движениям, может проклюнуться дух. Именно это спонтанно и произошло в стихотворениях «Погружения».

Как верно отметила в своей статье Юлия Медведева, в поэзии Дедух образы возлюбленного и всевышнего схожи. Изначально в книге обращения к мужчине чередовались с обращениями к Богу, так что создавалось ощущение их тождества в глазах героини. Искусно разведенные в разные части книги, темы любви и религии не перекрывают друг друга, возникает последовательность: сперва блок любовных стихотворений, потом одиночество и творчество, потом осмысление смерти, разговор с Богом и приятие мира. Однако в жизни всё не так логично. Реальная взаимосвязь этих начал (любовь, одиночество, Бог) видна в одном из самых напряженных по мысли стихотворений:

Мне всё видится в лицах прохожих твоё лицо.
Не забыть, не придвинуться ближе, не отдалиться.
Так вокруг оси вращается колесо,
Не меняя дистанции – на расстоянии спицы.

Так мучительно близко планеты вблизи планет
Круг за кругом проходят по проклятой их орбите.
Наказанье за то, что желаю любви в ответ –
Эта жажда забыть вместе с жаждой опять увидеть.

И хотя никогда не случится мне быть с тобой –
Самым светлым и ценным, что Богу смогу отдать я,
Будет эта тобою моя налитая боль,
Что дороже и глубже иного пустого счастья.

Здесь мы видим, что любовь к мужчине и одиночество героини существуют неразрывно, такова их проклятая орбита. Это совершенно правдоподобно. Бог появляется только в третьей и последней строфе – в результате перенесённых страданий. Мышь рождает гору, духовное появляется в результате душевного.

Для некоторых читателей душевное в книге может показаться мелковато и несерьезно, особенно относительно тех глубин и высот, которых автор достигает в речи о Боге, смерти и бессмертии. Да, духовное выше и глубже, чем душевное. Однако, по моим наблюдениям, боль от неразделённой любви зачастую не меньше, а иногда и больше той боли, которую приносит смерть близкого человека. Да, главная тема «Погружения» – осмысление смерти и победа над ней. Однако эта тема возникает как надстроечное явление, источником поэзии стала «эта тобою моя налитая боль». Без неё было бы просто незачем писать стихи. Разве что от страха смерти? Вот это, на мой взгляд, действительно мелко.

Духовная проблематика в творчестве Дедух появляется не от мечтательности и самомнения, как это может показаться из стихотворения про лестницу в небо, а от боли. «Погружение» по-настоящему откроется только печальным жителям грешной земли, способным сострадать глупой живой душе; причиной трагедии для неё становится такое совсем не духовное переживание, как неразделённая любовь.

Поэт всерьёз оплакивает себя: «Нет мне воздуха в воздухе, нет мне земли на земле», и этим оплакивает своё право говорить на серьёзные темы. «Пустотой и свободой надрывно зовут небеса» – такое ощущение рождается именно в душе, выжженной болью. Неспроста возникает Достоевское слово «надрыв», а небеса зовут не светом, а пустотой и свободой. «Человечек ложится на крест и становится птицей» именно потому, что он уже кое-что претерпел – потому в нём и забрезжили небеса.

Само погружение – в воспоминания, в творчество, в размышления или в сон – это способ сойти с проклятой орбиты. Разговор о предельных основаниях бытия начинается только вследствие этих погружений. Однако всё же погружение – это лишь первая часть цикла: в известный момент спуск превращается в подъём, и поэт начинает карабкаться к земной поверхности по шерсти Люцифера. Эта диалектика и определяет внутреннюю динамику книги.

25 января 18г. четверг, 15-35.

ВИ (редактор). Попытка философствования

Я вновь пишу и вкривь и вкось,
Я изнемог, и Русь больна,
И мне вокруг кричат: Да брось,
Не повернуть Земную ось,
Оставь ее, ее вина...

Я начинал всегда с других,
Спешил, хватался: Чем помочь?
Ваш Бог сердито: На двоих
Жизнь не делима, только ночь,
Когда не тать, не вор, не мних.

И ненавидя, и любя,
В трудах, в бездельи, ночью ль, днем
Всех звал в свой светлый жаркий дом.
Я жить хотел не для себя,
И для себя – но лишь потом.

И вот и дом мой разорен,
Разорена моя страна,
В полубеспамятстве ль, пьяна,
Но слышу только странный стон...
Я невиновна. Я больна...

И я пишу и вкривь и вкось,
Всех опросил я – Чем помочь?
Скрипит во тьме земная ось,
И все плотней больная ночь.
Стихи ВИ

Друг за дружкой легко погружаются в лето вёсны.
Годы в годы ныряют, и нету тому конца.
Так уходят размеренно в чёрную воду вёсла,
Повинуясь рукам уверенного гребца.
И давно позабыт и туманом затянут берег,
От которого ты отчалил, и путь к концу.
Что на том берегу – неизвестно. И всё же веришь
Отчего-то течению, лодке, себе. Гребцу.
Стихи Е. Дедух

Стирая мысль в словесный порох,
 Но главного не находя,
 Гляжу, как за окошком город
 Проходит катарсис дождя.
 Насколько мелок и ничтожен
 Мой словомысленный завод
 В сравненьи с каплей, что по коже
 Улиткой мирною ползёт...
 Бросаю всё и выбегаю
 Во двор под дождь – и в этот миг,
 Мне кажется, я мир меняю
 Сильней, чем написаньем книг.

Сегодня у меня кризис среднего возраста

Надо сказать несколько слов о поэтессе, стихах, о женской поэзии, о поэзии вообще, а я вдруг понимаю, что ничего не понимаю ни в стихах, ни в поэзии. Прочитал статью о Некрасове, Условие статьи: Некрасов поэт бездарный. Вывод: Он еще бездарнее, чем мы думали.

Особенно раздражает автора лозунг Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»

Читаю статью Толстого о французской поэзии. Автор исходит из того, что поэзия вообще – вздор, а французы – вздорный народ. И стихи их – вздор еще пущий.

Утешает лишь то, что Лев Николаевич постоянно повторяет, что нет ни меры, ни вкуса, обязательных для всех, нет и истины, а **кому что нравится**.

Это было время, когда Толстой нашел истину в Христе, который сказал, что другой истины кроме него нет – а тем самым отменил всякую истину, тем более поэтическую и математическую, тем более что и поэзия и математика созданы, по его мнению, Дьяволом.

Екатерина Дедух – автор интересный. Но у нее и пантеизм, и стихи о несчастной любви, и страх смерти и вера в Спасителя соединяются в нечто единое. Впрочем, я стихи читаю медленно, прочитал пока мало, выводы делать рано, возможно, все не так, пока впрочем, уверяюсь в том, что стихи стоит дочитать до конца. Вторая мысль – женская поэзия, видимо, существует, потому что вдруг вспомнились стихи Марии Амфилохиевой и Маргариты Токажевской – они не повторяют друг друга, а **дополняют**. Так не является ли поэзией все то, что **ПРОБУЖДАЕТ** мысль и заставляет жить – точнее говоря, что восстанавливает основания жизни даже на пепелище?

Но у меня рассыпалась вязанка дров, которую я нес, чтобы затопить печку. И я начинаю ее связывать. Если три поэтессы кажутся притягивающими, то не составляют ли они прямоугольный треугольник, в котором, как известно, сумма квадратов катетов...

Но, может быть, каждые две из них пригласят в Троицу редактора или критика, тем более что Екатерине стоит перечитать свои стихи и поправить хотя бы некоторые слова на более точные, мне, например, страшно «не понравилось "написание книг" – хотя, впрочем, "кому что нравится", как пишет Толстой...

Екатерина верит в Бога. Она верит, что мир, в котором мы живем, нам *не подвластен*, что мы плывем в ладье, движение которой в неизменном мире тоже от нас не зависит. Однако, она выбегает из дома под дождь, чем изменяет (как она пишет) мир сильнее, чем написанием книг. И все же она его *меняет*. И все же книги продолжает писать, вместо того, чтобы просто выбегать во двор под дождь (я вот всю жизнь мечтал «проснуться ночью и в шквал дождя бушующий пойти – и не вернуться – но так и не решился).

Екатерина! Может быть, в следующий раз, когда побежите под дождь, позовете меня, уйдем вместе?

А как же Некрасов? Его ведь непременно надо вложить в вязанку, иначе печку не разжечь?

Отрицание Некрасова, особенно яростное, доказывает, что без него невозможно, без него дрова не разгорятся. Фет (на правом фланге поэзии) оправдан лишь потому, что в центре ее Пушкин, соединяющий всех, а слева, на левом фланге, Маяковский и Некрасов – как же без них?

Ничто не может быть односторонним. Вот так же и женская поэзия. Как мужчина без женщины не полноценен, так и мужская поэзия без женской все равно что суп без соли... Или, правильнее, соль без супа?

Да, вот какую похлебку заварила нам сегодня Екатерина.

Но кризис среднего возраста у меня еще продолжается.

Это я, слушаясь христиан, не только с себя начал, но собою решил и закончить.

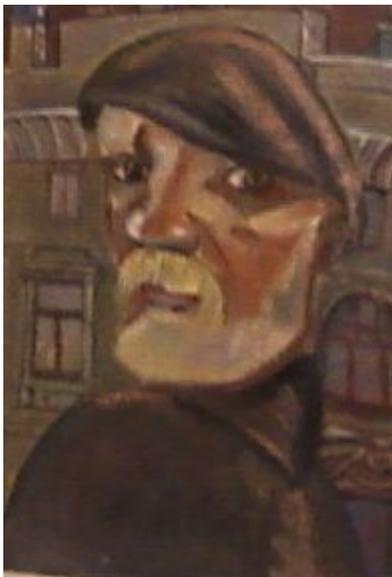
ПОСЛЕ ДРАКИ

Драки, правда, не было, тем не менее, учитывая, что ныне на дворе столетие самой жестокой и самой спорной Русской революции, нельзя ограничиваться добродушными восхвалениями. Россия, как мне кажется, накренилась и вот-вот упадет (это не мои слова, но так думает множество крупных современных писателей и поэтов). А наш топор благодушно лежит на обложке и уже затупился. В чем смысл наших бесед в уютном зале Секции критики? Я перестал понимать, что такое поэзия? Никто мне не объясняет. И что такое Дух, который надстраивается, как уверяет Роман Круглов, над душой, он тоже не объясняет. Нам не достает **философии литературы** – именно **создание такой философии – предназначение журнала**. Все мы мыслим и пишем хорошо, но без философии и ясного и глубокого сознания цели нашей критической деятельности мы далеко не продвинемся. В чем эта философия – вот что мы должны будем вырабатывать в первую очередь. Поздравляю всех женщин с праздником, а Екатерину – с отличным сборником стихов! Поздравляю (и от лица авторов-мужчин) всех авторесс нашего журнала с праздником женщин. Мы счастливы, что вы с нами!

Юрий Медведев

БУДНИ

ПЕРИПЕТИИ



автопортрет

Русский художник, архитектор, участник выставок нон-конформистов
70-х годов 20 века в Ленинграде.

Член Союза архитекторов, Международного союза художников и
Объединения художников «Свободная культура».

Участник международных выставок.

Родился в 1939 в Уфе

Олег Киреев

ХОРОШО\ПЛОХО

(Рассказ Юрия Медведева «Перипетии»)

БУДНИ

– Зайдите к начальству! – говорит секретарь Авдотья Сергеевна, женщина неполных сорока лет с проседью в голове при строгих глазах.

– Чего вдруг? – поворачивает голову групповой архитектор Нефёдов в сторону своего подчиненного Нилова.

– Мозоль заболела, – усмехается архитектор Нилов, парень спортивного сложения двадцати пяти лет от роду. – Посочувствуй.

В кабинете бригадир Колупаев Лев Борисович сидит перед двухтумбовым столом начальника отдела Орлова Демьяна Поликарповича. Это статный человек с львиной шевелюрой на крупной голове и рыбьими глазами.

– Присаживайтесь, Георгий Севастьянович. Решили поручить вам новую тему. Заканчивайте чертежи и приступайте. Бригадир введет в курс дела. Я вас не задерживаю.

– Что за тема, Лев Борисович? – спрашивает Нефёдов в коридоре.

– Расскажу после обеда. Пока завершай да сдавай мне на подпись чертежи.

На дворе тепло. Летит пух тополей. Он набивается в разные места. Гуляют запахи.

– Интересуешься авангардом? – спрашивает Нефёдов Нилова.

– Нужно пообедать.

– Перекусим слойками да забежим к коллекционеру. Созвонился.

На стенах холсты разных художников. В шкафу папки с вырезками репродукций работ авангарда начала двадцатого века, аккуратно оформленные в паспарту на картонках. Хозяин в черном костюме при галстукке и ордене на лацкане пиджака разгладил бороду сухой рукой, подправил очки на прямом носу.

– Хорош у вас Тышлер.

– Да, это гордость моего собрания. А вот и новые приобретения – рисунки Чубарова.

– Побежим мы, служба, – спохватывается Нефёдов и подталкивает Нилова к выходу на винтовую лестницу, ведущую во двор.

– Не будем спешить. Знаю, что начальник наш отъехал и навряд ли воротится к концу рабочего дня. – Посидим, перекусим, о любви потолкуем.

– Нет у меня любви. Вот у французов пафос. "К оружию!" – кричит Стендаль и лезет в окно к любовнице. Или Мопассан...

Они сидели в полуподвальном помещении, приспособленном под небольшую закусочную, каких немало появилось после девяностых.

Заказали водочки в графине и бутерброд с красной икрой.

– За трепетные создания! – поднял рюмку Нефёдов.

– Это ты о тещах? – усмехнулся Нилов.

– Я женат и вижу преимущества семейной жизни. Думаю лишь о творчестве.

– Сплошь "обломы". И это выдаем в стройку, а там отвратительное качество исполнения, – тихо поизносит Нилов.

– Наше дело – красиво нарисовать. У всякого этапа своя ответственность.

– Я в возрасте. Чем дальше, тем мне труднее остановиться на "предмете", – возвращается Нилов к начатой теме.

– Ты о чем? – удивляется Нефёдов.

– Все о том же. О любви. Всякая хороша, куда ни глянь. В какую точку схода и с какого горизонта ни смотри. – Нилов явно волновался. С птичьего ли полета или с лягушачьего. Упущены годы.

– В возрасте? – улынулся Нефёдов. – Тебе двадцать шесть, а мне тридцать пять. Я остепенился. Бросил якорь, чтоб не кинуло на рифы. А у белой расы нет разума остановиться. Во вражде, – вдруг зачем-то добавил, – гибнет белая раса...

– Не могу столкнуться со своей Лизаветой, – опять грустно произнес Нилов. – Ссоримся и разбегаемся.

– Напор нужен, – советует Нефёдов.

– Хочу быть неотразимым. – Нилов помахал рукой. – Любимым хочется быть.

– Но ведь встречаетесь, – напомнил Нефёдов. – Нужен порыв, инициатива. Решайся, друг! – и Нефёдов налил из графина в рюмку. – Поженитесь, будете сообща решать проблемы быта, как мы со Светиком-семицветиком. Быт ежедневен. Был моряк. Встал на прикол.

– Подойди, – зовет бригадир Нефёдова. – Вот тебе задание, технические условия, топосъемка. Амбрэ от тебя...

– Хорошо, хорошо, Лев Борисович. Не разберусь, спрошу. Зуб побаливает, полошу.

Нефёдов забрал папки с документацией и подсел к Нилову.

– Заметил... – шепнул, чтоб не слышали другие.

– Хорошая тема. Театрик сделать из клуба.

– Собирай чертежи, подписывайся в штампах, мне передавай да пиши заявление на отпуск. Бери свою Лизаньку, купай в море. Следом мы.

– Ты их предупредил о сроках? – спрашивает начальник бригадира и округляет глаз. Он тщательно полирует ноготь пилочкой. Тонкий запах мужских духов в кабинете.

– Не успел.

– Вот, вот, – начальник встал из-за стола, подошел к окну, отодвинул штору.

– Лето ведь. Я тоже собираюсь в отпуск.

– И мне бы хотелось, – вкрадчиво произносит бригадир.

– Кто заменит?

– Нефёдов.

- Лета как не бывало. Вот и Нилов вернулся из отпуска загорелый.
- Что ж, и мне пора, – говорит с улыбкой Нефёдов. Начинать разбираться с проектом. Надеюсь, в личной жизни произошли "сдвиги по фазе"?
- Отнюдь.
- Твердыня не пала?
- Дело не дошло до компота, даже до первого блюда, хм.
- Хватит вам толковать об еде, перерыв на обед далёк, – отозвалась Шуручка из-за компьютера, низенькая и кругленькая.
- Пожалуй, выйдем, – предлагает Нефёдов. – Так что же случилось? Они сели за столик забегаловки.
- Я был на водах один. Не согласилась ехать. Сдал билет накануне отлёта. Не отпустило ее начальство... так сказала.
- И ты?
- Да, гордое одиночество. Заплывы на дистанции. Но... нашлась женщина с надкрыльями... звенящими...
- С этого момента подробнее, – оживился Нефёдов.
- Романтическое приключение, не более. Взмах ресниц спросонья, – улыбнулся Нилов.
- Вернемся к делам. Тебе удалось разобраться в исходных данных? Нет сведений о подрядчиках.
- Да, да. Нужно знать, были ли они "чисты на руку" или вороваты... Возможно, нужны дообследования.
- Я обращаюсь в отдел изысканий незамедлительно. Не успел до отпуска.
- И не сказал.
- Ты был занят сдачей проекта. И "рыбий глаз" спешил, и бригадир.
- Да, да. Замечания пустячные оказались...
- Куда летишь?
- В Тунис. Так захотела Светик. Там эскадра спустила флаг в Бизерте, дед ее был моряком.

Море. Зной. Отель в виде нор стрижей в откосе берега. Над морем летают фигуры на привязи к мчащимся катерам. Торговцы коврами предлагают свой товар тут же на пляже. За стойкой бара можно отведать виски со льдом или холодное пиво. Собрались фотографии для воспоминаний.

– Время рисовальщиков сменилось компьютеризацией проектного дела. На фасадах исчезли изображения хищников и кариатиды. С карнизов – бюсты и вазоны. Исчезла имитация массивности в штукатурке.. Фасады повисли на каркасах. Тема киношного иллюзиона ворвалась в архитектуру. Политики называют себя "архитекторами". Забыты заветы Менделеева о топливе ассигнациями, – рассуждает Нилов.

– Не горячись, разберемся, – резонит Нефёдов. Замечательно отдохнули с женой. Море, набег волн, просолённые бризы, цветение.

Выпал снег. Потом растаял. Развезло в слякоть.

Бригадир подсел к компьютеру Нилова.

– Подойдите к нам, Георгий Севастьянович! Договорились?

– Режиссер "Очумелов" какой-то. Все надо разворотить, подавай им сцену по центру, зрительские места амфитеатром. Актёры появляются невесть откуда: и сверху, и из зала, и из подпола. "Обнаженка", наглядность. Сцену надо поднять, чтоб высвободить первый этаж, – докладывает Нефёдов.

– Так, вижу. Ага! Вывесили всё на металлоконструкции. Это правильно.

Бригадир поправляет очки, спустившиеся на кончик носа.

– Осталась от прежнего лишь скорлупка с театральными масками по фасадам да портик, – продолжает Нефёдов. – И над всем сверкающее стеклоформообразование. Хотим сделать и подсветки.

– Ладно. Толково. Доложу, – подымается со стула бригадир.

Звонит звонок на перерыв. Лёгкое смятение на выходе из проектного помещения, открывание форточек.

Постепенно зима установилась.

Подготовили и показали заказчику решение на распечатках из компьютера, бумажные варианты.

– Передавайте проект на дальнейшую разработку, – говорит бригадир Нефёдову, вернувшись из кабинета начальника. А вам дам новую задачу.

И удаляется.

– Конечно, конечно, не упускайте из виду и разработки, – спародировал Нилов. – Пошли, попьём кофейку. Зима, а у нас ни в одном глазу

– Может, Шурочку возьмем? – предложил Нефёдов.

– Тогда уж и Машеньку и Петю. Отметим коллективом, – соглашается Нилов.

– Куда это вы? – спрашивает вошедший в двери Начальник. Для вас не существует рабочего времени? Где Лев Борисович?

– Ушел в техотдел, – докладывает Нефёдов.

– Сорвалось. Схожу за мороженым, – предлагает Нилов после ухода Начальника.

– Держи денежку. Шурочка, сообрази чай. Машенька и Петя, сдвиньте столы, – распоряжается Нефёдов.

Нилов гитарист. Может перебирать струны. Живет с матушкой в двухкомнатной квартире. Чисто, опрятно у них.

Вечер. Пьют чай. Света принесла торт. Смотрят телевизор. Седенькая старушка пьет чай из блюдечка. Нилов повиртуозил на гитаре.

– Мне пора, – тихо говорит Лиза, девушка миловидная с русой косой и ресницами.

– Провожу, – собирается Нилов.

На лестничной площадке Света отстраняется от поцелуя. Соседка подымается по лестнице.

– Славная девушка Лиза, – тихо говорит седенькая старушка. – Посуду перемыла, пол вытерла. Все в руках горит.

– Пойду я. Надо поэскизировать.

И Нилов удаляется в свою комнату.

Там он снова берет гитару и наигрывает мотивы "Амурских волн".

– Не прав Нефёдов, – так подумалось ему. – Напор, напор...

Вспомнилась стрекоза, зависшая над ним со своими сферическими глазами. Раздроблен Нилов на фасетках ее глаз.

Нефёдов живет в коммуналке со своей женой Светой. Комната в два арочных окна, мебель старая, с инкрустацией. Собрал, очистил, когда был период заселения малогабаритных квартир. Спасал антиквариат.

Привез из Африки негритянские маски из черного эбенового дерева, развесил по стенам.

А у Светы в шкафу посуда из Гжели.

За окном темень. На кухне гвалт. Опять чего-то не поделили соседки.

Уборка квартиры понедельная. Скоро и их очередь. Надо помыть стены, приборы, навоштить пол в коридоре, соседки потом проверяют качество уборки. Одна покуривает, другая не выносит запах табака.

Вот стучат к ним в дверь.

Нефёдову не до них. Он думает о том, что и в Европе улицы застроены "инкрустированными шкафами", изукрашенными скульптурой, мозаиками. Заставляли заказчика раскошелиться на декор, коль хотел строить в центре городов.

Стук в дверь настойчивее. Повторяется. У Веры Петровны день рождения. Торт "Наполеон" многослойный изваяла. Потолок ждет пробку шампанского. Они нарядны. Недостает Нефёдовых.

– Ладно, – говорит Света и берет в подарок вазочку из Гжели.

– Прочти «Рассказ провинциала» – «Моя жизнь» у Чехова, – говорит Нефёдов Нилову. – Там архитектор фигурирует. Вот что написано: «На моей памяти в городе не было построено ни одного порядочного дома»... «Лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой, но они не понимали жизни... и выйдя замуж, скоро старились.. Тонули в тине пошлого мещанского существования.»

Архитектор говорил о "традициях", но его «дома – проклятые гнезда, в которых сживают со света...»

Или вот послушай: «чертил план дома с готическими окнами и с толстой башней, похожей на пожарную каланчу – нечто необыкновенно упрямое и бездарное».

– Что скажешь, а? – спрашивает Нефёдов, откладывая листок с выписью.

– И Гоголь призывал к эклектике, отвергая классицизм «палочной архитектуры», а начальник склоняет к классицизму, выдавая заказ на особняк.

– Вся Европа кинулась осваивать новые возможности металла, стекла и монолита, – возражает Нилов.

– Придет время, когда общество снова заявит о роскоши, изяществе и просторе в зодчестве. – А национальный стиль ... – заявляет Нефёдов.

– Пытались. Подражания церковной архитектуре, – усмехнулся Нилов, – декору полотенец, избам. Уже дядя Ваня у Чехова гонялся за искусствоведом с пистолетом.

– Ребята! Подойдите ко мне. Будем проектировать особняк в жестких канонах классицизма. Заказчику нужна представительность, – позвал бригадир.

– А чего ты вдруг приплел девушек? – улыбнулся Нилов, садясь за столик кафе после беседы. – Воспитываешь, семьянин? Приду в твой возраст, остепенюсь. «Архитектура должна быть скучноватой» – так "грива" говорит?

– А Гоголю хотелось от "дикости" перейти к "изяществу" и снова впасть в "дикость" – снова Нилов.. – Достоевский любил готику. У Пушкина романтизм замков.

– И это воплотить в архитектуре познавательности, – напомнил Нефёдов.

– Иллюстративность! – отрезал Нилов. – Архитектура не есть иллюстрация литературных мечтаний. В ней основательность и целесообразность. Девиз ее: Польза, прочность, красота.

– Согласен. Нам навязывают "черта в стульях" – опять Нефёдов сказал. – Народ – хранитель древностей. Служит, работает, может и привыклубчиваться.

– А мы засели в конторах, нас сроками обложили, – уже вскричал Нилов. На него посмотрели из-за соседнего столика.

– Шумим мы. Перерыв кончается. Рассчитайте нас, – позвал Нефёдов официантку. – Служба у нас, Нилов. Направо рассчитайся!

– Налево пойдешь, коня потеряешь – улыбнулся Нилов. Кто главный богатырь? То-то и оно, Еруслан Лазаревич.

– Вот что, Нефёдов, – говорит бригадир. – Напортачили в чертежах клубного театрала. Иди и разберись. А мне позови Нилова. Где он?

– Парень ты хороший, Нилов, – но в эскизах отступаешься от заданного тебе стиля.

– Отнюдь, Лев Борисович.

– Хочешь объяснить с начальником? Враз сократит. Вот мои соображения, изучи, – и бригадир подал Нилову свои листки "почеркушек". – И знай: начальник не тот, кто стоит за спиной исполнителя, а тот, кто, не выходя из кабинета, знает всё.

– Но эти эскизы очень приблизительны, как их перевести в компьютерное исполнение? – и Нилов, забрав "почеркушки", возвращается на свое рабочее место.

– Здесь без поллитры не разберешься, – резонит вернувшийся Нефёдов, рассмотрев "почеркушки". Я с ним потолкую. Есть успехи на личном фронте?

– С Машенькой в кино ходил, с Наташей в мороженицу, – усмехается Нилов. – Ты ведь коллективом не занимаешься, семьянин.

– Подглазник можешь схлопотать. У Машеньки парень драчливый.

– Во! Ты настоящий начальник! – восхищается Нилов. – Откуда тебе всё известно?

– Учти, что и у Наташи парень мощный.

Нефёдов как "в воду смотрел" – Нилов взял бюллетень. Нефёдов поручил Маше и Наташе чертежи клубного театрика. Петю он готовил к переводу "почеркушек" бригадира в компьютерный вариант. Сам взялся за рисовку особняка в духе классицизма, но решил обсудить.

– Лев Борисович! – говорит Нефёдов бригадиру, подсев к его столу. – Мы рассмотрели с Ниловым ваши эскизы. Не ясно, в какой ордерной системе портик. Ровные по высоте колонны или с энтазисом? Гладкий антаблемент или расчленен метопами и триглифами? Ведь это нужно объяснить исполнителям.

– Сейчас это не важно заказчику, он увидит систему...

По разрезам видно, что все помещения одной высоты, а неплохо бы разноэтажно дать двухсветные пространства и подкупольную залу.

– Ох, Георгий, Георгий, усложняете задачу. Будут еще уточнения задания...

Впрочем, давайте сделаем два варианта. Высвободите на это двух исполнителей.

– Конечно, Лев Борисович. Предложим и росписи, и скульптуру. Случай поточить мастерство

– Действуйте, голубчик, и не обижайтесь, – улыбнулся Лев Борисович. – Сдавайте чертежи клубного театрика. Что с Ниловым?

– Скоро вернется с бюллетеня, – заверил Нефёдов.

– Ждем заказчика. Готовится продвигаться и в политике он.

– Мне что с круглыми окнами что с квадратными, – заявил тучный заказчик. – Хрен редьки не слаще. Сарай! Нужен бассейн, винные погреба, побольше спален для гостей с отдельными выходами на двор. Купол одобряю над залой. Все, господа! Спешу. Амуров тоже одобряю.

– Каких амуров? – округлил глаза Демьян Поликарпович.

– С крылышками и вензелями. Участок расширю, там пруд устрою. Обставите его статуями нимф, и павильон для шашлыков и парильню, дом для obsługi. Часовенку не забудьте грехи отмаливать. Ха-ха!

– Сметку я прикину, – пообещал Лев Борисович.

Заказчик уже пожимал руки ему и Демьяну Поликарповичу. Он в дверях. Урчит его "внедорожник" во дворе.

Сели за стол. Лев Борисович принес торт. Уходит на пенсию. Сутуловат за столом.

– Крепкого здоровья на приволье в огороде! – шумит застолье. Пробка летит в потолок. Бокалы сдвигаются.

– Что может помочь архитектуре? – спрашивает Нилов.

– Вторая половина девятнадцатого века прошла в поисках стиля, – отвечает Нилов, разливая водку по рюмкам. Они сидят за стойком кафе.

– Литераторы погрязли в спорах. Они довольствуются расхожим языком, работают на киношников – творцов иллюзиона.

– Я услышал ваш разговор, – раздаётся голос из-за соседнего столика. – Я литератор. Вы не правы. Решается философский вопрос: что определит смысл нашего существования?

– Вот! – шепчет Нефёдов. – Громко разговариваем. Извините! – это он литератору. – Нам пора. Служба! Да, мы практики. Всего доброго!

И архитекторы вышли на шумный проспект.

– Менялись цивилизации, менялось и зодчество, – говорит Нефёдов Нилову.

Степан Петрович, отец Лизы, коллекционер, иногда звонил Нефёдову.

– Георгий Севастьянович, выставка Стерлигова на три дня, приходите. Я знавал этого творца "чашек купольной системы". И ходил он так, будто боялся расплескать стоящую на его голове чашу, до краев наполненную водой.

Дочь Степана Петровича, Лиза, работала библиотекарем.

И нашелся читатель, приходящий ежедневно: парень с шевелюрой на голове. И однажды предложил прогуляться по Летнему саду.

Чугунной фразой обладая,
Крылов горазд зверей дрессировать.
И в статусе могучем пребывая,
Любовь лелеял подремать.

Читал он около статуи Крылова.

Лиза улыбнулась и согласилась еще встретиться да сходить в кино.

Нилов спохватился, когда Лиза перестала ему звонить.

– И что? – спросил Нефёдов.

– Заявление подал на увольнение, – вдруг сказал Нилов.

– Э-э-э, – удивился Нефёдов. – Тебя же сделали групповым. Пошли-ка попьём кофейку, ты не в себе.

– Лизанька учудила, выходит замуж... – говорит уже за столиком кафе Нилов.

– Вот те раз! Официант! По сто пятьдесят.

– Буду жить холостяком, – заявляет Нилов, выпив водки.

– А чего со службы увольняешься?

– Ладно, остаюсь. Не хотел говорить.

– Официант! – закричал Нефёдов. – Еще по сто. Разобрался я с эклектикой. Гоголь всему голова. Манифест архитектуры...

– Может, Достоевский? Готику любил. Или Пушкин? К рыцарским замкам его потягивало. А зодчие этого времени сами влеклись к гуманизации вкуса. Заказчик жаждал изыска и роскоши своих покоев.

– С готикой схож допетровский стиль в красном кирпиче и белом камне.

За повседневностью работы мало замечалась погода. Лето дождливо, а осенью вдруг потеплеет.

Матушка Нилова нет-нет да и всплакнет.

– Старею, сынок. Дряхлею. Трудно с хозяйством управляться.

– Страсть, мать, нужна! – восклицает Нилов, причесываясь у зеркала.

– Страсть, страсть, – вздыхает матушка. Выстеклениваешься.

– Режиссер пригласил. Авангардная постановка. Открывают они свой театрик.

А вечером за чаем мрачен Нилов.

– Все действия постельные. Лежит херой в сапогах на чистой простыне, а рядом "обнаженка".

– Ох, сынок, сынок! Ты штудировал "обнаженку" и в художественной школе, и в Академии.

– Я об том же, мать. Теперь "обнаженка" повсеместна, глаз "замылился". Романтизма нет, таинства.

И он перебирает струны гитары.

А матушка незаметно утирает слезу платочком.

– Эх! – горячится Нилов. – Ругают архитекторов за "коробки" жилые. А ведь рвались в них из подвалов и коммуналок. Чего не требовали особняков? Вот у Нефёдова образовалась квартира наконец, ждут сына к весне.

– Когда же и ты обрадуешь меня внуком?

– Это таинство, мать.

– Работаю в «малых формах» – четверостишиях – говорит Свете Олег, голубоглазый парень в пышной шевелюре светлых волос. – Вот послушай:

Во сновидениях я занедужил,
Предназначенье клопа осознал,
Ночью бессонной в гостинице южной
Клоп меня крепко пронял.

– Нашел, о ком писать! – усмехнулась Лиза, шурша листвою. Они гуляют по парку в Царском Селе.

– Послушай еще:

«В камне зеленом сидит изваяние:
Лягуха династии Цинн.
Взглядом камней драгоценных взирает
В меня из стеклянных витрин».

– Обратил внимание на эскизы Растрелли в залах? По ним построен дворец, – говорит Лиза, подымая веточку. – Дворец в зеленом с золотом. А вокруг малые драгоценности – «капризы», комбинации «китайщины» и готики...

– Что тебе эта архитектура? – перебивает Олег. Послушай еще.

Взглядом своим стеклянным
Рыбка глядит из аквариума.
Тысячи лет назад все слова растеряла,
Теми, что я таровитым стал.

И Олег быстро схватил Лизу за плечи, притянул к себе.

– Вот это я не люблю, – отстранилась Лиза, – почитай еще.

– Тебе повинуюсь, о госпожа! И он прочел:

Зеленым цветом взвеселилась местность,
Пирует шмель, от соков захмелев,
И он гудит, и песни он орет,
Он в полосатой блузе прет.

– Вот-вот, – усмехнулась Лиза.

– Послушай еще о мухе.

Муха в крылах виртуоз,
Она вызывает страсть.
В фасетках ее наркоз.
С мухою можно пропасть.

– Не обо мне ли это? – улыбнулась Лиза.

– Лизанька...

– Остынь! – поизносит твердо Лиза и прикрывает рот Олега. – Пошли на посадку.

Пошуршали листьями. Вот букет из них составила.

– Послушай еще. Это цикл.

– Может, хватит?

– Слушай!

Рассудку неведомы страсти
Летать завязавши глаза.
Неведомы эти напасти
Той снасти, что есть стрекоза.

– Ладно! – говорит Лиза уже на перроне. Сейчас электричка прибудет. Меня не провожай с вокзала. Отец встретит на автомобиле.

Эта птичка порхает с куста на кусток,
Она музыкальный сад оживляет.
Но не только меня наполняет восторг,
Ее кошечка тож наблюдает.

Голос Олега уже в темноте: «О ты, которая...»

– Утвердили мы у заказчика эскизы особняка, – говорит бригадир Нефедов групповому Нилову.. Чего-то ты осунулся.

– На рессорной телеге покатался, растрясло, – мрачно шутит Нилов. – Нет восторгов.

– А пуховики? – интересуется Нефёдов.

– Ай, махнул рукой Нилов. – Потеют.

– Что дальше делать, стратеги? – спрашивает Маша из-за компьютера.

– Сейчас подойду, – ответил Нилов.

– Вас разыскивают, Георгий Севастьянович! – это входит в чертежную секретарь Авдотья Сергеевна.

– В дверях Лиза.

– Что такое? – удивляется Нефёдов.

– Папа велел вас разыскать. Плохо ему.

– Он дома? Я подойду, – собирается Нефёдов. – Коля! –зовет он Нилова. – Подойди!

– Лиза, ты? – удивляется Нилов.

– Да, это я, – краснеет Лиза.

– Ну, вы тут объясняйтесь, а я бегу, – говорит Нефёдов.

ПЕРИПЕТИИ

*

В большом городе теснения. Так и в ущельях гор. Хочется заглянуть за грань.

Мастер похмыкал в цветную прокуренную бороду, окутался дымом сигареты, подвигал густыми бровями и обратил прицельные глаза на бригадира, сидящего рядом с его двухтумбовым столом и рассматривающего фотографии построек вновь определяющегося архитектора.

– Что скажешь, Савелий Павлович?

– На ваше усмотрение, Иван Иванович! Работы хорошие, – и он сдвинул очки на кончик носа пипочкой.

– Маша! – позвал Мастер секретаршу, – оформи групповым Сидорова Николая Петровича и пригласи Петро.

Развесь эти картонки, Петро. И оформи, – велел он сухопарому макетчику.

– Может, не надо? – спросил Николай, коренастый человек тридцати лет.

– Пусть! Пусть видят живопись, царицу духа! – и Мастер придал значение своему лицу средиземноморских бронзовых статуй.

*

Что могут рассказать нам корабли,
Во хлябях вод на рифы наползаючи?
Взгляд утонувший и дерзаний крик
Скитальцев-альбатросов наблюдающий?

Во клювах птиц трепещет серебро,
Рыб участью своею удручающих.
Вопрос, поставленный ребром,
На якорях повис отягощающе.

Мне удивительны обломы скальных гор,
Следы преданий сохраняющих.
Осколки памяти, сдержавшие напор
Волн, в постоянствах набегающих.

*

– Наворотил, не будучи духовным, – произносит высокорослый архитектор Рома с пробором на медной голове и птичьим носом, рассматривая работы нового коллеги, развешенные на стенах коридора архитектурного отдела.

– Да, цвет дежурный по всем работам, – задумчиво говорит широколицый с голубыми глазами навывкате архитектор Дёма, тряхнув кудрями цвета лёгкого пива.

– Что скажешь, Павлович?

– Трата сил и времени от архитектуры, – откликнулся бригадир, низкорослый сутулый архитектор.

– Золотые слова, – подхватил мысль Рома. – Халтурки некогда делать.

– Только и способны на халтурки, – откликнулась архитектор Нина, двинув красивых форм плечом и изрядной ногой под собой. По телу прошло колыхание, источник мечтаний.

– Дара не видите, – подтвердила и изящная стройная брюнетка Соня, гладко зачесанная и с изумрудами в розовых ушках. У нее тонкая прорисовка лица, нога недостаточна, без нужной полноты, но тут глаза, и она умеет ими двигать. Вот глянула на Рому, и Рома присвистнул, дал трель. Мало того, что трель сменилась цоканьем и шаловливая ручонка огладила стан. Таково влиятельное взгляда Сони. Однако рука скинута. Взгляд негодующий.

И все увидели в дверном проеме Николая, толкнули локтями не увидевших. Прения прекратились.

Николай не показал вида, прошел к своей чертежной доске. Ему предстояло озадачить Рому и Дёму, молодых специалистов. Рома прям и сухопар. А вот Дёма крепко скроен, силен, может кулаком расколотить грецкий орех.

Звонок на начало работы совпадает с появлением заместителя Мастера.

Он делает пометки в тетрадке.

В дверях громыхание, это опоздун.

Он оправдывается стесненными обстоятельствами совмещенного санузла.

Он взят на заметку, ему подаются резоны выходить пораньше, но теть и жена еще раньше идут на службу, ему позже на ристалище.

Это развлекает сослуживцев.

А тут и Маша.

Ага! А Вы почему?

– Ребенок закапризил, – оправдывается толстуха, двигая своим естеством.

– В других институтах уже перешли на сдвинутый график, – слышится голос из-за чертежной доски.

Заместитель Мастера теперь сам оправдывается предстоящим собранием и ретируется из чертежной в коридор.

– Видел сон, что гонял Мастера по чердаку, шепчет пучеглазый Дёма соседу Роме, похожему на дятла, сидящего на сосне: прямой, с откинутой назад головой.

– Так это был не сон, – усмехается Рома, клонув красноватым носом в свою чертежную доску. – Фу, клонит, не доспал, перебрали.

– ладно тебе, шутник, – отмахивается курчавый Дёма. – Подошел к кассе в Худфонде, сгрел всю выручку в шляпу и был таков. Потом вернулся, кутнул на наши...

– Не забывай, он идеи подает, заказы добывает, продукцию через Совет протаскивает. Не рассыплемся.

– Идеи дает, идеи дает, у меня их пруд пруди, – не унимается Дёма. – Вот взял нового гения, тот тщится выдумать новенькое. А мы на обочине, наша работа... ку-ку, я лошадь. – он фыркнул.

– Гениев в античности палками гоняли, – резюмирует Рома. Они нарушали привычный уклад жизни своими изобретениями.

– Вот одобрит Мастер прием Николая, чего тогда? – не унимается Дёма.

– Зряплату платят, поправим, не боись. Добьемся изящества, Николаю, деревенщине, это не под силу. А мы тренируем руку на халтурках. Красиво жить не запретишь!

– Когда к делу приступите? – слышится голос бригадира. – Николай Петрович, готовы у вас решения, задания для этих огольцов?

– Пока нет, пусть дорабатывают прежний вариант.

– У-у, козлоногий! – шепчет Дёма.

– Скоро ему на пенсию, – тихо отвечает Рома.

– Не дождетесь! – смеется бригадир. Ишь, шантрапа, – он закуривает и выходит в коридор. Слух у бригадира хороший, глаз вооружен очками. И опыт.

*

– Ишачишь на шефа? – улыбнулся живописец Фёдор.

Дело происходит в мансарде.

– Пробиваем мы выставками отмену цензуры. Готовим групповую. Приноси свои работы. Ты член Союза архитекторов, а ведь вас не признают за художников.

В окнах мансарды потемнело. Зажгли свечу. Водочку разлили по граненым стаканам.

– Трахтаты нас обуяли, – соглашается Николай. – Не выстекленишься. Нормативы.. Архитектура – оркестр...

– На чем играет? Палитры красок у вас нет. Гольная инженерия. Эмоции задавлены расчетом, – снова вступает Федор.

– В тесноте, не в обиде. Скучность палитры не стесняет. Вот Гвидо Рени четырьмя красками...

– Строители вас бетонируют, – вступает в разговор Леонид, второй живописец. – Глянь на жилые кварталы спальных районов. Чего в них художественного?

– Бог не выдаст, свинья не съест. У нас в работе научный городок, не типовуха.

– Слопают тебя твои коллеги, – грустно замечает Фёдор. У него непокорный ежик волос, сам коренаст.

– Скушают тебя, простак, – подтверждает и Леонид, парень с ниспадающими на плечи длинными волосами, прямым носом и стальными глазами.

– Откуль это суждение взял? Из головы? – улыбается Николай – Пошел я, даю отвалный гудок, друзья мои огнелёрые.

– Да-а-а, – произносит Леонид, после ухода Николая. – Опростился он в этом маленьком городке.

– Он всегда был простаком, вспомни по художественной школе, – откликнулся Фёдор со стеллажа, где доставал подрамник с холстом.

*

Но дело развернулось иным боком.

Слышал новость? – говорит Рома. – Николай в госпитале.

– Знаю, – отвечает Дема.

– Откуда?

– Сарафанное радио. Мастер уже ходил с букетом. Операция полостная. Пырнули на улице. От нас уходил. Тебя следовательно опросил?

– Не добил, – вдруг сказал Рома.
– Чего? – насторожился Дема.
– Проехали. Ляпнул.
– Надо навестить гения в палате.
– Да, да, – скривился Рома и глянул в разные фокусы, подвигав головой.
– Когда приступите к работе? – поинтересовался бригадир, сдвинув очки на кончик носа.

*

О, сколь изменчив облак-акробат!
И отраженья не всегда в Босфоре.
Разумен древности набат.
Все это в ликах плоскогорий.

*

Ординатор докладывает коротко.
– Сидоров. Большая кровопотеря. Апатия.
– Пить не давать. Полоскания. – комментирует профессор поворачиваясь к соседу Николаю, чья койка напротив.

– Готовьтесь на выписку.

Затем вся эскадра продвигается вглубь палаты.

– Вам, голубчик, пора прогуливаться до галльона и на камбуз. Анна Петровна, займитесь. – говорит физкультурнице. – Подымайте!

Антонову пропишите капельницы.

И «обход» разворачивается на выход к следующей по коридору палате.

Здравия желаем, товарищ генерал! – слышится в коридоре.

Во! Начальство нагрязнуло, – говорит подводник капитану первого ранга на койке слева от окна.

– Трудно выплывать, – шепчет тот.

А в дверях Федор и Лавр с кульками.

– Мы к Николаю.

– Что, голубчик? Легче? – говорит Федор и тут же тихо шепотом: выставка за отмену цензуры разрастается участниками.

– Моща нужна.... – шепчет Николай, едва разлепляя губы.

– Бодришь, Коля, бодришь! Прорвемся! – опять шепчет Федор.

– Заберем твои работы, согласен? – шепчет Лавр.

Да... – отвечает Николай.

И художники удаляются, оставив кульки.

– Во! в штангу вдарил, во, боднул головой в угол ворот! – восклицает подводник. – Прорвался по флангу! – он слушает матч в наушниках.

– Болейте за архитектуру! – шепчет Николай.

– Ага! Опрокинулся! Ага, пенальти! – опять в восторгах подводник.

– Эти хирурги могут оперировать при в бортовой, и килевой качке, – объясняет соседу капитан. – Потом боевые и небоевые потери...

– Голубятников не стало, вот голуби и беспризорны, – говорит по телефону кому-то сосед, не слушая капитана. – Оставь это попковерчение! Мне разрешили вставать. Да, да!

А Николай опять впал в бред.

*

Топчемся на месте. Решения предлагаете подражательные – распекает Мастер бригадира. – Пусть Рома и Дема останутся после работы, добавил ведь вам по десятке, ребята. Как дела у Николая?

– Связался с авангардистами, в их выставках участвует, – вдруг высказался Рома, вскинув клюв.

– Пока он никакой, – объясняет бригадир.

– Ну, мне на партбюро – утонул Мастер в клубах дыма, а когда дым рассеялся, его уже не обнаружилось.

– Чего ты болтаешь? – шепнул Дема, закатив глаза под лоб.

– Пользы для, – ухмыльнулся Рома и поправил очки на своем клюве.

Бригадир усмехнулся, отвлекшись от подсчета кубатуры здания.

*

Весна зацвела. Проглазились неясные мечтания.

Савелий Павлович затемнил лоджию своей квартиры в новостройках и, сидя на вращающемся высоком табурете у треноги, стал медленно двигать трубу телескопа по окнам соседнего здания. Занимательная жизнь происходила за стеклами аквариумов. Рыбки махают плавниками, разрезают рты и уплывают вглубь своих квартир.

Интерес представляет окно без штор. В этом аквариуме танцуют темные силуэты, смыкаются в объятиях. Затем гаснет электросвет.

– Ох, плешивый! Ох! – слышит голос своей жены Савелий Павлович.

Она ставит тяжелые пакеты с провизией на стол и идет переодеваться. Грация не покинула жену.

*

Замысел, однако, не оставляет Савелия Павловича.

Для храбрости он «дернул» рюмку перцовки. И повторную, погубившую замысел.

Жена его, Афродита Пантикапейская, а в быту, Маша, возлежит на подушках, изучая методы огородничества по приложению к «женскому журналу». Там советы по борьбе с улитками, кровососами и прочими порхатыми. Свет ночника ей вполне достаточен. Античных форм плечо видно из-под одеяла.

Савелий Павлович, разоблачившись за дверью спальни, пролез мимо койки и вдруг кинулся.

– Фу! – метнулась жена. – Фу! Я давно услышала твоё пыхтение и запах перегара, Сава.

– Осчастливь! – шепчет Савелий Павлович.

– Пшел! Козлом от тебя прет, – решительно работает локотками жена, а после и античной ногой.

Лежа на ковре около супружеского ложа, Савелий Павлович уяснял этот отпор. Затем пошел в ванную, там долго пыхтел, мылся, оттираясь мочалкой, чистя зубы. Даже побрился, осмотрелся. Да, тело с брюшком, ноги кривоваты, плешь на голове, кудлатая серая шерсть там и сям.

– Да, да, членистоног, – размышляет он у зеркала – сутулость – профессиональная вредность от работы за чертежной доской.

Жена после этого наскока оказалась на раскладушке в гостиной.

– Спокойной ночи, дорогой! – машет она рукой и гасит ночник.

Сидя на кухне перед телевизором, Савелий Павлович тешит себя водочкой под соленый огурец, потом произносит: «Чего я не сокол, чего не летаю». И вспоминает студенческие времена, когда он точил взгляд на античных слепках.

*

Вечер, творческая мастерская Ивана Ивановича. Дема и Рома трудятся над новой халтуркой «сад скульптур». Тут же эскизы Мастера. Он рисовальщик.

В этот вечер он не ожидался.

Бутылка водки ополовинена, другая пустая на полу. Клюв Ромы побагровел. Глаза Дёмы закатываются под лоб.

– Чего мы добились? – это вопрос к Роме.

– Ай, – отмахивается Рома. – Чаво-чаво, да ничаво! Не бери в голову!

– Авантюрист ты, Рома!

– Угомонись, бригадир уйдет на пенсию. Я его замену, сколочу творческую бригаду.

– Недопонял. Я чего-то недопонял, – пролепетал заплетающимся языком Дема. – Ты бригадир? Курам смех, сейчас снесутся. А Николай?

– А что? – Рома достал из кармана своего вельветового пиджака с наклейками на локтях курительную трубку набил ее табачком из коробочки с надписью «Капитанский», запалил трубку от спички и выпустил клуб ароматного дыма. – Чего недопонял?

– Вот это видел? – Дема поднес волосатый кулак к носу Дёмы.

Простак! – невозмутимо отреагировал Рома. – Примитивизм и рукосуйство.

– Ха! – выдохнул Дема. Кудри его гневно зашевелились.

– Остынь, пучеглазый, – усмехнулся Рома. – Не мы решаем. Но надо работать локотками. Бригадир ничтожество. Навряд ли Николай оправится. Вот и сочиним творческую бригаду.

А Дема уже спал, облокотившись о стол. Ему снился следователь.

– Сознавайся. Сознавайся. – долбил он Дему. А Дема ничего не мог ему объяснить.

*

Лето на исходе.

– Цап-царап – выдрался из лап, – говорит Николай жене. – Жажду объятий.

– Гребни, голубчик мой, – ответствовала жена повеселевшим голосом и встряхнула прической «домик» из длинных каштановых волос.

Она навещала мужа в санатории по выходным дням. Вот катались на лодке.

Подкралась осень. Цветение листвы разметали ветра, образовались шуршащие пологи. Они побурели, увлажнились.

– Два ориентира у Человечества, – разум, основанный на счете, и всплески порывов. Как отразить в живописи печаль, скуку, восторги? – рассуждает Николай перед женой.

А она в отвлеченьях. Ей поставили на вид поведение сынка в детсаду.

*

– Надо удочки сматывать – объявляет Рома. – Следователь круги делает и делает.

– Пусть. Мы даже из мастерской в тот день не выходили.

– А кто это докажет? – резюмирует Рома. – Да, и за водкой ты бегал.

– Это уже много позже после ухода Николая. – отвечает Дема. – Не нагнетай. Несчастный случай. И кто видел?

– Не прикидывайся простаком. – усмехается Рома.

Дема разливает водочку по стаканам. Чокается с Ромой.

– Никто не дознается. Не трусь. – говорит Дема.

– Непокойно мне. Визу оформляю.

– Ты серьезно? – пучит Дема свои рачьи глаза на Рому.

– Нужны деньги. Мы их получили. Требуется доплата.

– Еще чего?

– Ладно. Съезжу, доложу. Расходимся.

– Да, пора, запозднились. Уберу и пойдем. Когда Мастер возвращается?

– Намедни.

*

Начались заморозки. Мело и пороши.

Уже не таяло. А после упали снега.

Мастер с удовольствием рассматривает подрамники.

– Что скажешь, Савелий Павлович?

– Поработали.

– Будем готовиться к Совету?

– Есть недочеты. – докладывает

бригадир. – Строителям не нравится усложненная архитектура.

Мастер закурил и удалился.

*

– Я духовен, – произносит перед собравшимися Рома. – Могу жить и творить везде.

И вскидывает голову с пробором. Пенсне срывается с носа и повисает на шнулке. Оно вновь водружается на место. Не привык. Сменил окуляры. Но вы не беспокойтесь. Навещу родню и вернусь. – И он опять подправляет пенсне.

– Споем на прощанье русскую песню – предлагает Николай. – Вряд ли увидимся снова. Ты ведь подал заявление на увольнение.

– Мастер приедет через две недели. Я за это время вернусь. – поясняет Рома. – Разберемся.

– Ненавижу все русское, – заглядывает в дверь кухни жена Ромы.

– Как? – удивляется Николай.

– А так, – объясняет жена. – Надоело.

– А ты, Рома? – вопрошает Николай.

Я, как жена. Совдепия измучила.

Николай встает со стула, вдрызг расколачивает о пол рюмку с налитой водкой.

В голове шумит, тело содрогается.

– Ишь, поганец! – вскрикивает Николай.

Следом выходит маленький поэт в кепке, тоже расколотивший опорожненную рюмку.

– Есть у тебя рублишко? Возьмем бормотушки.

– Болен я. После операции.

В темноте засвистало.

И вот Рома и Дема остались одни, квартиру покинули и провожающие девушки из отдела.

– Чего тебя понесло, Рома?

– А чего тут делать? Торчать на должности старшего архитектора у Мастера?

Быть под началом этого недобитка Коли и бездаря-бригадира? Уволь!

– Работа интересная..., – резонирует Дема.

– В чем интерес? Платят мало. Работаем в две смены.

– А там?

– Там страна больших возможностей. Оценят талант.

– Значит, бежишь? – грустно говорит Дема, разливая по рюмкам водку. –

Прощай, тогда. Пойду и я.

И, выпив содержимое рюмки, быстро выходит в дверь на лестничную площадку к лифту. На улице темень, фонарь расколочен.

*

Появился новый «творюга», переведен Мастером из соседнего отдела. Он высок, строен, звать Владимиром. Хороший рисовальщик, он повел мелодию и вскоре явились контуры нового решения фасадов главного корпуса научного городка.

Нега присутствует в движениях Владимира, скрытый огонь под пеплом. Это сказывается и в облике. Тяжелая челюсть, нос почти на одной линии со лбом, карие большие глаза под обширной шевелюрой вьющихся кудрей веселых антиков. Тонкие белые пальцы выдают в нем пианиста. Владимир уловил основное направление романтических устремлений Мастера и умело вписался своим вариантом фасадов.

Мастер подвигал бровями, носом в шрамах, закурил сигарету и стал вглядываться.

– Что ж? Поработал изрядно, – резюмировал он и глянул на бригадира. – Зайди, Савелий Павлович, в кабинет. – и Мастер величественно удалился.

Бригадир вернулся на свое рабочее место, собрал свои расчеты и двинулся вслед.

– Надо это дело обмыть. – произнес Дема, тряхнув кудрями и выпучив голубые глаза.

– Я не употребляю напитков водочного производства, – медленно произнес Владимир.

– Купим коньяк, лимончик, колбаску твердого копчения, – поехали?

– Ладно, – соглашается Владимир. – знакомиться надо. Колбаска должна быть тонко нарезана, на просвет, непременно тонко. Поехали. – А ты, Николай?

– Я обожду. Надо все просчитать.

*

«В продрогший трепет поднадуло» – нет, не сочиняется.

А вот:

О, вольный птах, пронзающий в волнах
 Все отражения и лики плоскогорий,
 Движенья рыб, их охвативший страх
 И блеск их чешуи он выдернул из моря.
 Мгновенный трепет в клюве он зажал
 И серебро на медь не променяет
 И новострой, ломающий скрижали
 Пугливых рыб досадой удручает.
 Не нам решать о доле прозябаний,
 Свои года на пальцах сосчитать.
 В продрогший трепет поднадуло из сказаний
 Рыб молчаливых не понять.

*

Пока ты прохлаждался в клинике, – Мастер улыбнулся. – Савелий Павлович навел ревизию. Выполнен еще один вариант. Близится срок подачи всего комплекса на Совет. Нужно и остальные корпуса проанализировать, распространить на них «прием».

– Савелий Павлович! – обратился Николай к бригадиру. – Скривил лицо да снес яйцо? Зачем Вы так? Все упрощено...

– Вы успели сделать вариант только главного корпуса, а я весь комплекс.

– «Прием» был одобрен. – ответил Николай. – Он не понравился заказчику и строителям.

– Иди, Коля. Решим, – промолвил Мастер.

– Чего тебя разнесло, Савелий? – спросил Мастер бригадира, когда Николай вышел из кабинета.

– Рома меня запутал да и новый вариант Владимир быстро сработал. И неплохо!

– Не беспокойся. Составь график. Придет час. Остановим поиски. – Решайте фасады всех корпусов. Надо посмотреть работу другой группы, остановим эти поиски, – усмехнулся Мастер. – важен «прием».

*

– Колян! – слышится голос маленького поэта в кепке. – Вон твои работы. Есть у тебя рублишко? Возьмем борматушки да посидим в кусту.

– Едва вырвался в обеденный перерыв, – оправдывается Николай и спешит к выходу из выставочного зала.

– Состоялось, состоялось, – думает он.

– Замысел не удался. – решает поэт и кидается к борононосцу в тельняшке и берет с пером. Но и тот готов только на чаек.

– У, ряженный, – сердает поэт и направляется к гладкобритому в просторной накидке и гремящих сапогах с латунными цепочками. Гладкобритый накидывает полог своего хитона на маленького поэта и там наливает ему в стаканчик – отвинчивающуюся крышку из булькнувшей фляги. А затем подводит к стенду со своими работами.

– Ты гений! – шумит поэт.

И гладкобритый наливает еще. И еще.

*

– Ты стал частенько навеселе. – замечает жена с проникновенным взором.

– Неприкаяя я. Хотя почему? Выставка состоялась... Сходим вместе?

– Садись ужинать.

– Папачка! – кричит сынок с табурета, – Я паматник! – и протягивает вперед ручонку.

– Ходили в Русский музей – поясняет жена...

Мне не дано заглянуть за горизонт, – думает Николай, садясь за стол.

– Пить бросишь, заглянешь, – смеется жена.

– Ты и в мысли заглядываешь? – удивляется Николай.

– Все у тебя на лице нарисовано, – поясняет жена. – И к ворожее ходить не надо.

Рука Николая обнимает стан жены, он трепыхнулся.

– Отлепи руку от мамы! – кричит сынок. – Спинку сломаешь.

*

– И тебя занесло на Брайтон, – говорит плотная фигура в майке, из которой прет шерсть и мышцы – Чего не сиделось в Совдепии?

– Буду славу здесь добывать, – вскидывает голову с клювом Рома. Пенсне скатилось с носа и повисло на шнурке.

– Примешь?

– Нальешь, так выпью.

– Привез гонорар?

– Аванса достаточно по недоделкам.

– Калека тот тебе не соперник.

– Увы, увy! – Рома заметно захмелел.

– Проводить?

– Сам дойду. Налей на посошок. О, забыл, я ведь бутылку с собой принес.

– Другой коленкор. Доставай.

Рома шел по проезжей части. Его мотало, нога заметно подгибалась. Сильный удар в спину прекратил эти мотания. Автомобиль не остановился, а ночной ливень все смыл.

Врачи констатировали внутреннее кровоизлияние от падения, обнаружили и излишки алкоголя в крови.

Все неспроста.

*

По Неве идет второй лед с Ладоги. Чайки сидят на торосах. Пахнет рыбкой корюшкой.

Николай бредет вдоль каменного ограждения. Сутулиться стал. Волосы поредили.

Бригадир – кривоногий фавн норовит все обкорнать. Сверкнет глазами под круглыми стеклышками очочков, приспущенных на нос-закорючку. И обкорнает. Нет понятий эстетики, приучен экономить. На пенсию не уходит.

Такие невеселые мысли.

*

– Так! – говорит Мастер Николаю, вызвав в кабинет. – Тебя предупреждали. Теперь тобой заинтересовался лично Филипп Евгеньевич.

– Кто такой?

– Отдел кадров. Либо я тебя понижаю с должности руководителя группы, либо...сам знаешь.

– Напишу заявление.

– Жаль, Коля, жаль. Иди думай. Пиши объяснительную, постараюсь защитить.

– Тяп да ляп – вышел корाप – бормочет Николай уже в коридоре.

*

– Ты видела? – спросила изящная брюнетка архитектор Соня блондинку, что с выразительной ногой под собой.

– Да, Дема прошел с вывернутыми карманами брюк и торчащим носовым платком.

– Он давно ходит сам не свой, лицо перевернутое и глаза померкли, – высказывается и архитектор Нина, что с изрядной ногой под собой. – А вот и звонок на перерыв. Прогуляемся?

*

Вечер, каких много. Халтурки закончились. Навалились на основную работу. Подзатынулось дело с проектом Научного городка.

Дема принес бутылку в мастерскую, выпил ее в одиночестве и постепенно, а затем зашел в кладовку с подрамниками. Там он встал на табурет, накиннул петлю на шею.

– Стой! – услышал он пронзительный женский голос. В дверях кладовки стояла вдова Ромы Диана.

Она увидела свет в окне мастерской, поднялась в мансарду и открыла ключом Ромы входную дверь.

Она услышала шум в кладовке.

И вот они сидят за столом. Дема рыдает. Он не скрывается.

А Диана шепчет: – Я вернулась... что мне там делать без Ромы? Ко мне прилетала мама, буду жить у ней... – И слезы катятся из ее больших глаз с черными зрачками.

– Как же ты будешь здесь жить? Вон, стоит сумка моя, там деньги, заработанные на халтурках, заведи себе...Выброси записку...

И слезы опять покатались из его глаз...

– А я взяла бутылочку коньяка, помянем Рому, – шепчет Диана.

*

Владимир откинул фалды сюртука, сел на вращающийся табурет и прошелся по клавиатуре. Потом повел мотив, затем оборвал его. После опять куда-то повлек. Снова оборвал мотив и снова начал в брависсимо. Закончил какофонией.

– Что за ёкало-бабай! – вскричала дама, познавшая бури.

– Импровизы, – вяло отвечивал Владимир.

Публика спешно покидала выставочный зал под грохоты и раскаты рояля. Когда зал опустел, из-за ширмы в выставочном зале вышел автор Федор с бутылкой шампанского и бокалами.

– Ничего не поняли в очарованиях арабо-мавританских сказок, контрапунктической метрике.

– Ты романтик, Володимир, – откликнулся из-за ширмы маленький поэт. Его не заметили. Леонид вынес еще и бутылку водки.

– Вы же слышали, как я менял темы. О, эта политоническая хроматика, полиладовая диатоника!

– Выпьем же за твой успех! – вскричал маленький поэт. – Публика бежала. Лишь я выдержал. Публике подавай ясные образы. Ей не нужны синтезы. Я пийт крепких напитков.

– А где же Николай? – спохватился Федор.

– Неприятности у него. – пояснил Владимир. – Лег в дрейф, по конторам ищет работу.

– Это подлинный чертилло, – добавил маленький поэт, опорожня рюмку, – друзья мои, мазилло.

Осень. Опять осень. Опять слякоть. Остальные времена года в этой местности тоже «осень». Падают листья, скользит нога на них. Па-дэ-дэ чревата. Переломы погоды.

*

– Все переменится – себе я говорю.

Ведь время все перетирает.

Ненужное порою я творю.

А что содеяно, оно устаревает.

*

Сделано ясной головой и твердыми руками – решает выездной Совет.

– По градостроительству есть сомнения, – произносит член Совета.

– Покажите общественности. – советует Главный архитектор Мастеру. Затем экспертизе. После этого милости прошу ко мне.

И Совет величественно удаляется из чертежной вместе с Мастером.

Столы и чертежные комбайны возвращаются на рабочие места.

– Что скажешь, бригадир? – обращается Дема к Савелию Павловичу.

– Ай! – махнул рукой бригадир.

– А ты что скажешь, Николай?

– Восторга я не увидел в обликах.
 – А ты, Владимир?
 – Недопонял я Совет.
 – Савелий! – появляется Мастер, проводив членов Совета. – Готовь проект к показу общественности. Потрясем ее!

*

Общественность в лице сухой старушки высказалась отрицательно: много уничтожается лесу под застройку и обезвоживаются фонтаны нижерасположенного по местности дворца. А картинки, что картинки? – добавила она. – Картинки хорошие.

Ее поддержал седовласый филолог, прочтя из Марципала одну из его эпиграмм и тем вызвав оживление аудитории:

– Пристаёшь ты давно ко мне с вопросом,
 Луп, кому обученье сына вверить.
 Всех, и риторов и грамотеев,
 Мой совет, избегай: не надо сыну
 Знаться ни с Цицероном, ни с Мироном.
 Пусть Тутилий своей гордится славой.
 Если же сын стихоплёт, лиши наследства.
 Хочет прибыльным он заняться делом?
 Кифаридом пусть будет иль флейтистом.
 Коль окажется мальчик тупоумен,
 Пусть глашатаем будет или зодчим.

*

Вот это возмутило Мастера: – ишь, книжные черви! Наруют же эпиграмм. Однако, "прием" явно не удался.

*

Зима выдалась морозной.
 "Перестройка" общества.
 Заказчик прекратил финансирование проекта.
 Мастер впал в недельный "запой". А после взялся за жилой квартал на выезде.
 Однако блондинка что-то шепнула брюнетке на ухо и та повела бровью.
 Савелия Павловича отправили на пенсию.

*

– Ну, вот видишь, мы были правы, – говорит живописец Фёдор, ударя Николая по плечу. – У тебя появились холсты, возьмем их на групповую выставку по городам Франции. Оформимь загранпаспорт, тоже съездишь. Валюта у тебя появилась.

– Однако иноземцы утратили интерес...

– И что? Купим велосипеды и прокатимся по Европе, – засмеялся Фёдор.

– Остаюсь на твердых хлебах, – печально сказал Николай. – Вам что? Холостяки.

*

Горластых чаек стая над водой
Безмолвных рыб умело вынимает.
В глубинах памяти людской
Чудовища химерами всплывают.

Крик чаек беспощаден для ушей.
Мгновения собрались сосчитать.
Так обольстительны шептанья в тишине
Волны, что норовила опоздать.

*

На улице ароматы сирени, и в Савелии Павловиче возникли неясные мечтания. Он не оставил своих занятий. Труба телескопа плавно двигается по окнам соседнего дома, задержалась на одном.

– Так это Владимир! – удивился Савелий Павлович. – Он мой сосед, и он не один! С ним шатенка, и он пытается ее обнять. Во! Пощёчина.

– Ага! – слышит он голос своей жены за спиной. – Опять вернулся к маразмам!

- Отнюдь! – смущается Савелий Павлович. – Глянь!
- Выброшу я твой телескоп, как пить дать, выброшу.
- Душенька! Я ведь не встречаю взаимности...
- Ладно, – смеется жена. – Бедолага. Меняй приемы, похотинец!
- Я служил в артиллерии, – поясняет Савелий Павлович.

*

Николай стоял на пороге своей квартиры с букетом сирени.

– Все удачно? – спросила жена.

– Да. Восемь часов лёту. Местность под квартал нам с Мастером понравилась.

– Сейчас что-нибудь изготовлю. Пельмени будешь?

Тебя к телефону.

– Это вы, Савелий Павлович? Что? – Николай побледнел.

– Я тебе всё объясню, – догадалась Надежда.

– Как ты оказалась в квартире Владимира?

– Он позвонил и сказал, что хочет что-то рассказать о сыне, показать фотографии. Я кинулась. Он ждал у подъезда. Зашли...

И тут он попытался обнять меня...

Тебе доброжелатель этого не сказал?

– Я верю тебе, – тихо сказал Николай. – Я знаю этого гадину.

В дверь сильно позвонили.

– Постой, – сказал Николай. – Сам открою дверь.

На лестничной площадке у порога их квартиры стоял на коленях Владимир, низко опустив голову, отчего шея сильно обнажилась. Рядом лежал топор.

– Секи! – глухо сказал Владимир. – Секи, Николай! Пошляк я. Не устоял перед красотой.

На площадке уже любопытствовала соседка с провизией в двух сумках.

– Ребята, – глухо сказал Владимир. – Больше вы меня не увидите.

И он быстро встал, забрал топор и, повернувшись, побежал вниз по лестнице.

*

Как женщины достигают тайного знания, загадка.

Архитектура ревнива. Она требует полной отдачи и огненного темперамента. Бегуну вручают горящий факел и он должен добежать.

Архитектор встречает множество преград и надо не потерять первоначальный замысел, донести его в местность. Кто знает этих авторов? Лицедеев все знают

Мастер скрылся в клубах дыма, а после секретарь позвала в кабинет Николая и Владимира.

Владимира назначили групповым, а Николая бригадиром.

– Решайте жилой квартал, а после что-то подышу для дерзаний. Про меж себя разберитесь сами. Рву твое заявление, Володя.

*

И новой застройкой украшен причал.

Так мода диктует.

Меняется всё. И рубят плеча.

Из леса уже не колдуют.

*

Владимир нервно ходит по мастерской художников.

– Ты талант. Прорвешься, – ободряет Леонид. – Талант.

– Талан – это денежная мера, мера продажности. Где она фигурировала? В Турции, кажется. Извини за идиому...

Вот живопись. Либо она часть зодчества, либо самодостаточна... Либо подражательна, либо творческая.

– Ай! – вскричал Владимир. – Нужна моща. Если конструктивизм явление, то и "черный квадрат" Малевича...

– Но если конструктивизм – упрощенчество? Я беру за критерий готику...

– Я верил в романтизм Мастера, а он промахнулся, – опять вскричал Владимир.

– Окелло промахнулся, – усмехнулся Фёдор. – Выпьем за наши промашки.

Старые мастера работали с коллективом, у них были подмастерья, вот и выделка. А мы одиночки, – печально высказался опять Леонид.

– Раньше был заказчик, – добавил Фёдор. – У вас в архитектуре есть заказчик.

– Упрощают и упрощают, – вскричал опять Владимир.

– Наше русское искусство постоянно умаляют европейцы, – Леонид снова налил в стаканы. – Делают нас подражателями. Вот и ухватились мы за Малевича. Готика синтезировала...

– Хочешь под начало зодчества? – перебил Фёдор. – Мы добились отмены цензуры.

– Ничего мы не добились, Федя, – опять сказал Леонид. – Вот и их скрутили. Я не видел таким нервным Владимира. Чего ты?

– Повязал меня Мастер, навяливает свои понятия...

– Вот они, индивидуалисты, – Николай показал рукой на живописцев.

На пороге стоял маленький поэт с бутылкой в руке.

– Чего не закрываетесь? Меня опубликовали. Будем гулять.

*

Дёма стал тихий, неразговорчивый, – говорит Нина Соне.

– Да, сильно изменился. Но халтурами подрабатывает у Мастера.

*

Могучие скалы в озёра глядят

И воды их лик отражают.

Те облики ветры в небесность внедряя,

В движение их запускают.

Меня эти скалы манят.

Задумчивость скал тех пленяет.

На крепких ногах те творенья стоят,

Влекут и влекут. Зазывают.

*

Рука Владимира скользит по плечу Нины.

Он чувствует трепет всего ее естества.

– Так, объясняет он Нине, – нормально у тебя получилось в планах дома, продолжай, – и рука опустилась до талии. И тут Нина встрепенулась и устранила эту руку.

– Извини, шепнул Владимир. – Сорвалась.

Нина слегка покраснела, дыхание ее стало ароматным.

Все ж весна производит колдовство. И плечо обнаженное, и губы покрашены, и ресницы. А ароматы? Ароматы модные.

*

Соня выполняет разрезы дома. Она в строгом платье, гладко причесана.

– Что ж, – говорит Владимир, – дело движется. – Он повеселел, подошел к столу Дёмы.

– Нужны фасады. Начинай чертить их. Цели определены, задачи поставлены, за работу... – вспоминает он слова Мастера.

Идет к своему рабочему месту. Девушки переглядываются.

*

– Николай Петрович! – кличет Мастер бригадира. Тот подходит.

– Ты почему не ввел в курс дела группового?

– Все сделано. Да и подрамники на стенах.

– Владимир Дмитрич, почему самодеятельность?

– Хотелось разнообразить квартал.

– Достоинство архитектуры в ее единообразии! Она обязана быть скучноватой.

И он удаляется.

Девушки переглядываются.

*

– Скрутили Сивку крутые горки? – спрашивает Федор, разливая коньяк.

– Справились за неделю. Типовуха. Надо утвердить в экспертизе.

– Чего девушек не пригласил?

Владимир промолчал. Потом глянул на Николая.

– Уволюсь я.

– Прочту вам из Марциала, добыл эту книгу, – провозгласил Леонид.

– Слышали на общественном обсуждении, – запротестовал Владимир.

– Нет, иное. Слушайте, зодчие!

*

Звёзды и небо умом благочестным постиг ты, Рабивий.

Дивным искусством творя нам Паррасийский дворец.

Если же Писа почитит Юпитера Фидия храмом,

Наш громовержец тебя должен ей в зодчие дать.

*

– Да, Фидий был отменный ваятель кариатид, – согласился Владимир.

*

Однако Владимир остался работать у Мастера, тот пообещал дать индивидуальный внутриквартальный объект. Но время и сроки, да и строители вынудили применить типовые проекты.

А вот Нина уволилась и потерялась из виду.

Владимир женился на Соне. Так получилось у них. Взаимость.

Прошли лето, осень, в отпуск они пошли зимой, сделали ремонт в квартире. Их ждала тихая радость перемен.

В городе лето практически незаметно. Сразу за весной наступает осень.

Белые мухи отлетают, а там небо проглянет звездами.

*

– Виноваты ли женщины в том, что у нас нестабильная профессия, не можем создать семьи... – вопрошает Федор Леонида.

– Ха-ха! Добьемся, – ободряет Леонид.

– Сказка про белого бычка. Пошел я, у меня свидание с Ниной.

– Какой Ниной?

– Той, что работала с Владимиром. На свадьбе его и познакомился. Ты не видел что ль?

– До того ль, голубчик, было? – усмехнулся Леонид.

– Что с ним? – споткнулся на пороге маленький поэт. Пронесся мимо...

– А меня опубликовали! Кутнем! – и он поставил на стол бутылку водки.

– Чудно и мне, – добавил Леонид.

*

Все обычно, обыденно. Дело в сочинении счастья женщины. Ручонки шаловливые подводят, – так размышлял Савелий Павлович на даче в уединении со своим телескопом. Здесь он наблюдал звёзды, поработав в огороде. Особого сорта огурец рос в теплице, с хрустом.

*

Железной логикой надвинулась посуда,
И замер свист у боцмана в губах.
Подводной банкой зреют пересуды.
Мотает судно на семи ветрах.

На ратны подвиги в посуду загружаясь,
Герои курс по звёздам пролагают.
Плывут, плывут, на хлябях колыхаясь.
Стихий упрямство, знают, ожидает.

Деньга докуль дает нам назиданье,
В каких прозренья берегах.
О, невозвратны жизни колебанья:
Замерзший свист у боцмана в зубах.

*

Что же Нина? Она размышляла. Все ее прекрасное сложение находилось в трепетности. Что этот Фёдор? Вольный птах, туда поедет, сюда. Нужно вить гнездовые годы ее к тому приближают, двадцать шесть. Она определилась в "присутствиях". Федор с цветами, Федор в восторгах, надо покататься на "чертовом колесе" в парке. Оно застряло. Окрестность как на ладони, но Нина в трепете. Ай, чего бояться? Поехали.

А вот и качели, взлетают. Нина в трепете, Федор в восторгах.

Едят мороженое, пьют вино. Федору исполнилось двадцать семь. Вокруг цветение, запах сирени. Федор отламывает ветку, ищет цветок счастья. Свист служивого, надо спастись бегством. А вот и поцелуй.

*

Весна перешла в лето и всё свершилось к осени – Федор и Нина поженились.

– Вот! – сказал Леонид маленькому поэту.

– Пусть, – отвечивал тот. – Опять не печатают.

*

Ты как попала в мастерскую? – удивляется Дёма, глядя на Диану.
– Так у меня ключ. Вот увидела свет в окне, зашла отдать его тебе.
– Как ты устроилась? Сейчас поставлю кипяток, попьём кофе.
– Устроилась... Работаю. Мама помогла, друзья... А ты?
– Подрабатываю у Мастера на халтурках, а на работе сейчас дело обычное, заурядное. Что же случилось с Ромой?

– Машина сбила, выпивший был. Подобрали. В больнице и скончался, не приходя в сознание. Спасибо тебе, за деньги

– Странно всё это...

– А чего странного?

Дёма глянул мимо глаз Дианы и тихо произнес: Зря он уехал...

– Это я, я виновата, – заплакала Диана. – Не остановили нас...

– Как же...

– Да затмение нашло какое-то...

Дёма молчал. Он видел Диану на проводах. Она действительно выглядела тогда ожесточенной. Теперь перед ним сидела тихая молодая женщина в черном платочке над сросшимися бровями.

Тонкое скуластое лицо. Стройная фигура.

– Я провожу тебя. Уже поздно. Работу закончил.

Они спустились в гремящей клетке лифта и шли по улице. У метро попрощались. Темная статуя гранитного Достоевского, бульвар.

Идти недалеко.

*

Море. Солнце. Пальмы. Несущийся вниз под гору автомобиль. Её распахнутые глаза и его смеющийся рот.

– Как тебе удалось? – спрашивает Сэм..

– Просто. Совпадение обстоятельств. Я спасла ему жизнь.

*

– Что, простак? – смеется Леонид.

– Ничего. Пусть. Еще заработаю на халтурках, – улыбается Дёма и пучит глаза.



Олег Киреев. Хорошо / Плохо

«Это не трубка»

Рене Магритт. 1926 г.

Почему не поет огурец,
Ни один огурец на свете?

Констанцы Галчинский. 1946 г.

Почему художник пишет тексты? Не удается построить абсолютную гармонию мира в линиях и краске? Желание обрести полноту, добавив слово? Да, иногда это удается ...

Название работы, удачно придуманное, может «завершить» изображение, расширяя его мир. В рассказе «Гюи де Мопассан» Исаак Бабель пишет: «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так ледяще, как точка, поставленная вовремя». И когда И. Левитан соединяет с пейзажем слова «над вечным покоем», – изображение и слово, как аккорд, дают новую сложную гармонию и новые смыслы, которых нет ни в словах, ни в изображении, если они взяты отдельно... Максим Кантор, начинавший как художник, расширяет «подпись» до многостраничных романов.

Да, Ю.Медведев – тоже художник. Но, если уж назвался груздем, т.е., пишешь тексты, то полезай в кузов: там начинается литература – среда весьма токсичная.

И что же «Перипетии»? Композиция из 55 коротких глав – эпизодов, включая 9 стихотворных, введенных на манер пейзажных зарисовок в классической русской литературе. Можно даже сказать, что это – комикс, так коротки некоторые «главы» и выразительны словесные конструкции, заменяющие линию. Чаще всего они относятся к женской фигуре или к отдельным ее частям: «...откликнулась архитектор Нина, двинув изрядной ногой под собой. По телу прошло колыханье, источник мечтаний», «...вскрикнула дама, познавшая бури», «он чувствовал трепет ее естества» ...

Первый эпизод вводится тремя короткими романтическими предложениями о «тесненьях» города, «ущельях гор» и желании «заглянуть за грань», после чего разворачивается вполне будничная сценка приема на работу. Но *вдруг откуда ни возьмись*, рядом с лицом, обозначенным только функцией – «мастер», появляется герой с именем Савелий Павлович, а через несколько строчек и Мария, и Петр, и Николай... картина становится вполне библейской и в голове читателя слово, только что обозначавшее функцию, уже пишется, если и не огненными знаками, то с большой буквы непременно – Мастер.

Перед открывшимся тормозишь в легком удивлении, покачиваясь с пятки на носок... Магическое превращение. *Потом*, взглядываясь, это ощущение, увы, теряешь..., но это – потом. А сейчас ты понимаешь, что здание \рассказа\, возводимое здесь архитектором Ю.Медведевым, возводится по всем правилам. Начиная с фундамента. Хотя вряд ли существует правило, следуя которому звук можно превратить в музыку, воплощенную в звуке, или краску в живопись.

Возвращаясь к «*потом*». Это, собственно, вот что: текст \рассказа\ утверждает – ничего не происходит; в совершеннейшем контрасте с названием рассказа ничего не происходит. Выложенный в начале пасьянс выразительных имен не сходится: каждое имя оказывается только матрицей дальнейшей судьбы героя, отпечатком этого имени. Становится неинтересно... игра остановлена... Выделяется разве что Николай, он *как бы* немного оракул и юродивый, высокая лексика и косноязычие чуть пародийны, но именно они сохраняют пафос \несбыточное грезится опять, сказал когда-то Александр Блок\:

- Моща нужна.
- Трахтаты нас обуяли...
- Восторга я не увидел в обликах.
- Скучность палитры не стесняет. Вот Гвидо Рени четырьмя красками...
- Как отразить в живописи печаль, скуку, восторги?
- Неприкакая я... Не дано заглянуть за горизонт.

.....

«Как отразить ...?» – Это – ложное *вопросание*; инстанция вкуса запрещает такую «наивную» конструкцию; и тогда тоже пустой, как ведро, ответ: нет правил на такие отражения. Но можно ответить и так: Как Гвидо Рени, ... или, в наших временах, Соломон Россин, например. Живопись и литература неотменяемы.

Николай как-то незаметно увядает к концу рассказа, хотя увядание вроде бы не укладывается в «перепитию». Но, может быть, так и должны уходить тихие вопрошатели?

Мне больше нравятся стихотворные вставки, совершенно варварские (т.е., безязыкие в первородном греческом значении слова), они похожи на грубоватый лубок, но с точным настроением. Ну, хотя бы это \интонация патетическая\:

Меня эти скалы манят.
Задумчивость скал тех пленяет.
На крепких ногах те творенья стоят.
Влекут и влекут. Зывают.

Рука Владимира скользит по плечу Нины. \конец цитаты\.

В прозаическом тексте автор соблюдает условное правдоподобие, хотя и старается его обоить \ну, хотя бы символически имен\, но долгого дыхания все равно не возникает, а в стихе, если *без руля и без ветрил*, появляется живая суголока \языка\.

Язык, как инструмент и форма, это, в определенном смысле, тигель, в котором выплавляется человек, и он, язык, то есть, конечно же, личностен или, если чуть выпрессовано, животворящ и вероломен; в нем – начало европейской культуры. И потому *за словом на два тона, взятом выше, тьма обмана, как за поступью дракона, напустившего тумана* – чуткое ухо слышит это нарушение и воспринимает его, как пародию; она несет в себе карикатурность, и исчерпывается, выходя за границы смысла, но иногда пародия, уже как прием или жанр, перерастает себя, превращаясь из гадкого

утенка в прекрасного лебедя. И появляется «Дон Кихот», ироничное и печальное прозрение: *не буди лихо, пока оно тихо*. Но бывает и по-другому: после капитана Лебядкина, придуманного Федором Достоевским, появляется Даниил Хармс, и убогий синтаксис капитана Лебядкина превращается в провокацию, в интеллектуальный вызов самобытного автора... По сути, это смена языка или, усиливая «крутизну», появление нового культурного кода.

Избыточный пафос, как пародийный прием, когда на два тона взято выше, воспринимается иногда как последнее откровение и вызывает всеобщее воодушевление: *Умом Россию не понять, умом Россию не измерить ...*, вызывая иронический ответ: *Давно пора, е... мать, умом Россию понимать*. Как говорится, доходит до смешного: похожая история случилась со вполне свежим текстом, который, как бы изнывая, как бы заламывая руки, как бы романсово пела Светлана Светличная у Гайдая в «Бриллиантовой руке»: *Помоги мне! помоги мне! В желтоглазую ночь позови, видишь – гибнет, сердце гибнет в онедышащей лаве любви*...И сейчас на всенародных праздниках эстрадные дивы самозабвенно поют этот «романс» по заявкам трудящихся.

А что в стихе Юрия Медведева здесь, в «Перипетиях? Чистое варварство, конечно, но выразительное. Нарушение нормы, чем бы оно ни вызывалось, – это почти всегда искренне и истово. Автору нравится *шум и ярость* грамматических конструкций: «На ратны подвиги в посуду загружаясь, \ Герои курс по звездам пролагают \ Плывут, плывут, на хлябях колыхаясь, \ Стихий упрямство, знают, ожидает». Да, конечно, но без огнедышащей лавы этот затрудненный синтаксис малопригоден для превращения в песню. Высокое безумие Хармса теряется, и вместо него – грохот посуды на тесной кухне.

Вообще-то, предмет рассказа – архитектурная мастерская и ее обитатели. Вроде бы простодушное воспоминание простодушного автора. «Хитер ты али простодушен, а? – спрашивал дед Каширин у своего внука, Алексея Пешкова...

Обозначено 11 лиц в мастерской и три художника–живописца, с которыми дружит Николай, один из главных героев рассказа, может быть, даже самый главный. При художниках состоит «маленький поэт». В кепке. Вроде бы формальное описание фигуры, но вряд ли это так простодушно – созвездие имен в первой главе говорит, скорее, о склонности к мрачной символической шутке. Вот бригадир Савелий Павлович – ну что может быть хорошего в человеке с таким именем? В человеке, который был Савлом, а стал Павлом? Николай – иная статья.. да, уже было сказано – главный герой, но в компании Савелия Павловича Николай, мы понимаем, должен проходить как образ кротости, как «Николай угодник». Имя жены Николая тоже «со значением» – Надежда. Рома... С Ромой, похоже, у автора незадача: ромеи – это все же римляне, а он явно не римлянин... Но дальше снова все хорошо: Диана \жена Ромы\, конечно же, в соответствии с мифологией – «охотница», а художник Леонид несомненно из спартанцев. Дема... ну, про него отдельно.

Основное содержание «мизансцен» рассказа – раздача всем сестрам по серьгам, т.е., конструирование биографий и событий в соответствии с именами. Волшебное превращение, движение *за* словами, случившееся в 1-ой главе исчезает. Фотограф щелкает, но птичка больше не вылетает.

События протекают, в основном, в архитектурной мастерской \двадцать глав из 46\, семь – в мастерской художников, столько же – у героев дома, ну, и оставшаяся часть – на выставках, во время прогулок, в больнице, в рюмочной и даже на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, т.е., география вполне обширная, и вместе с большим числом героев получается прямо таки кинематографическое разнообразие. Как всякий комикс, это – почти сценарий со множеством диалогов. Диалоги поддерживают и составляют основную долю текста, но они же свидетельствуют – ничего не происходит, вещество диалогов – технологические слова-термины для поддержания служебных функций и бытового общения или пустые оболочки \когда-то живых слов\ вроде «духовности» или «искусства». Вот похожий по структуре текст из случайного номера газеты «Телевидение и Радио» от 20–26 марта 2017 года: описание очередного куска сериала: *Ланцер сообщает барону фон Ардену, что архив Филиппова скрыт в заброшенном доме. Под видом актрисы Ярцева попадает на съемочную площадку. Макс очарован находчивостью девушки и дает ей роль. Постпредство СССР в Хельсинки подвергается нападению – вместе с камнем в окно залетает записка от Розы с просьбой ускорить поиски архива. Сотрудник постпредства встречается с Килби и называет ему имя Макса Ливиуса.*

Одиннадцать собственных имен на шесть строк, много глаголов, все плотно, но – ничего не происходит... как в идеальном газе из школьного курса физики: частицы сталкиваются друг с другом, оставаясь неизменными. И vice versa: «*На, – сказал генерал, снимая «Командирские», – Хочешь – носи, хочешь – пропей*» ... читаешь строку – девять слов – и, как в магическом кристалле, возникают характеры, ты чувствуешь плотное, непрерывное движение *за* текстом. Девять слов.

Вообще же, прозаические эпизоды из жизни героев «Перипетий» – что-то вроде клейм на иконе, которые – очерк бытия центральной фигуры. Но центральная фигура здесь, увы, – автор; его уверенность в себе явно излишняя и рассказ терлет энергию на внешние движения, зрелища не получается, слишком много «отвлечений, ликов и содроганий», сводимых к *пил, ел, скучал, хирел и, наконец, в своей постели...* ну, и так далее... Явно пристрастная лексика \архаика, велеречивость, подчеркнутые «снижения»\ без различия языка автора и героев сдвигает «рассказ» в «словарь». И узел распускается, не завязавшись. Автор хотел «заглянуть за грань»? Вообще-то, заглядывать в бездну опасно, но, пожалуй, есть намек, что он сделал это и бездна не оставила его своим попечением:

Все переменится – себе я говорю.

Ведь время все перетирает.

Ненужное порою я творю.

А что содеяно, оно устаревает.

На это четверостишие можно, пожалуй, смотреть как на эмоциональный центр рассказа... его высшую драматургическую точку.

Но в качестве главного распорядителя автор вполне успешен. Не любит он Рому, и читатель, споткнувшись в начале рассказа о «головенку с клювом» при описании Ромы \а спотыканий будет еще шесть \, понимает: не выживет Рома. Так и случилось. Ну ладно, Рома, товарного вида не имеет, но ведь и насчет Демы были у автора сомнения... слава Богу, он не дал ему пропасть: последняя, сорок шестая глава, просто лебединая песня – Дема возносится! В общем, роль свою автор ведет безукоризненно. Как Карабас Барабас. /Это вновь моя похвала главному распорядителю театра масок/.

Примечание. Один из архитекторов, «Владимир, женился на Соне. Так получилось у них». Прямо как у Булата Окуджавы: *Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной, и пряников целый мешок захватили они. Играйте, оркестры, звучите и песни, и стих...*

Кроме простодушной символики имен и вычурной грамматики в рассказе «реально» как говорит молодое поколение\ есть куски классической русской речи: «Гладкобритый накидывает полог своего хитона на маленького поэта и там наливает ему в стаканчик – крышку из булькнувшей фляги. А затем подводит к стенду со своими работами. – Ты гений! – шумит поэт. И гладкобритый наливает еще. И еще». И ты улыбаешься от удовольствия. Такое нечасто, но встречается, особенно там, где, как уже было сказано, появляются героини. Или вот, например, этот привет от «маленького поэта в кепке»: «Публике подавай ясные образы... Я пиит крепких напитков...».

И о Деме. После «глянца» короткой, из трех строчек, предпоследней главы, где эффект и вскрик, как в заключительном кадре мелодрамы, еще более короткой финал \ две строчки\, но в аккорде с «глянцем» перед нами вполне библейская картина – «Вознесение Демы»: обманутый Дема, стоя в мастерской, улыбается вечной улыбкой Джульетты Мазины в «Ночах Кабирии» Ф.Феллини. Дема «с рачьими глазами», пожалуй, единственный герой, характер которого открывается обстоятельствами, а не символическими оттенками имени.

Автор, как настоящий философ, антиисторичен: античная Кабирия-Дема – это навсегда, как и лицо Мастера «со значением средиземноморских статуй»; *и времени больше не стало, это не ново, это случается часто, по замечаньям Иоанна Богослова и примечаниям Экклезиаста.*

Что еще осталось неназванным? Скрежет причастий, «опоздун» и Марциал...

Пропустим мимо, попустительствуя.

Всех благ читающим.

СПб, май 2017 – янв. 2018 гг.

Анкета о журнале №6-7. Ответы А. Андриюшкина.

1. Считаю, что начинание правильное, причём очень легко превзойти все перечисленные журналы 19-го века. Ну кто сегодня помнит большую часть материалов, печатавшихся в тех же журналах «Современник» или «Полярная звезда»? Запомнились, вошли в историю лишь отдельные произведения.

Но считаю, что «Новый русский журнал» лучше сделать ежегодником. Зачем такая спешка – аж шесть номеров в год? Лучше, не торопясь, делать по одному первоклассному номеру в год, причём я бы порекомендовал включать не более одного материала каждого автора. В нашем СПБО СП России нет очень уж ярких талантов (включая автора этих строк); максимум, что мы можем, это выдать из себя один сильный материал в год страниц на 10.

2. Я бы поставил за первые пять номеров оценку «хорошо» (4).

3. Пожелания. Я бы посоветовал ввести рубрики: *У нас в гостях "Окно", "Родная Ладога", "Молодой Петербург"*... Неужели они откажут в праве перепечатки лучших материалов из их публикаций? "Молодой Петербург" не все читают, а там попадают отдельные удачные произведения.

4. Шансы стать лучшим современным журналом в России у нас есть, при условии **резкого замедления темпов работы**. Альманах «Северные цветы» (составитель И. Сергеева) выпущен примерно **дважды на протяжении пяти лет**, но какое в итоге высочайшее качество!

5. Считаю очень интересными темы культуры исламских стран, а также Израиля. На Западе мало интересного. Со своей стороны могу предложить материал об именах в литературе и критике, в философской мысли в исламских странах, но такой материал могу давать не чаще чем раз в два года. Директор Института философии РАН Смирнов – арабист, он проводит ежегодные конференции с участием исламских философов, выпускается ежегодник «Ишрак» («Озарение») до восьмисот страниц, из него также можно взять самое лучшее, 1-2 материала достойных точно есть.

6. Лучше обойтись без политики, так как под «политикой» у нас понимают обмусоливание известных западных личностей: что сказал Трамп, Макрон, Тереза Мэй и т.д. Настоящая политика делается в исламском мире и в Израиле, но о ней никто не знает (и не узнают в обозримом будущем).

7. Я понимаю этот смелый проект: сделать журнал толстый, да ещё часто выходящий, на такой проект и меценаты могут найтись, но я бы применил Ленинскую фразу «лучше меньше, да лучше».

Комментарии редактора. Нашелся хоть один отважный человек, ответивший на Анкету. Спасибо. Но сразу же приступаю к возражениям. Журнал издается не только для Редактора, но для всей нашей группы историков и критиков, посему и 4 номера в год – мало, с 19 года будем издавать **6** номеров, чтобы было где разгуляться пишущей братии, качество же не связано с медлительностью, это целоваться на бегу трудно, писать наспех хорошо. Да и меценаты... – ежегодником их не купишь. Ну а остальные советы следует учесть...

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС Г. Г. Мурикову К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Уважаемый Геннадий Геннадиевич!

Ваш вклад в русскую литературную критику, историю литературы и русскую историю неоценим.

Но еще более мы, ваши коллеги, ценим Вас как яркую творческую личность, замечательного товарища, ценим вашу искренность, прямоту и независимость!

Российский Союз писателей вместе с Секцией Критики и литературоведения и авторами Журнала «Новый Русский журнал» поздравляют Вас в День славного юбилея – шестидесятилетия жизни и сорокалетия творчества! Не только надеемся, но и уверены, что наше сотрудничество продлится долго и принесет Прекрасные плоды – выдающиеся эссе и статьи и о наших современниках и о литераторах прошлого, книги и исследования, которые не только послужат развитию литературы, но и освобождению России от рабства у мировой закулисы и тлетворных внутригосударственных сил.



*Мы вместе в этот важный час для нашей Родины!
Коллеги, друзья, читатели!*



Дарим Вам этот русский топор, чтобы не только перо, но и боевой топор были орудиями Вашей борьбы против врагов нашей Родины!

26 января 2018 г.



ИЗ ИСТОРИИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА:

В январские дни мы разделяем единое чувство – радость и гордость за наш героический город, благодарность и низкий поклон его защитникам, неизбежное чувство скорби о погибших,!

9 сентября 1941 года немецкие войска окружили Ленинград. Город регулярно обстреливали и бомбардировали. Был подорван продовольственный склад. Начавшийся голод уносил тысячи жизней граждан. За эти тяжелые дни умерло до 1,5 млн. человек. Единственным путем, по которому можно было добраться до города, была "Дорога жизни" через Ладожское озеро.

18 января 1943 года наша армия прорвала блокаду, открылась «Дорога жизни» – город ожил, задышал. В Ленинград круглосуточно двигались вереницы машин с продовольствием, спасая от голода выживших ленинградцев. Но окончательно снять вражескую блокаду Красная Армия смогла лишь **27 января 1944 года**.

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года – в год 20-летия Великой Победы – Ленинграду присвоена высшая степень отличия – звание Город-герой.

27 января 1944 года является Днём воинской славы России – Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Городу-герою Ленинграду

Встал Ленинград, как богатырь могучий,
Храня в себе великие сердца,
С врагом в смертельной схватке дни и ночи
Сражался до Победного конца.
Россию воспевать Петром рождённый,
В тисках кольца сдаваться не спешил,
Непокоренным духом наделённый, –
Святую силу город подтвердил!

Святой Петербург

Устремлённый к потомкам на тысячи лет
Взором ангелов, шпилей, простором Невы,
Он торжественно, в стиле барокко одет,
Он достоин высокой судьбы и молвы.
Над соборами льётся таинственный свет,
Излучать не устанет спасительный круг:
«Отведи, Богородица, вражеский след
И молитвой Святой осени Петербург!»

Вопросы без ответов 8 марта 2018г.

Ночью иногда дорогу приходится выбирать наощупь.

Во-первых, не совсем ясно, куда идти.

1. Ну, как же так, зачем же тогда идти, если не знаешь, куда идти, восклицает разумный человек?!

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

– вот так писал поэт за двести лет до меня (и тоже издавал журнал).

Так что я не один иду наощупь, не зная, куда, не имея цели, не зная, для чего я затеял этот журнал. (И мои сомнения, незнания и непонимания такие же, как у других подобных мне – хотя бы в намерениях, в желании издать журнал «Современник», который никому не окажется нужен и приведет к долгам; в желании написать «Историю Пугачевского бунта», которая тоже не будет иметь успеха; драму «Борис Годунов», которая провалится на сцене и вызовет чуть ли не повсеместное осуждение...)

Итак, иду наощупь, не зная, куда идти... Как же так? *Да вот так же так!*

2. И все же целую жизнь меня преследовало желание *издавать журнал* – а до этого была школьная стенгазета, потом матмеховская, потом журнал МЪра, потом Русские страницы – и все было неудачно. И вот Новый Русский журнал. Он мне кажется удачным и необходимым.

Почему? Во-первых, я уже не один, а еще и *почти единодушная группа* авторов: писателей, художников и критиков, и даже читателей, некоторые из которых не подозревают, что они читатели (вчера в автобусе девушка, рядом с которою было место, разве подозревала, что она *моя читательница*? Но, оказывается, она знакома с Аристотелем, хотя и поддерживает современную олигархическую власть в России – ей я и вручил номер, опечатанный за час до этого к празднику 8-го марта.). Итак, я не один.

И за день до этого, когда я размышлял на посторонние темы, не связанные напрямую со смертью, мне вдруг стало ясно, ЗАЧЕМ нужен наш журнал. Мы стремимся понять *Правду*, и это не только личное стремление, но и потребность народа, не случайно и большевики свои партийные газеты называли так.

Нам необходимо соединить себя с народом, с русской литературой, стать ее неотделимой частью, которая одновременно совпадает с целым. Но какова должна быть основа нашего соединения? Бог? Россия? Государство и власть? Культура? Наука? Церковь? Свобода? Личность? Семья и близкие? Если еще мы не знаем, зачем живем, что необходимо народу, литературе, есть ли Бог, есть ли чудо, и что важнее из того, что я перечислил?

Но мы часто противоположны. Могут ли я *взяться за руки* с сторонниками марксизма-ленинизма, в течение почти столетия угнетавшими Россию? Или, если интересы России для меня важнее всего, если речь идет уже о существовании России, умереть ли ей под властью воровского сообщества или выжить хотя бы и в тумане ложных мечтаний, то можно и нужно сотрудничать не только с социалистами, но и с коммунистами, монархистами, православными,

анархистами, сторонниками *чистого* капитализма? А что же евреи, враги ли они русскому национализму? Нет, всякие есть евреи, как и татары, немцы и жители кавказских гор. Гибель государства станет личной трагедией для всех инославных и инородных, кроме *антинародных*. Спасение России выше разногласий между Ветхим и Новым заветами, Махабхаратой и Кораном.

Журнал – это наша литературная семья. Он – коммуна, хотя я и пытаюсь настаивать на своих предпочтениях. Но я способен с каждым из нас быть не только собою, но и тем, с кем я вместе, и нет ничего более мне чуждого, чем слова христиан и коммунистов: *Кто не с нами, тот против нас*.

У каждого есть своя правда, и мною движет стремление узнать правду всех как свою собственную правду.

3. Мы соединились для создания **Философии литературы**.

У великого народа должна быть своя философия. Или это философия мира, как у еллинов. Или философия государства и права, как у Рима. Или схоластическая философия всеобщего бытия и религии, как у немецкого народа. Русская философия – это *философия литературы*. Она уже существует как часть литературы, необходимо, чтобы она стала частью жизни.

Частные задачи такой философии: что такое личность (не с большой или маленькой буквы, не раб божий, не строитель коммунизма или крепостной крестьянин, а – **литературный герой**, соединяющий в себе существенно личное с всеобщим). Что такое народ? Собрания людей, толпы, сословия, вероисповедания, поколения, предки, потомки, цари и рабы?..

Что такое народ? Это вопрос более сложный, чем вопрос о божестве, и это легко пояснить с помощью сопоставления.

Народ – это соединение многих людей в некую высшую общность. Это множество, состоящее из людей как из элементов. Но это множество обладает качествами, которые у элементов отсутствуют – так соединение даже мертвых металлических деталей на конвейере образует почти живое чудо, автомобиль, который умеет двигаться, хотя ни один элемент автомобиля сам по себе не обладает способностью движения.

Помимо характера и «воли» (о которой у Пушкина) Народ обладает чем-то, что инобытийно по отношению к характеру и воле: так человек обладает, помимо тела, душой, которая тоже инобытийна (трансцендентна) по отношению к телу. Обладает ли это инобытийное Нечто способностью к **чуду**? В истории многих народов такая способность проявлена. Франция умирает и вдруг появляется Дева, которая объединяет вокруг себя растленную толпу мародеров и ведет ее к победе. Русь стонет в тисках ига и вдруг появляется решительный московский князь, которому чтимый народом праведник дает в помощь двух иноков, и после полуторастолетней покорности мы разрываем путы ига. Так и Италия под водительством Гарибальди возрождает свою независимость, созидая из населения разрозненных княжеств новый народ.

Трансцендентное и созидает народ, а собрание людей – только тело.

Материнская Любовь вложена в существо матери как всемирное тяготение вложено в мироздание, и потому непреодолима – скорее мир рухнет вместе с Млечным путем, чем эта любовь перейдет в сердца человеческих! – а соединение человека со своим народом, **любовь к Родине** – то же, что любовь матери

к ее дитяти – как же человек может разорвать биологические (природные), и душевные (исторические и культурные) узы, все трансцендентные связи между людьми, определяющиеся природным и историческим, и уверовать в истину безумных слов: *«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и [не] следует за Мною, тот не достоин Меня!»?* Но мы соединились вокруг журнала... Или этого мало?

4. Человек больше природы, его поднимает над нею Традиция, Символ, Ритуал, Память, Творчество. Входит ли в этот ряд *Вера*? Необходима ли она?

5. **Любовь.** Любовь пронизывает не только человеческое общество, но и природу, в летний день под благодатным солнцем я чувствую, что природа наполнена любовью как виноградная кисть наполнена вином.

И разве не спешил я изо всех сил издать этот номер к 8-му марта, чтобы от имени всех авторов мужчин поздравить наших женщин (и не наших тоже) с этим веселым праздником? **Я вас всех люблю, дорогие мои!**



Заметки постороннего наблюдателя.

С ВИ я знаком почти 60 лет, и знаю его чуть не лучше себя, но зачем ему нужен этот журнал, я все же не понимаю. Когда-то он вовлекал меня в подпольный марксистский кружок, потом уговаривал пойти в дервиши, потом в Катакомбную церковь, теперь он одержим **Русской идеей** – куда он еще пойдет, если его в очередной раз не посадят, мне не известно тоже. Но все же я согласился сказать несколько слов о том, что я обо всем этом думаю.

В России русская идея – невозможная вещь, наша история имеет две формы: народная стихия, вроде казацкой вольницы – или государство с твердой единоличной властью. Народ в России в европейском смысле этого слова, объединенный национальной (на-родной, то есть проистекающей из рождения) идеей, невозможен, поэтому население объединяется в нечто единое либо через церковь, и появляется **православный народ**, в котором все без различия рода православные: православный калмык, отец Ильича (будущего вождя всего прогрессивного человечества), православная еврейка, урожденная Бланк, православный датчанин, создатель русского словаря, православная немка, императрица... Или население объединяется вокруг тоталитарной партии (*церкви нового типа*), и появляется **советский народ**. Сегодня мы в подвешенном состоянии, царь уже есть, но нет цементирующей идеи. Даже есть направление движения: **на Царьград!** – но нет идеи. Неужели такой идеей станет извечно русское: *шапками закидаем?* Не хотелось бы говорить о грустном, но я предвижу для России и ее некогда великого народа только путь Северной Кореи, в которой ракеты будут запускаться с помощью гигантской рогатки, а народ будет счастлив в нищете как в новой форме святости. Литература и философия такому народу излишни.

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

№ 7

Подписано в печать 13 марта 2018

Формат 60x90 1/16 17,25 п. л. = **280** с.

Печать по требованию

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СПб
2018